

Несвоевременные размышления - 'Рихард Вагнер в Байрейте'

Ницше Фридрих Вильгельм

Несвоевременные размышления - 'Рихард Вагнер в Байрейте'

Фридрих Ницше

Несвоевременные размышления: "Рихард Вагнер в Байрейте"

Friedrich Nietzsche

Это сочинение является третьим по счету в замысленной Ницше сразу по выходе в свет "Рождения трагедии" серии культуркритических эссе, объединенных общим названием "Несвоевременные размышления".

Первоначальный замысел Ницше охватывает двадцать тем или, точнее, двадцать вариаций на единую культуркритическую тему. Со временем этот план то сокращался (до тринадцати), то увеличивался (до двадцати четырех).

Из замысленного ряда удалось осуществить лишь четыре очерка: "Давид Штраус, исповедник и писатель" (1873), "О пользе и вреде истории для жизни" (1874), "Шопенгауэр как воспитатель" (1874), "Рихард Вагнер в Байрейте" (1875-1876).

Произведение публикуется по изданию: Фридрих Ницше, сочинения в 3-х томах, том 2: "Странник и его тень", издательство "REFL-book", Москва, 1994.

1

Чтобы событие имело величие, необходимы два условия: величие духа тех, которые осуществляют его, и тех, которые его переживают. Само по себе всякое событие лишено величия, и если исчезают целые созвездия, погибают народы, основываются огромные государства и ведутся войны с невероятными усилиями и жертвами, то дуновение истории развеивает множество подобных событий, как будто это - снежные хлопья. Но бывает также, что и сильный человек наносит удар, который бесследно падает на твердый камень; короткий, резкий отзвук и все кончено. История почти не говорит о подобных заглохших событиях. Поэтому в душу каждого, кто видит наступающее событие, закрадывается забота, окажутся ли переживающие его люди достойными его. В наших делах мы всегда надеемся на это взаимное соответствие между деянием и восприимчивостью и имеем его в виду в малом и великом, и кто хочет давать, должен позаботиться, чтобы люди, принимающие его даяние, стояли на высоте последнего. Именно поэтому единичное действие даже великого человека лишено всякого величия, если оно мимолетно, глухо и бесплодно; ибо в момент, когда он совершал его, у него во всяком случае отсутствовало глубокое сознание, что именно теперь оно необходимо; он не совсем верно метил и не вполне точно определил и выбрал время. Он был во власти случайности, между тем как быть великим и прозревать необходимость - неразрывно связано между собой.

Поэтому пусть размышляют о своевременности и нужности байрейтских событий те, кто сомневается, что Вагнер прозрел их необходимость. Нам, более доверчивым, кажется, что он верит и в величие своего действия и в величие духа тех, кто его переживает. Этим должны гордиться все, на кого распространяется эта вера; ибо что эта вера распространяется не на всех, не на всю эпоху и не на весь немецкий народ в его нынешнем виде, - это он сам сказал в своей торжественной речи, произнесенной 22 мая 1872 г., - и нет среди нас никого, кто бы мог возразить ему что-либо более утешительное. Он сказал тогда: "Я обращался за содействием только к вам, друзьям моего особого искусства, моей личной деятельности и творчества, только вашей помощи я искал, чтоб показать мои произведения в чистом и неискаженном виде всем, кто уделял моему творчеству серьезное внимание, несмотря на то, что до сих пор видел мои произведения лишь в искаленном и нечистом виде".

Бесспорно, в Байрейте стоит посмотреть и на зрителей. Мудрый наблюдатель, сравнивающий достопримечательные явления культуры различных веков, нашел бы там много интересного. Он почувствовал бы, что здесь он внезапно попал в теплые воды, как будто, плывя по озеру, приблизился к струе горячего ключа; "этот ключ - говорит он себе - берет начало из других, более глубоких источников: окружающая вода не объясняет, откуда он взялся, ибо сама по себе слишком неглубока". Участники байрейтских праздеств должны производить, таким образом, впечатление несвоевременных людей: их родина не нынешнее время, их причину и вместе с тем оправдание нужно искать в чем-либо ином. Мне все более становится ясным, что "образованный" человек, как исключительный и совершенный продукт современности, может лишь через посредство пародии подойти ко всему, что мыслит и делает Вагнер, - и как фактически все это было пародировано; он освещает и байрейтское событие далеко не волшебным фонарем наших газетных остряков, и хорошо еще, если все кончается только пародией! Она разряжает дух отчужденности и вражды, который мог бы найти другие пути и средства, и при случае уже находил их. Указанный наблюдатель культуры уловит и это необычайное обострение и напряжение противоположных направлений. То обстоятельство, что единичная личность, в течении обыкновенной человеческой жизни, могла дать нечто во всех отношениях новое, должно было вызвать негодование всех, кто верует в постепенность всякого развития, как в своего рода нравственный закон. Они сами медлительны и требуют медленности, а тут пред ними необычайно преуспевающий; не понимая, как это ему

дается, они раздражаются против него. Байрейтским событиям не предшествовали никакие предвестия, никакие переходные моменты, никакие посредствующие акты; никто, кроме Вагнера, не знал ни самой цели, ни длины пути к ней. Это есть первое кругосветное путешествие в сфере искусства; и в нем, по-видимому, было открыто не только новое искусство, но и вообще искусство. Все прежние искусства нашего времени благодаря этому наполовину обесценены, как жалкая нищета или праздная роскошь; и даже слабые и смутные воспоминания об истинном искусстве, которое мы, люди нового времени, унаследовали от греков, должны исчезнуть, насколько они не могут быть озарены новым пониманием. Для многого теперь пришла пора погибнуть; это новое искусство есть прорицатель, предсказывающий гибель не одному только прежнему искусству: его угрожающая длань должна поселить тревогу во всей нашей современной культуре, как только замолкнут насмешливые пародии на него. Пусть же останется ей краткое мгновение для забавы и смеха!

Мы же, апостолы воскресшего искусства, найдем время и охоту для серьезности, для глубокой святой серьезности! Шумиха слов, которую культура доселе поднимала вокруг искусства, ощущается нами теперь как бесстыдная назойливость. Все нас обязывает к молчанию, к пятилетнему пифагорову молчанию. Кто из нас не осквернял себя отвратительным идолопоклонством пред современным образованием! Кто не нуждался в очищающей воде! Кто не слышал увещающего голоса: молчать и быть чистым! Молчать и быть чистым! Только мы, внемлющие этому голосу, сподобились той широты взора, которая нужна, чтобы созерцать байрейтское событие; и именно в этом заключается великое будущее этого события.

После того, как в один из майских дней 1872 г. был заложен первый камень на байрейтской возвышенности, Вагнер возвращался с некоторыми из нас в город; шел проливной дождь, и небо заволочло тучами. Он молчал, погруженный в себя, и при этом долго смотрел проникновенным взором, который не опишешь словами. В этот день он начинал свой шестидесятый год: все прошлое было подготовлением к этому моменту. Известно, что люди, в опасные и вообще важные моменты своей жизни, в состоянии охватить посредством бесконечно ускоренного внутреннего созерцания все пережитое и с редкой отчетливостью вновь распознать как ближайшее, так и отдаленнейшее. Что видел Александр Великий в то мгновение, когда он заставил Европу и Азию пить из одной чаши? Но что созерцал Вагнер, погруженный в самого себя, размышляя о том, чем он был, чем стал и чем будет, - об этом мы, ближайшие ему люди, можем до известной степени догадаться. Только этот вагнеровский взор дает нам уразуметь его великое дело - и в этом уразумении найти залог плодотворности последнего.

2

Было бы странно, если бы то, что человек больше всего любит и лучше всего умеет делать, не проявилось во всем складе его жизни; напротив, у высокоодаренных людей жизнь становится отображением не только характера, как у всякого смертного, но прежде всего отображением и интеллекта и свойственных ему дарований. Жизнь эпического поэта будет заключать в себе нечто эпическое, - как это, между прочим, заметно у Гете, в котором немцы совсем неправильно привыкли видеть преимущественно лирика: жизнь драматурга будет протекать драматически.

Драматизм в развитии Вагнера нельзя не заметить с того момента, когда господствующая в нем страсть осознала самое себя и овладела всей его натурой; тем самым пришел конец исканиям на ощупь, блужданиям и всякого рода отклонениям в сторону, и в самых запутанных его путях и странствиях, в его часто фантастических планах господствует единая внутренняя закономерность, единая воля, которая нам их объясняет, как ни странно звучат порой эти объяснения. Но был и додраматический период в жизни Вагнера - его детство и юность, и нельзя пройти мимо них, не натолкнувшись на загадку. Его детство и юность далеко не предвещают будущего Вагнера, и то, что теперь, оглядываясь назад, можно было бы принять за предвестие, оказывается ближайшим образом лишь совокупностью качеств, которые могут возбудить скорее сомнение, чем надежду: дух беспокойства и раздражительности, нервная суетливость в погоне за сотнями вещей, страстная любовь к почти болезненным, напряженным настроениям, внезапные переходы от моментов полного душевного покоя к насильственному и крикливому. Его не стесняли какие-либо строгие наследственные и семейные художественные традиции: живопись, поэзия, драматическое искусство и музыка были ему так же близки, как и научные образование и карьера. При поверхностном взгляде можно было подумать, что он рожден быть дилетантом. Маленький мирок, под игом которого он вырос, нельзя признать благоприятной родиной для художника. Его легко могло увлечь опасное удовольствие - отведывать всего понемногу, равно как и обычное в среде ученых самомнение, связанное с многознайством. Его чувство легко возбуждалось, но не находило достаточного удовлетворения. Как бы далеко ни проникал взор мальчика, он видел себя окруженным стариковски-рассудительным, но бодрым духом, к которому в смешном и резком противоречии находился пестрый театр и смиряющий душу тон музыки. Мыслящему наблюдателю вообще бросается в глаза, как редко именно современный человек, наделенный высокими дарованиями, отличается в юности и детстве наивностью, индивидуальностью и своеобразием. Напротив, те редкие экземпляры, которые, подобно Гете и Вагнеру, вообще приходят к наивности, обретают ее скорее в зрелом, чем в детском и юношеском возрасте. В частности художник, которому особенно врождена сила подражания, подвержен влиянию расслабляющего многообразия современной жизни, как какой-то острой детской болезни. В детстве и юности он скорее походит на старика, чем на самого себя. Удивительно строгий первообраз юноши Зигфрида в "Кольце Нибелунгов" мог воспроизвести только муж, - и именно муж, лишь поздно обретший свою юность. Поздно, как и юность, наступил у Вагнера и его зрелый возраст, так что по

крайней мере в этом отношении он составляет противоположность предвосхищающей природы.

С наступлением его духовной и нравственной зрелости начинается и драма его жизни. И как изменяется теперь его облик! Его натура кажется страшно упрощенной, как бы разорванной на два влечения или две сферы. В самом низу бурлит в стремительном потоке могучая воля, которая на всем пути, во всех пещерах и ущельях как бы рвется к свету и жаждет власти. Только чистый и свободный дух мог указать этой воле путь к добру и спасению; в соединении с более узким сознанием такая воля, с ее безграничным и тираническим волеизъявлением, могла бы стать роковой; и во всяком случае ей нужно было открыть путь к свободе, свежему воздуху и солнечному свету. Могучая воля озлобляется, когда она постоянно наталкивается на непреодолимые препятствия; неосуществимость может зависеть от обстоятельств, неотвратимости рока, а не от недостатка сил: но кто не может расстаться со своим стремлением, несмотря на его неосуществимость, испытывает некоторую подавленность и потому становится раздражительным и несправедливым. Он приписывает свои неудачи другим, в пылу ненависти он готов признать виновным весь мир; иногда он дерзко пробирается окольными и потайными дорогами или совершает насилие; поэтому и случается, что прекрасные натуры, стремясь к лучшему, все же дичают. Даже среди тех, кто искал лишь личного нравственного усовершенствования - среди отшельников и монахов, - можно встретить таких одичавших, насквозь больных, опустошенных и истерзанных неудачами людей. Увещающий дух - дух, преисполненный добротой, лаской и безмерной кротостью, которому ненавистны насилие и саморазрушение и который никого не хочет видеть в оковах, - он говорил с Вагнером. Он снизошел на него, ласково обвил его крыльями и указал ему путь. Мы подходим здесь к другой сфере вагнеровской натуры; но как нам описать ее?

Образы, которые творит художник, - не есть он сам, но ряд образов, к которым он явственно питает глубочайшую любовь, говорит во всяком случае кое-что о самом художнике. Пусть предстанут перед вами образы Риеци, Морьяка-Скитальца и Сенты, Тангейзера и Елизаветы, Лоэнгрина и Эльзы, Тристана и Марке, Ганса Сакса, Вотана и Брунгильды: через все эти образы словно проходит непрерывный, в недрах земли тающий поток нравственного благородства и величия, который в своем течении становится все чище и прозрачнее, и здесь мы стоим - правда, со стыдливой сдержанностью - перед внутренним процессом в душе самого Вагнера. У какого художника найдешь что-либо подобное в столь грандиозной форме? Шиллеровские образы, начиная от "Разбойников" и кончая Валленштейном и Теллем, совершают такой же путь облагораживания и так же говорят нечто о развитии их творца, но у Вагнера масштаб больше, путь длиннее. Все принимает участие в этом очищении, и его выражением служит не только миф, но и музыка. В "Кольце Нибелунгов" я нахожу самую нравственную музыку, какую только я знаю, например, там, где Зигфрид будит Брунгильду; здесь Вагнер достигает такого величия и святости настроения, что мы вспоминаем о сверкающих ледяных и снежных альпийских вершинах - столь чистой, уединенной, недостижимой, безмятежной, облитой светом любви является здесь природа; все тучи и непогоды, и даже все возвышенное лежит ниже ее. Взирая отсюда на Тангейзера и Скитальца, мы начинаем понимать, как сложился Вагнер-человек, как он начал мрачно и беспокойно, как бурно искал он удовлетворения, как стремился он к могуществу, к опьяняющим наслаждениям, как часто бежал назад с отвращением и как он хотел сбросить с себя бремя, хотел забыться, отречься, отказаться. Поток прорывался то в ту, то в другую долину и проникал в самые мрачные ущелья. Во тьме этого почти подземного искания высоко над ним показалась звезда со скорбным мерцанием; он назвал ее, лишь только узнал, верностью, бескорыстной верностью! Почему же светила она ему яснее и чище всего, какую тайну всего его существа заключает в себе слово "верность"? Ведь на всем, над чем он размышлял и что творил, он запечатлел образ и проблему верности, в его произведениях - почти законченный цикл всевозможных видов верности, включая самые прекрасные и редко прозреваемые: верность брату сестре, другу - другу, слуги - господину, Елизаветы - Тангейзеру, Сенты - Скитальцу, Курвеналя и Марке - Тристану, Брунгильды - сокровенным желаниям Вотана. Это - изначальный опыт, познание, которое Вагнер черпает из личных переживаний и чтит как религиозную тайну. Его он выражает словом верность, его неустанно воплощает в бесчисленных образах и из глубокой благодарности наделяет всем прекрасным, чем сам обладает. Он познал, что невинная ясная сфера его существа из свободной бескорыстной любви осталась верна другой - темной, необузданной и тиранической.

3

Во взаимной связи обеих глубочайших сил, в их взаимной верности заключалась великая необходимость, благодаря которой он мог оставаться цельным и самим собой: но именно это было не в его власти, и он должен был заимствовать это у других, ибо он сознавал, что им постоянно овладевает искушение неверности с ее грозными для него опасностями. Здесь таится неисчерпаемый источник страданий всего развивающегося - неуверенность. Каждое из его влечений не знало меры, все жизнерадостные дарования боролись между собой и жаждали полного удовлетворения; и чем богаче они были, тем большее они вносили смятение, тем враждебнее было их столкновение. Случай и жизнь манили к могуществу, блеску, огненным наслаждениям; еще более мучила беспощадная необходимость жить во что бы то ни стало: всюду были западни и оковы. Как можно было сохранить здесь верность, остаться невредимым? Это сомнение овладевало им часто, и оно выражалось в той форме, в которой художник может проявлять свои сомнения, - в художественных образах. Елизавета может только страдать, молиться и умереть за Тангейзера, она спасает его, непостоянного и неволевого, своей верностью, но спасает не для этой жизни. Опасности и отчаяние подстерегают на жизненном пути всякого

истинного художника, заброшенного в нашу современность. Многими путями он может достигнуть славы и могущества, не раз предлагают ему покой и довольство, как их понимает современный человек, но честный художник задыхается среди этих паров. Опасность заключалась в искушении и в борьбе с искушением, в отвращении к современному способу добывания радостей и чести, в ярости против самодовольства наших современников. Представьте себе Вагнера занимающим какую-нибудь должность - ему ведь приходилось служить капельмейстером в городских и придворных театрах; ощутите, как этот серьезнейший художник насильственно добивается серьезности в этих современных учреждениях, где все проникнуто легкомыслием и требует легкомыслия, как это удастся ему в частностях, а в целом никогда не удастся; им овладевает отвращение, он хочет бежать - но куда; и он снова должен вернуться к цыганам и отщепенцам нашей культуры - здесь он свой человек. Выпутываясь из одного положения, он редко добивается лучшего и впадает в страшную нужду. Так Вагнер менял города, страны, товарищей, и едва понятно, как мог он вообще так долго терпеть такую среду и ее притязания. Над большей половиной его прошлой жизни нависла тяжелая туча. По-видимому, его надежды не простирались далее завтрашнего дня, - и если он не отчаивался, то у него не было и веры. Он чувствовал себя как странник, идущий ночью с тяжелой ношей, глубоко утомленный и все же возбужденный ночным бдением. Внезапная смерть являлась в его мечтах не ужасом, а манящим, пленительным призраком. Бремя, путь и ночь - все с плеч долой - это звучало обольстительно. Сто крат он бросался сызнова в жизнь с мимолетной надеждой и оставлял все призраки позади себя. Но в его действиях почти всегда было какое-то отсутствие меры признак того, что он не глубоко и не крепко верил в эту надежду, а отуманивался ею. Противоречие между желаниями и обычной полувозможностью или невозможностью их осуществления жалило его, как терния. Раздражаемое постоянными лишениями, его воображение теряло меру, когда он внезапно избавлялся от нужды. Жизнь становилась все более запутанной, но тем отважнее и изобретательней был он, как драматург, в отыскании средств и выходов, хотя то были лишь драматические вспомогательные приемы, подмененные мотивы, которые обманывают на мгновение и для мгновения изобретены. Они всегда у него под рукой, но так же быстро и растрачиваются. Жизнь Вагнера, если близко смотреть на нее, вблизи и холодно, имеет - пользуясь здесь одной мыслью Шопенгауэра - очень много комического и даже грубо-комического. Как должно бы действовать подобное чувство, сознание грубой низменности в продолжении целого ряда лет на художника, который больше, чем кто иной, мог свободно дышать лишь в сфере возвышенного и сверхвозвышенного, - об этом стоит призадуматься тому, кто умеет думать.

В таких условиях, которые лишь при точнейшем описании могут вызвать должную степень сострадания, ужаса и удивления, развивается способность учиться, весьма необычайная даже для немцев, этого истинно учащегося народа; с этим новым увлечением выросла и новая опасность, гораздо большая, чем опасность беспочвенной, непостоянной жизни, влекомой во все стороны беспокойной мечтой. Из новичка, пытающего свои силы, Вагнер превратился во всестороннего мастера музыки и сцены, в отношении всех технических основ той или другой он стал изобретателем и творцом. Никто не будет оспаривать, что он дал высший образец искусства великой декламации. Но он достиг еще большего, и для этого более, чем кто-либо другой, он должен был трудиться над изучением и усвоением высшей культуры. И как он это делал! Радостно смотреть на это; все это прирастает к нему, врастает в него, и чем больше и труднее постройка, тем сильнее он напрягает тетиву своего упорядочивающего и властвующего мышления. И тем не менее редко кому был так труден доступ к наукам и искусствам, и часто он должен был импровизировать пути к ним. Обновитель простой драмы, разгадчик положения искусства в истинном человеческом обществе, поэтический истолкователь прошедших жизневоззрений, философ, историк, эстетик и критик, мастер слова, мифолог и мифотворец, Вагнер впервые объял величественное и огромное древнее создание и запечатлел на нем руины своего духа. Какое обилие знаний он должен был собрать и сосредоточить, чтобы подняться на такую высоту! И однако эта масса не подавила его воли к действию, и никакая пленительная деталь не отвлекла его в сторону. Чтобы получить представление о его необыкновенной деятельности, возьмем для примера как великий контраст - Гете. В своем знании и учении Гете подобен разветвленной речной сети, которая, однако, уносит не всю свою силу в море, но теряет и рассеивает на своих путях и извилинах по меньшей мере столько же, сколько приносит с собой к устью. Правда, такое существо, как Гете, содержит и дает больше радостного; на нем лежит печать чего-то кроткого и благородно расточительного, тогда как сила и бурность вагнеровского движения может испугать и отпугнуть. Пусть боится, кто хочет; мы же можем стать лишь отважнее при виде героя, который даже в отношении современной культуры "не научился бояться".

Так же мало научился он искать успокоения в истории и философии, черпать из них то, что в них есть волшебного умиротворяющего и отклоняющего от действия. Ни творящий, ни борющийся художник не были отвлечены в нем учением и образованием от предуказанного им пути. Как только им овладевала творческая сила, история превращалась в его руках в мягкую глину. Тогда он сразу становится к ней в другие отношения, чем всякий ученый; так грек относился к своему мифу, когда он перерабатывал и создавал его, правда - с любовью и некоторым трепетным благоговением, но все же пользуясь верховным правом творца. И именно потому, что она была ему еще покорнее и послушнее, чем всякая греза, он мог влагать в отдельное событие типичность целых эпох и достигать этим путем правдивости изображения, недоступной историку. Где были так переданы в образах плоть и дух рыцарского средневековья, как это сделано в "Лоэнгрине"? И не будут ли говорить

"Майстерзингеры" отдаленнейшим временам о германском духе, даже больше чем говорить, - не будут ли они самым зрелым плодом этого духа, который всегда стремится преобразовывать, а не разрушать и, несмотря на свое широкое довольство, не разучился испытывать благородную неудовлетворенность, влекущую к делу обновления?

Именно такого рода неудовлетворенность все снова и снова вызывали в Вагнере его занятия философией и историей. Они служили ему не только оружием для борьбы, но он чувствовал здесь прежде всего то одушевляющее веяние, которое несется с могил всех великих борцов, всех великих страдальцев и мыслителей. Ничто так не отличает нас от всей современности, как то употребление, которое мы делаем из истории и философии. На долю первой теперь, по обычному о ней представлению, выпала задача дать современному человеку, кряхтя и с трудом бегущему к своим целям, перевести дух, чтобы он хоть на мгновение мог почувствовать себя, так сказать, без хомута. Ту роль, которую сыграл одинокий Монтень в движениях реформационного духа своей проповедью внутреннего успокоения, мирного сосредоточения в себе и отдохновения, - а так понял его, без сомнения, лучший его читатель Шекспир, - играет теперь для современного духа история. Если немцы уже целое столетие занимаются преимущественно изучением истории, то это показывает, что в движении современного человечества она является задерживающей, тормозящей и успокаивающей силой, что некоторые, пожалуй, готовы вменить ей в заслугу. В общем же это опасный симптом, когда духовные искания народа направлены преимущественно на прошедшее, - это признак расслабления, вырождения и одряхления, делающих его добычею всех распространяющихся опасных недугов, в особенности же политической горячки. Такое состояние слабости, в противоположность реформационным и революционным движениям, являют собой наши ученые в истории современного духа; они не поставили себе высоко-гордой задачи, но обеспечили себе своеобразный род безмятежного счастья. Мимо них, но уж, конечно, не мимо самой истории, проходит путь каждого более свободного и мужественного человека. История таит в себе совершенно другие силы - и это чувствуют именно такие натуры, как Вагнер. Но для этого она должна быть продуктом более властной души, написана более серьезно и строго, а главное - без того оптимизма, с каким ее толкуют до сих пор, - словом, совершенно иначе, чем это делают немецкие ученые. На их произведениях лежит печать приукрашения, печать покорности и удовлетворенности, они готовы оправдать ход вещей. Хорошо еще, если кто-либо дает понять, что он доволен только потому, что могло бы быть и еще хуже. Большинство из них невольно верят, что все прекрасно, именно так, как было. Если бы история не была все еще скрытой христианской теодицеей, если бы она была изложена правдивее и с большим жаром сочувствия, то она меньше всего могла бы служить тем, чем она служит теперь: усыпляющим средством против всяких стремлений к разрушению и обновлению. В таком же положении находится и философия. Большинство людей хочет из нее извлечь поверхностное - весьма поверхностное - понимание вещей, чтобы затем приспособиться к ним. Даже ее благороднейшие представители так усердно подчеркивают ее умиротворяющее и утешающее влияние, что искатели покоя и ленивцы могут возомнить, что они ищут того же, что и философия. Мне, например, кажется, что самый главный вопрос для всякой философии является в том, насколько вещи обладают неизменными качествами и формами, чтоб затем, дав ответ на этот вопрос, с беззаветной храбростью отдаться совершенствованию той стороны мира, которая будет признана изменчивой. Этому учат на деле и истинные философы тем самым, что работают над совершенствованием весьма изменчивых воззрений людей и не прячут для себя своей мудрости; этому учат и истинные ученики истинной философии, которые, подобно Вагнеру, умеют извлекать из нее повышенную решимость и непреклонность воли, а отнюдь не наркотическое действие. Вагнер более всего философ там, где он дееспособен и героичен. Именно как философ Вагнер прошел безбоязненно не только через огонь различных философских систем, но и сквозь туман науки и учености и остался верен своему высшему "я", требовавшему от него полноты проявления его многоголосного существа и повелевавшему страдать и учиться, чтобы иметь возможность выполнить эту задачу.

4

История развития культуры со времени греков довольно коротка, если принимать во внимание собственно лишь действительно пройденный путь и оставить в стороне периоды застоя, регресса, колебаний и еле заметного движения вперед. Эллинизация мира и ее осуществление путем ориентализации эллинизма - эта двойная задача Александра Великого - все еще остается последним великим событием. Старый вопрос, можно ли вообще привить чужую культуру, остается проблемой, над которой мучаются еще в новейшее время. Ритмическая игра этих двух взаимодействующих факторов - вот что в сущности определяло до сих пор ход истории. Христианство, например, является частью восточной древности, которая и продумывается и осуществляется людьми с широкой основательностью. С прекращением его влияния опять усиливается власть эллинской культуры. Мы переживаем явления, столь странные для нас, что они остались бы необъяснимыми, как бы висящими в воздухе, если бы мы, удаляясь в глубь времен, не были в состоянии по аналогии связать их с греческими явлениями. Таким образом, между Кантом и элеатами, между Шопенгауэром и Эмпедоклом, между Эсхилом и Рихардом Вагнером оказывается такая близкая и родственная связь, что становится почти очевидным относительный характер всех понятий о времени: начинает казаться, что многие вещи стоят в связи друг с другом, а время лишь облако, застилающее перед нашими глазами эту взаимную связь. В особенности история точных знаний производит такое впечатление, как будто мы именно теперь весьма близко подошли к

александрийско-греческому миру и маятник истории снова возвратился к той точке, откуда он начал свои колебания, - вернулся назад, в загадочную даль и глубь времен. Картина нашего современного мира ничуть не нова: знатоку истории должно все более казаться, будто он вновь узнает старые знакомые черты лица. Дух эллинской культуры в бесконечно-рассеянном виде почил на нашей современности: в то время, как различные силы приходят в столкновение и происходит обмен плодами современного знания и умения, снова замерцал в бледных очертаниях образ эллинизма, но еще отдаленный и бесплодный. Мир, достаточно ориентализированный, снова жаждет эллинизации. Кто хочет ему помочь в этом, должен обладать быстротой и окрыленной поступью, чтобы объединить самые разнообразные и отдаленные точки знания, самые различные сферы человеческого дарования, чтобы пройти необъятное поприще и завладеть им. Таким образом, необходим целый ряд анти-Александров, обладающих высшей силой - соединять и связывать, притягивать к себе отдаленные нити и предохранять ткань от разрушения. Задача заключается теперь не в том, чтобы подобно Александру разрубать Гордиев узел греческой культуры, концы которого развеялись по всем краям света, а в том, чтобы завязать его после того, как он уже был разрублен. В лице Вагнера я вижу такого анти-Александра. Все разрозненное, слабое и инертное он скрепляет и соединяет, он обладает, если позволено будет употребить медицинский термин, вяжущими свойствами. В этом отношении он является одной из крупнейших культурных сил. Искусство, религия, история народов - его сфера, здесь он властелин; и, однако, он является противоположностью полигистора - ума, исключительно собирающего и классифицирующего, ибо он перерабатывает в целое, одухотворяет собранный материал; он - упрости́тель мира. Такое представление не будет ошибочным, если мы сопоставим эту наиболее общую задачу, поставленную ему его гением, с тем ближайшим и более частным делом, которое непосредственно связано для нас теперь с именем Вагнера. От него ожидают реформы театра. Допустим, что она ему удастся. Какое же значение имело бы это для той высшей и более отдаленной задачи? Да, реформа театра изменила бы и преобразовала бы современного человека. В нашей современной действительности одно настолько связано с другим, что если выдернуть хоть один гвоздь, - все здание может зашататься и упасть. И от всякой другой действительной реформы можно было бы ждать того же, что и от вагнеровской, хотя и может показаться, что мы здесь преувеличиваем ее значение. Нет никакой возможности достигнуть высшего и чистейшего действия сценического искусства, не обновляя тем самым всего: морали, государства, воспитания и общественной жизни. Любовь и справедливость, укрепляясь в одной области, в данном случае в пределах искусства, должны по закону внутренней необходимости распространяться и дальше и не могут вернуться в прежнее неподвижное зачаточное состояние. Уже для того чтобы понять, насколько отношение современного искусства к жизни служит только символом вырождения этой жизни, насколько наши театры являются позором для тех, кто их строит и посещает, нужно изменить свой взгляд на все и научиться смотреть на обыкновенное и повседневное как на нечто весьма необычное и запутанное. Удивительная запутанность суждений, плохо скрытое стремление к забавам и развлечению во что бы то ни стало, - ученые соображения, напускная серьезность, притворство артистов, делающих вид, что они серьезно относятся к своему искусству, грубая жажда наживы со стороны предпринимателей, пустота и бессодержательность общества, которое лишь постольку думает о народе, поскольку он ему полезен или опасен, и которое посещает театры и концерты, нисколько не думая при этом о каких-либо обязанностях, - все это вместе образует удушливую и пагубную атмосферу нашего современного искусства. Но если свыкнуться с этой атмосферой, подобно нашим образованным классам, то, пожалуй, придешь к мысли, что она необходима для твоего здоровья, и почувствуешь себя плохо, если по какой-либо принудительной необходимости очутишься на время вне ее. Единственный способ наглядно убедиться, насколько пошлы, и притом странно и изломанно пошлы, наши театральные учреждения, это - противопоставить им прошлую действительность греческого театра! Допустим, что мы ничего не знали бы о грехах; в таком случае мы, быть может, были бы совершенно не в состоянии разобраться в окружающих нас обстоятельствах и возражения, вроде сделанных впервые в широком стиле Вагнером, показались бы нам мечтаниями людей, обретающихся в заоблачном мире. Могут возразить, что раз люди таковы, то и подобное искусство удовлетворяет и они его достойны, а другими они никогда и не были. Но они, без сомнения, были другими, и даже теперь можно встретить людей недовольных существовавшим до сего времени порядком, - доказательством этому служит факт предприятия в Байрейте. Здесь вы находите подготовленных и посвященных зрителей, подъем в людях, сознающих себя на вершине своего счастья, чувствующих, что в нем сосредоточено все их существо, и черпающих здесь силы для дальнейших и высших стремлений. Здесь вы находите преданную самоотверженность художников и прекраснейшее из всех зрелищ - победоносного творца произведения, представляющего собой совокупность целого ряда художественных подвигов. Не кажется ли волшебством подобное явление в наши дни? Не должны ли чувствовать себя преображенными и обновленными те, кто призван участвовать и созерцать это явление, чтобы в свою очередь преобразовывать и обновлять в других сферах жизни? Не обрели ли мы здесь пристань после блуждания по пустынной дали моря, не распростерлась ли здесь тишь над водами? Кто, вернувшись из царящей здесь глубины и уединенности настроения к плоской и низменной жизни, столь не похожей на виденное, не будет непрестанно вопрошать себя подобно Изольде: "Как сносила я это? Как еще снесу это?" И если он не в силах будет ревниво таить в себе свою радость и свое горе, то он отныне не пропустит случая засвидетельствовать о них делами. Где - спросит он - те люди, которые страдают от современного порядка вещей? Где наши естественные союзники, заодно с

которыми мы можем вступить в борьбу со все растущими и гнетущими нас захватами современной образованности? Ибо, пока у нас только один враг - пока только! Это - именно те "образованные", для которых слово "Байрейт" означает одно из их позорнейших поражений. Они не содействовали делу, они яростно восставали против него, или, что еще действительнее, прикидывались глухими, что является теперь обычным оружием наиболее мудрых противников. Но именно благодаря тому, что они своей враждой и коварством не могли поколебать внутреннего существа Вагнера, не могли помешать его делу, мы узнали еще одно: они выдали свою слабость и то, что сопротивление теперешних властелинов уже не выдержит частых натисков. Наступила благоприятная минута для стремящихся к завоеваниям и победам, величайшие царства широко открыты; знак вопроса стоит при именах владельцев везде, где только есть речь о владельцах. Так, например, здание воспитания признано уже дряхлым и разваливающимся, и везде мы встречаем лиц, которые втихомолку уже покидают его. Если бы можно было тех, которые фактически уже теперь глубоко недовольны им, вызвать хоть раз на открытое возмущение и протест! Если бы можно было освободить их от их робкого недовольства! Я знаю, что если скинут со счетов всего нашего образовательного дела скромный вклад этих людей, то это было бы самым чувствительным кровопусканием для него и привело бы к его ослаблению. Среди ученых, например, остались бы верными старому режиму только зараженные политическим сумасбродством да всякого рода литературная братия. Этот отвратительный строй, опирающийся на сферы насилия и несправедливости, на государственную власть и общество и видящий свою выгоду в том, чтобы сделать их все более злыми и беспощадными, вне этой опоры является чем-то слабым и усталым. Достаточно отнестись к нему с подобающим презрением, чтобы он сам собой рухнул. Кто борется за справедливость и любовь между людьми, тот должен менее всего опасаться этого строя, ибо действительные враги предстанут перед ним лишь тогда, когда он окончит свой бой с их авангардом - современной культурой.

Для нас Байрейт имеет значение утренней молитвы в день битвы. Было бы высшей несправедливостью предполагать, что мы заботимся только об одном искусстве, предполагая, что оно может служить лекарственным средством и наркотиком против всех остальных бедствий. Трагическое художественное произведение, созданное в Байрейте, являет для нас именно образ борьбы единичных личностей со всем, что выступает против них под видом непреодолимой необходимости, - с властью, знаком, обычаями, договорами и целыми порядками вещей. Для отдельного человека нет прекраснейшей доли, как в борьбе за справедливость и любовь созреть для смерти и пожертвовать собой. Полный тайны взор трагедии, обращенный на нас, - не ослабляющая и не сковывающая наши члены чара. Правда, она требует от нас покоя, пока ее взор устремлен на нас; ибо искусство существует не для самой борьбы, но для тех минут отдыха в начале и среди ее, для тех минут, когда, оглядываясь назад и исполняясь предчувствия, мы постигаем символическое, когда вместе с чувством легкой усталости приближается освежающий сон. Приходит день и с ним битва. Священные тени разлетаются, и искусство снова далеко от нас, но его утешение почит над человеком от предутреннего часа. Отдельный человек постоянно наталкивается на свою личную неудовлетворительность, свое бессилие и несовершенство; откуда ему взять мужества в борьбе, если он не посвящен заранее в нечто сверхличное? Величайшие страдания отдельной личности: отсутствие общности знания у людей, неопределенность конечных выводов, неравномерность способностей - все это порождает потребность в искусстве. Нельзя быть счастливым, пока вокруг все страдает и готовит себе страдания, нельзя быть нравственным, пока ход человеческих вещей обуславливается насилием, обманом и несправедливостью. Нельзя быть даже мудрым, пока все человечество не будет соревноваться в искании мудрости и не введет единичную личность разумнейшим путем в сферу жизни и знания. Как можно было бы выносить это тройное чувство неудовлетворительности, если бы не было возможности усмотреть в самой борьбе, в стремлении и гибели нечто возвышенное и значительное и научиться из трагедии находить радость в ритме великой страсти и в жертве ее. Искусство, конечно, не учит и не воспитывает к немедленной деятельности; в этом смысле художник - и не воспитатель и не советник, объекты стремлений трагических героев не суть цели, сами по себе достойные преследования. Пока мы находимся во власти искусства, оценка вещей изменяется, как это бывает и во сне; то, что нам кажется настолько достойным стремлений, что мы одобряем героя, предпочитающего смерть измене своей цели, в реальной жизни редко имеет ту же цену и заслуживает той же затраты сил; поэтому искусство и есть деятельность отдыхающего. Борьба, изображаемая им, представляет собою упрощение действительной жизненной борьбы, его проблемы представляют сокращение бесконечно запутанного счета человеческой деятельности и воли. Но именно в том-то и заключается величие и необходимость искусства, что оно дает иллюзию упрощенного мира, сокращенного решения загадки жизни. Никто из страдающих от жизни не может обойтись без этой иллюзии, как никто не может обойтись без сна. Чем труднее познать законы жизни, тем пламеннее стремимся мы к иллюзии такого упрощения, хотя бы на миг, тем сильнее чувствуется напряженная рознь между всеобщим познанием вещей и духовно-нравственной силой отдельной личности. Для того, чтобы лук не надломился, нам дано искусство.

Отдельная личность должна быть посвящена в нечто сверхличное - этого требует трагедия. Она должна преодолеть ужас тоски, навешиваемой индивиду смертью и временем, ибо в одно кратчайшее мгновение, в пределах одного атома ее жизненного пути может совершиться нечто святое, что с избытком вознаградит ее за всю борьбу и все бедствия, - это и называется обладать трагическим умонастроением. И если всему человечеству суждено когда-нибудь погибнуть - а кто может в этом сомневаться, - то перед ним стоит как цель эта высшая задача всех

грядущих времен - так срастись в едином и общем, чтобы как одно целое пойти навстречу предстоящей гибели с трагическим умонастроением. Эта высшая задача несет в себе залог всего грядущего благородства человечества; окончательный отказ от нее явился бы самым печальным зрелищем, какое только может представить себе друг человечества. Так я это ощущаю! Есть только одна надежда и одна порука за будущность человечества: она лежит в том, чтобы трагическое умонастроение не омертвело в нем. По земле должен бы пронестись небывалый вопль ужаса, если бы люди когда-либо совершенно утратили его, и наоборот, нет более воодушевляющей радости, как знать то, что мы знаем, а именно, что трагическая мысль опять возродилась к жизни. Ибо это - радость вполне сверхличная и всеобщая, она ликование человечества, увидавшего залог будущей связи и движения вперед всего человеческого.

5

Вагнер направил на настоящую и прошлую жизнь яркий луч познания, достаточно сильный, чтобы пролить свет на непривычные нам дали; поэтому он и является упрости́телем мира, ибо в том и заключается упрощение мира, что взор познающего снова овладевает ужасающей сложностью и беспредельностью кажущегося хаоса и сливает воедино то, что раньше было несовместимым и разобщенным. Вагнеру удалось это, благодаря тому, что он открыл отношение между двумя явлениями, которые казались отчужденными друг от друга и замкнутыми как бы в двух сферах: между музыкой и жизнью, а также между музыкой и драмой. Не то, чтобы он изобрел или создал эти отношения: они налицо и лежат, так сказать, на пути всякого. Великая проблема в этом отношении подобна драгоценному камню: тысячи проходят мимо, пока наконец один не поднимет его. Почему - спрашивает себя Вагнер - в жизни современных людей именно такое искусство, как музыка, проявилось с необычайной силой? Видеть в этом проблему еще не значит низко оценивать нашу жизнь. Нет, если взвесить все великие силы, присущие этой жизни, и при этом вызвать из глубины своей души образ существования, полного стремлений и борьбы за сознательную свободу и независимость мысли, тогда только самое присутствие музыки в этом мире покажется загадочным. И тогда, пожалуй, скажешь: такая эпоха не могла породить музыки! Но чему тогда приписать ее появление? Случаю? Конечно, единичный великий художник мог бы появиться и случайно. Но появление целого ряда великих художников, как мы это видим в новейшей истории музыки и как это было в прошлом лишь однажды - у греков, убеждает нас, что здесь господствует не случай, а необходимость. Эта необходимость и есть проблема, на которую Вагнер дает нам ответ.

Он первый пришел к сознанию того бедственного состояния, которое царит теперь везде, где есть народы, связанные цивилизацией. Всюду замечается заболевание речи, и над всем человеческим развитием тяготеет гнет этой ужасной болезни. Язык постоянно принужден был восходить на последние ступени для него достижимого, все реже служа выражению сильных движений чувства, которые он вначале мог передавать во всей их простоте; он стремился охватить мир мысли, т. е. то, что наиболее далеко отстоит от мира чувств. Но, благодаря своему чрезмерному росту, его силы истощились в непродолжительный период новейшей цивилизации. Таким образом он не в состоянии больше выполнять теперь своего единственного назначения - служить средством общения между страждущими на почве простейших жизненных нужд. Человек не может более при помощи языка сообщить о своей нужде, и, следовательно, не может действительно выразить себя. При этом смутно сознаваемом состоянии язык сделался повсюду какой-то независимой силой, которая как бы рукой призрака хватает людей и насильно тащит их туда, куда они собственно не хотят идти. Как только они пытаются столкнуться и объединиться для общего дела, ими овладевает безумие всеобщих понятий и даже просто словесных звуков; и, вследствие этой неспособности выразить себя, творения их коллективного духа носят на себе печать взаимного непонимания, отвечая не их действительным нуждам, а только бессодержательности поработивших их слов и понятий. Таким образом к прочим страданиям человечества присоединяются еще страдания условности, то есть согласованности в словах и поступках при несогласованности в чувствах. Как в период падения всякого искусства наступает момент, когда его болезненно разрастающиеся средства и формы начинают тиранически подавлять юные души художников и обращают их в своих рабов, точно так же теперь, при постепенном падении языка, мы становимся рабами слова. Под гнетом этого рабства никто не в состоянии более проявить себя таким, каков он есть, и говорить наивно, и только немногие вообще в силах сохранить свою индивидуальность в борьбе с образованием, которое видит залог своего успеха не в том, чтобы творчески идти навстречу определенным чувствам и потребностям, а в том, чтобы опутывать личность сетью "ясных понятий" и научать ее правильно мыслить: как будто имеет какую-либо цену сделать человека правильно мыслящим и умозаключающим существом, если не удалось сделать его предварительно существом правильно чувствующим. Если теперь в среде столь тяжело пораженного человечества раздастся музыка наших немецких мастеров, то что собственно выражается в этих звуках? Да не что иное как верное чувство, - враждебное всему условному, всякой искусственной отчужденности и всякому непониманию человека человеком. Эта музыка есть возврат к природе, и вместе с тем очищение и преображение природы; ибо в душе наиболее любящих людей пробудилась потребность этого возврата и в их искусстве звучит природа, претворенная в любовь.

Это мы можем принять, как первый ответ Вагнера на вопрос о том, какое значение имеет музыка в наше время; но у него есть еще и второй ответ. Отношение музыки к жизни не есть только отношение одного вида речи к другому - оно есть также отношение совершенного мира звуков к миру образов в его целом. Как зрительный образ, существование современного человека при сравнении с прежними явлениями жизни представляет

несказанную бедность и скудость, несмотря на несказанную пестроту, которая может обрадовать только поверхностный взор. Стоит только присмотреться попристальнее и разложить впечатление от этой бурно-подвижной игры красок. Не похожа ли она в целом на сверкание и переливы бесчисленного множества камешков и осколков, заимствованных у прежних культур? Не есть ли здесь все неподходящая роскошь, подражательная претенциозная внешность? Не одежда ли это из пестрых лоскутов для нагого и зябнущего? Не напускная ли это пляска веселости у страдальца? Не гримаса ли это гордого довольства, скрывающая глубокую рану? И при всем этом - прикрытые и таящиеся под быстрым движением и вихрем - серое бессилие, гложущее недовольство, трудолюбивая скука, позорное убожество! Явление современного человека свелось к одной видимости. В том, что он теперь представляет, он не только не виден, а скорее скрыт; и остаток изобретательного искусства, сохранившийся у некоторых народов, например у французов и итальянцев, весь тратится на эту игру в прятки. Всюду, где теперь требуют "формы", в обществе, разговоре, в литературном стиле, в сношениях между государствами, невольно понимают под этим угодливую внешность, в противоположность истинному понятию формы, как необходимого воплощения, не имеющего ничего общего с "угодным" и "неугодным", именно потому, что оно необходимо, а не произвольно. Но даже там, где среди цивилизованных народов теперь отсутствует определенное требование формы, мы все же не встретим этого необходимого воплощения; и только в своем стремлении к угодливой внешности эти народы не так счастливы, хотя по меньшей мере столь же усердны. Насколько угодлива всюду внешность, и почему каждому должны нравиться усилия современного человека усвоить себе хоть некоторую внешнюю форму, это чувствует каждый в той мере, в какой он сам есть современный человек. "Только рабы на галерах, - говорит Тассо, - знают друг друга, мы же учтиво обманываемся в других, чтобы они в свою очередь обманывались в нас".

И вот в этом мире форм и преднамеренной отчужденности появляются души, исполненные музыки. - Ради чего? Они движутся в великом свободном ритме, проникнуты благородной честностью и сверхличной страстью, они пылают мощно-спокойным пламенем музыки, которое из неисчерпаемой глубины пробивается в них к свету - и все это ради чего?

Через посредство этих душ музыка призывает свою равноправную сестру гимнастику, как свое необходимое воплощение в царстве видимого. В поисках и томлении по ней она становится судьей над изолгавшимся призрачным видимым миром современности. Вот второй ответ Вагнера на вопрос о том, какое значение имеет музыка в наше время. Помогите мне - взывает он ко всем, умеющим слышать, - помогите мне открыть ту культуру, которую возвещает моя музыка, как вновь обретенный язык истинного чувства; призадумайтесь над тем, что душа музыки стремится теперь облечься в плоть, что она через вас всех ищет свой путь к видимости в движении, действии, учреждениях и нравах. Есть люди, которым ясен этот призыв, и их число все возрастает. Этим людям впервые вновь стало понятным, что значит основать государство на музыке: древние греки не только понимали это, но и требовали от себя. Эти понимающие люди произнесут такой же окончательный приговор над современным государством, какой уже большинство людей произнесло над церковью. Средство к достижению столь новой, но не такой уже неслыханной цели лежит в сознании постыднейших недостатков нашего воспитания и настоящей причины его вывести нас из варварского состояния: ему недостает движущей и созидательной души музыки: напротив, его требования и учреждения возникли в такое время, когда еще не родилась эта музыка, на которую мы теперь возлагаем столь многозначительные надежды. Наше воспитание - самое отсталое явление современной жизни - и отсталое именно по отношению к единственной новой воспитательной силе, дающей людям настоящего преимущество перед людьми прошлых веков - или давшей бы его, если бы они отказались вперед вести свою бессознательную жизнь под бичом минуты! Так как до сих пор они только гнали от себя душу музыки, то они не могли предугадать значения гимнастики в греческом и вагнеровском смысле этого слова, и в этом основание, почему их пластические художники обречены на безнадежность впредь до тех пор, пока музыка не станет их путеводительницей в новый мир зрительных образов. Пусть появляется сколько угодно талантов, они придут или слишком поздно, или слишком рано, и во всяком случае не вовремя, ибо они не нужны и бездейственны; ведь даже совершенные и высшие образы прежних времен, служащие прототипами для современных художников, не нужны, почти утратили свое действие и не оказывают почти никакой помощи в работе. Если в их внутреннем созерцании не возникает никаких новых образов и они оглядываются только на старое, - то и служат они истории, а не жизни, и еще при жизни становятся мертвецами. Но кто теперь чувствует в себе действительную, плодотворную жизнь - что в наше время означает: музыку, - найдет ли тот в вымученных образах, формах и стилях, окружающих его, что-либо, пробуждающее надежды на дальнейшее? Он выше подобной суетности; он так же мало надеется найти чудеса пластического творчества вне своего идеального мира звуков, как не ждет от наших отживших и слинявших языков появления великих творцов слова. Он охотнее через силу направит свой глубоко неудовлетворенный взор на нашу современность, чем станет внимать пустым утешениям. Пусть лучше желчь и ненависть наполняют его сердце, если оно недостаточно нежно для сострадания! Лучше злорадия и презрения, чем обманчивое самообольщение и тихое опьянение, которому предаются наши "друзья искусства". Но если даже он способен на что-нибудь большее, чем отрицание и насмешку, если он умеет любить, сострадать и участвовать в творчестве, он и тогда должен прежде всего отрицать, чтобы тем проложить сначала дорогу своей готовой на помощь душе. Для того, чтобы музыка могла в будущем благоговейно настраивать сердца многих людей и внушать им свои высшие намерения, это столь

священное искусство должно перестать служить предметом увеселения и услаждения. Нужно изгнать именно "друга искусства" - эту опору наших художественных увеселений, театров, музеев, концертных обществ. Благосклонность, с которой государство встречало все его желания, нужно обратить в несочувствие; общественное мнение, особенно ценившее создание такой дружбы с искусством, должно уступить место более правильному пониманию. А пока что, даже отъявленный враг искусства может сойти для нас за действительного и полезного союзника, так как то, против чего он ведет борьбу, есть искусство, как его понимает "друг искусства": ведь другого - он не знает! Пусть он продолжает укорять этого друга искусства за безумные траты денег на постройку его театров и общественных памятников, на приглашение его "знаменитых" певцов и актеров, на содержание его совершенно бесплодных художественных школ и картинных галлерей, не говоря уже о бесцельной затрате в каждой семье сил, времени и денег на воспитание мнимого "интереса к искусству". Здесь нет ни голода, ни насыщения, - а только бледная игра во что-то, похожее на то и на другое, изобретенная ради тщеславного желания выставить себя на показ или ввести людей в заблуждение, а то и хуже: когда на искусство смотрят сравнительно серьезно, то от него требуют, чтобы оно порождало известного рода голод и потребность, и видят его задачу как раз в этом искусственно созданном возбуждении. Как бы боясь погибнуть от отвращения к себе и своей тупости, люди вызывают всех злых демонов, чтобы они преследовали их, как охотники свою добычу. Томятся по страданию, гневу, ненависти, возбуждению, жаждут внезапного испуга, напряжения, от которого дыхание останавливается в груди, призывают художника, как заклинателя этой охоты духов. Искусство в душевном обиходе наших образованных людей в настоящее время - или совершенно лживая, или позорная, унижительная потребность, оно для них - или ничто, или нечто дурное. Лучший и более редкий художник как бы охвачен дурманящим сновидением, мешающим ему видеть все это, и повторяет нетвердым и неуверенным голосом сказочно-прекрасные слова, которые, мнится, долетают к нему из какой-то дали, но долетают неясные и непонятные. Напротив, художник новейшего пошиба, в полном презрении к мечтательным поискам и речам своего более благородного сотоварища, шествует и ведет за собой на привязи всю лающую свору страстей и мерзостей, чтобы по первому требованию спустить их на современных людей. Последние же предпочитают быть затравленными, израненными и истерзанными, чем быть вынужденными жить в тиши с самими собой. С самими собой! Эта мысль потрясает современные души, это их страх и грозный им призрак. Когда я в многолюдных городах вижу эти тысячи людей, проходящих с тупым и суетливым выражением лица, я твержу себе: им тяжело на душе. Но всем им искусство служит только для того, чтобы на душе стало еще хуже, еще тупее и бессмысленнее, еще тревожнее и похотливее. Ибо неверное чувство неотступно давит и мучит, не дает им признаться самим себе в своей духовной нищете. Хотят ли они что-нибудь сказать, условность шепчет им на ухо что-либо, отчего они забывают, что собственно хотели высказать; желают ли они объясниться друг с другом, их разум парализуется словно волшебным заклятьем, и они называют счастьем свое несчастье, да еще старательно объединяются на пагубу себе. Так они окончательно падают, превращаясь в безвольных рабов ложного чувства.

6

Я покажу только на двух примерах, насколько извращено чувство в наше время и насколько чуждо современности сознание этой извращенности. Некогда с благородным пренебрежением смотрели на людей, занимающихся денежными операциями, хотя и нуждались в них. Признавали, что во всяком обществе неизбежны и грязные стороны. Теперь же они стали властвующей силой в душе современного человечества, наиболее привлекающей к себе стороной его. Некогда более всего остерегались придавать слишком серьезное значение дню и минуте и рекомендовали *nil admirari* и заботу о вечных вопросах; теперь же в современной душе осталось только одно серьезное отношение - к известиям, которые приносит газета или телеграф. Использовать мгновение и для его использования как можно скорее составить себе о нем надлежащее суждение! Можно подумать, что у современного человека осталась только одна добродетель - присутствие духа. К сожалению, на самом деле, это скорее везде присутствие грязной ненасытной жадности и всюду поспевающего любопытства. Существует ли вообще теперь какой-либо дух - это мы предоставляем исследовать будущим судьям, которые некогда займутся расценкой современных людей. Но уже теперь пошлость нашего века очевидна, ибо он чтит именно то, что презирали прежние, более благородные века. Если же он присвоил себе все драгоценные приобретения былой мудрости и искусства и щеголяет в этом богатейшем из одеяний, то он проявляет при этом ужасающее сознание своей пошлости, пользуясь этой одеждой не для того, чтобы согреться, а только чтобы обмануть других в отношении себя. Потребность притворяться и скрываться представляется ему более настоятельной, чем спасение от стужи. Так ученые и философы пользуются индийской и греческой мудростью не для того, чтобы самим стать мудрее и спокойнее: их работа направлена на одно - доставить современности обманчивую славу мудрости. Исследователи животного царства стараются представить зверские взрывы насилия, хитрости и жажды мести в современных взаимоотношениях государств и людей, как неизменные законы природы. Историки с боязливым старанием пытаются доказать положение, что каждая эпоха имеет свое право и свои условия, дабы, таким образом, уже заранее подготовить для будущего суда, ожидающего наше время, основную идею защиты. Учение о государстве, народе, хозяйстве, торговле и праве - все носит теперь этот подготовительно-апологетический характер. По-видимому, вся сила деятельных умов, не успевшая еще израсходовать на движение громадного механизма наживы и власти, направлена исключительно на то, чтобы защитить и оправдать

современность.

Перед каким обвинителем? - с недоумением спрашиваешь себя.

Перед собственной дурной совестью.

И тут сразу становится ясной задача современного искусства: притупить или опьянить людей! Усыпить или оглушить! Совесть, сознание превратить тем или иным способом в незнание! Помочь душе современного человека уйти от чувства вины, вместо того чтобы вернуть ее к невинности! И это хоть на немногие мгновения! Оправдать человека в его собственных глазах, заставив молчать его внутренний голос или дав ему возможность не слышать его! Те немногие, которые хоть раз действительно ощутили эту постыднейшую роль, это ужасное унижение искусства, будут преисполнены в душе горести и страдания, но также и нового неодолимого стремления. Кто желает освободить искусство, восстановить его поруганную святыню, должен сам сначала освободиться от современной души. Только невинным может он придти к невинности искусства; он должен пройти два великих очищения и посвящения. Если он выйдет при этом победителем и обратится из глубины освобожденной души к людям через посредство освобожденного искусства, тогда только встретится он с величайшей опасностью, тогда только ждет его самая страшная борьба. Люди охотно растерзали бы и его, и его искусство, чтобы только не сознаться в глубине своего стыда перед ними. Может статься, что освобождение искусства, единственный луч надежды в наши дни, останется событием для немногих одиноких душ, между тем как большинство будет по-прежнему довольствоваться колеблющимся и чадающим огнем своего искусства. Ведь они желают не света, а ослепления, ведь они ненавидят свет, когда он направлен на них самих.

Поэтому они бегут от нового носителя света. Но он следует за ними по пятам, влекомый любовью, породившей его, и хочет покорить их. "Вы должны, взывает он к ним, - пройти через мои мистерии. Вам нужны очищения и потрясения. Дерзайте ради вашего спасения, покиньте тускло освещенный угол природы и жизни, единственно, по-видимому, знакомый вам. Я вас введу в царство, столь же реальное. Вы сами решите, когда вернетесь из моей пещеры к вашему свету дня, какая жизнь подлинная, и где день и где пещера. Природа в своих глубинах гораздо богаче, могущественнее, блаженнее, страшнее. Вы ее не знаете в вашей обыденной жизни; научитесь, как вам снова стать природою, и дайте мне претворить вас вместе с ней и в ней моими чарами любви и огня".

Так говорит людям голос вагнеровского искусства. Что мы, дети жалкого века, впервые услышали его звуки, это показывает, сколь достоин сострадания именно наш век, и показывает вообще, что истинная музыка есть что-то роковое и предопределенное; ибо ее появление именно в настоящее время нельзя приписать пустому, бессмысленному случаю; случайный Вагнер был бы подавлен превосходством сил тех элементов, среди которых он был брошен судьбой. Но появление действительного Вагнера носит характер освещающей и оправдывающей необходимости. Его искусство, рассматриваемое в процессе возникновения, представляет чудеснейшее зрелище, несмотря на страдания, которыми сопровождалось его появление, ибо всюду сказывается разум, закон и цель. Созерцатель, упоенный этим зрелищем, будет славить это исполненное страданий возникновение и с радостью отметит, как у предопределенной натуры и дарования все идет на благо и пользу, какую бы тяжелую школу она ни проходила, как каждая опасность делает ее отважнее, каждая победа осмотрительнее, как она, питаясь ядом и невзгодами, все же остается здоровой и сильной. Насмешки и возражения окружающего мира суть для нее лишь побуждение и стимул; если она заблудится, то вернется из затерянности и блужданий с богатейшей добычей; если она спит, то "накапливает во сне лишь новые силы". Она закаляет даже тело и укрепляет его. Она живет, не истощая жизни; она властвует над человеком, как окрыленная страсть, и подымает его над землю, когда ноги его отказываются идти в песках, когда они изранены о камни. Ее свойство - делиться с другими, каждый должен принять участие в ее творчестве; она щедро рассыпает свои дары. Отвергаемая, она становится еще щедрее; когда одаренные ею злоупотребляют ее дарами, она отдает в придачу свое последнее драгоценнейшее сокровище - и никогда еще не были эти одаренные вполне достойны ее дара, так гласит опыт древнейших и новейших времен. Поэтому предопределенная натура, через посредство которой музыка говорит миру явлений, - самое загадочное, что есть под солнцем; она бездна, в которой покоятся в сочетании сила и добро; мост, переброшенный от "я" к "не-я". Кто мог бы точно определить цель ее существования вообще, хотя целесообразность, быть может, и просвечивает в процессе ее появления? Но в блаженном предчувствии зарождается вопрос: не существует ли действительно большее ради меньшего, величайшие дарования ради пользы малых сих, высшая добродетель и святость ради слабых? Не прозвучала ли истинная музыка оттого, что люди менее всего ее заслужили, но более всего нуждались в ней. Попробуйте хоть раз проникнуться безмерным чудом этой возможности и оглянитесь тогда на жизнь: она станет светлой, как бы темна и туманна ни казалась она нам раньше.

7

Иначе и быть не может: наблюдатель, имеющий перед собой такую натуру, как Вагнер, невольно от времени до времени оглядывается на самого себя, на свою ничтожность и слабость, и спрашивает себя: что мне она? при чем тут собственно ты? - Он, вероятно, не найдет ответа на этот вопрос, и в недоумении и молчаливом смущении беспомощно остановится пред своим собственным существом. Пусть он удовлетворится тем, что ему дано было пережить, пусть ответом на те вопросы ему послужит именно это чувство отчужденности от самого себя. Ибо это чувство и приобщает его к самому могучему проявлению духа Вагнера, к средоточию его силы, к демонической отчуждаемости и самоотречению его природы, которая сообщается другим точно так же, как и

сама захватывает все другие существа и в одарении и приятии обнаруживает свое величие. Наблюдатель, как бы подчиняясь щедрой и богатой натуре Вагнера, тем самым приобщается ее мощи и становится как бы через него могущественным против него. И всякий, кто внимательно вдумается в себя, поймет, что для созерцания необходимо таинственное соперничество, свойственное всякому созерцанию чего-либо вне себя. Если его искусство заставляет нас пережить все то, что испытывает душа в своих странствованиях, вступая в общение с другими душами, принимая участие в их судьбах, - душа, научающаяся смотреть на мир тысячьою глаз, - то из этой отчужденности и отдаленности от художника мы получаем возможность теперь увидеть и его самого, пережив его в себе. Мы тогда определенно сознаем, что весь мир видимого в Вагнере углубляется в мир звуков, делается чем-то внутренним и ищет свою потерянную душу; равным образом в Вагнере все слышимое в мире стремится стать также и явлением для очей, выйти и подняться к свету, как бы воплотиться. Его искусство непрестанно ведет его по двойному пути, из мира игры звуков в загадочно родственный мир игры-зрелища и обратно. Он постоянно принужден - а вместе с ним и зритель - переводить видимое движение в душу, возвращая его к первоисточнику, и вновь затем созерцать сокровеннейшую ткань души в зрительном явлении, облекая самое скрытое в призрачное тело жизни. В этом и состоит сущность дифирамбического драматурга, если взять это понятие во всей его полноте, обнимающей и актера, и поэта, и музыканта; значение этого понятия может быть с полной необходимостью установлено нами на примере единственного совершенного дифирамбического драматурга, предшествовавшего Вагнеру - Эсхила и его эллинских сотоварищей по искусству. Если были попытки объяснять величайшие примеры развития из внутренних препятствий и недочетов, если, например, для Гете поэзия была чем-то вроде исхода для неудавшегося живописца, если о шиллеровских драмах можно говорить как о переложенном в стихи красноречии народного оратора; если Вагнер сам пытается объяснить высокое развитие музыки немцев, между прочим, тем, что они за отсутствием соблазна прирожденного мелодического дарования принуждены были отнестись к музыке с такой же глубокой серьезностью, с какой их реформаторы отнеслись к христианству - если подобным же образом мы пожелали бы поставить развитие Вагнера в связь с каким-либо внутренним препятствием, то за ним следовало бы признать и значительное актерское дарование, которое, не считая возможным идти обычными тривиальными путями, нашло для себя исход и спасение в привлечении всех отраслей искусства к одному великому сценическому откровению. Но в такой же степени можно допустить другое: что могучая музыкальная натура, придя в отчаяние от сознания, что ей приходится обращаться с речью к полумузыкантам и вовсе не музыкантам, насильственно вторглась в область других искусств, чтобы таким образом передать себя, наконец, со стократной ясностью и добиться понимания, - истинно всенародного понимания в среде народа. Как бы мы ни представляли себе развитие этого первобытного драматурга, он в своей зрелости и законченности является созданием, свободным от внутренних препятствий и пробелов. Он становится истинно свободным художником, который не может не охватить своей мыслью все отрасли искусств, посредником и примирителем между разрозненными на первый взгляд сферами, восстановителем объединенности и цельности художественного дарования, которая не может быть разгадана и раскрыта, а лишь показана на деле. Тот, перед кем внезапно совершилось это деяние, будет поработан им, как страшным таинственным волшебством. Он очутится лицом к лицу с силою, уничтожающей все доводы разума, и все, чем он прежде жил, покажется ему непонятным и неразумным. Вне себя, мы плывем по какой-то загадочной огненной стихии, перестаем понимать самих себя, узнавать то, что было нам так близко. Мерило ускользает из наших рук, все закономерное, застывшее приходит в движение, все предметы сверкают в новых красках, говорят с нами новыми письменами. Надо быть Платоном, чтобы при этом смещении могучего восторга и страха отважиться, как он, на такое обращение к драматургу: "Если в нашу общину явится человек, который, благодаря своей мудрости, обладает способностью стать всем и подражать всем вещам, мы почтим его как святого и достойного удивления, мы прольем елей на его голову, увенчаем его, но в то же время попытаемся убедить его уйти в другую общину". Член Платоновской общины мог и должен был заставить себя сказать нечто подобное; мы же, живущие в совершенно ином общественном союзе, томимся и жаждем пришествия этого чародея - хотя и боимся его - именно дабы наш общественный союз, и злой разум и мощь, воплощением которых он является, хоть раз нашли свое отрицание. Такое состояние человечества, его общественного строя, нравов, образа жизни и общего уклада, при котором не чувствовалось бы нужды в подражающем художнике, быть может не вполне невозможно, но это "быть может" более чем смело и пожалуй равносильно "быть не может". Говорить о чем-либо подобном позволительно лишь тому, кто мог бы, предвосхищая, создать и прочувствовать высшее мгновение всего грядущего, а затем немедленно ослепнуть, подобно Фаусту: кто бы мог это и имел бы на это право - ибо мы не имеем права даже на эту слепоту - тогда как, например, Платон имел право быть слепым по отношению ко всей эллинской реальности после того единственного взгляда, который он бросил на идеально-эллинское. Мы, прочие, быть может, потому и нуждаемся в искусстве, что у нас открылись глаза на лики действительности, и нам нужен именно универсальный драматург, чтоб он хоть на несколько часов освободил нас от того страшного разлада, который прозревший человек испытывает теперь между собой и обременяющими его задачами. При его помощи мы восходим на высшие ступени ощущения, и чудится нам, что мы там снова пребываем среди вольной природы и в царстве свободы. Оттуда мы видим, как бы в огромном мареве, себя и себе подобных в борьбе, победе и гибели, как нечто возвышенное и значительное, нас влекут к себе ритм страсти и жертва ее, в каждом могучем шаге героя мы слышим глухой отголосок смерти, и все близости начинаем находить высшую прелесть

жизни. Так, переродившись в трагических людей, мы с необычным настроением спокойствия возвращаемся к жизни, возвращаемся с новым чувством уверенности, словно мы нашли обратный путь от великих опасностей, уклонений и восторгов в свой тесный, родной круг, где теперь можно зажить с более высоким пониманием добра, и во всяком случае, более благородной жизнью. Ибо все, что здесь кажется нам важным, необходимым и направленным к цели, при сравнении с тем путем, который мы прошли, хотя и в сновидении, представляется нам только странно разрозненными отрывками тех целостных переживаний, сознание которых наполнило нас страхом. Нам угрожает даже опасность, и мы можем впасть в искушение слишком легко отнестись к жизни, именно потому, что мы с такой необычной серьезностью отнеслись к ней в искусстве, говоря словами Вагнера, рисуя свою собственную жизненную судьбу. Ибо если для нас, не создающих, а только воспринимающих подобное искусство дифирамбического драматурга, его сновидение кажется большей правдой, чем сама явь и действительность, то какова должна быть оценка этой противоположности художником!? Ведь чем является он среди этого навязчивого шума и назойливости дня, житейских нужд, общества, государства? Быть может, единственным бодрствующим, единственным правдиво и реально настроенным существом среди спящих, запутавшихся и измученных, среди всех этих грезящих и страждущих. Иногда он чувствует себя как бы охваченным долгой бессонницей, словно он всю свою, как день ясную, сознательную жизнь должен проводить среди сомнамбул и серьезно хлопочущих о чем-то привидений. Поэтому теперь все то, что другим кажется обычным, для него является странным, и ему хочется встретить это впечатление от окружающих его явлений надменной насмешкой. Но как своеобразно усложняется это чувство, когда к его ясности и дерзновенной гордыне присоединяется другое стремление - тоска по низинам, любовное желание земли, радости общения. Ибо, когда он подумает обо всем том, чего он, одинокий творец, лишен, у него появляется потребность, подобно Богу, сошедшему на землю, "вознести в огненных объятиях к небу" все слабое, человеческое, заблудшее, чтоб найти, наконец, любовь, а не поклонение и дойти до полного самоотречения в этой любви. Но именно предположенное нами скрещивание чувств есть действительное чудо, совершающееся в душе дифирамбического драматурга, и если где можно составить себе понятие о природе последнего - то именно здесь. Когда он переживает противоборство этих чувств, когда в нем сочетается холодно-гордая отчужденность и то изумление, которое он испытывает пред миром со страстным желанием приблизиться к нему с любовью - в такие моменты и возникает в нем процесс зачатия искусства. Взоры его, обращенные на землю и жизнь, становятся тогда подобными солнечным лучам, "влекущим к себе воды", сгущающим туманы и собирающим грозные тучи. Вещим ясновидением и в то же время самоотверженной любовью исполнен его взор, и всюду, где падает свет этого двойного сияния, природа со страшной быстротой стремится к освобождению, к разряжению своих сил, к откровению самых сокровенных своих тайн; и притом от стыда. Не будет одной лишь метафорой сказать, что его взгляд застиг врасплох природу, что он увидел ее нагой, - и вот она стыдливо ищет укрыться в своих противоположностях. Дотоле незримое, внутреннее ищет убежища в сфере зримого и становится явлением, дотоле лишь видимое скрывается в темном море звуков. Так природа, желая скрыть себя, раскрывает сущность своих контрастов. В бурно-ритмическом и все же легком танце, в восторженных движениях изначальный драматург говорит о том, что происходит теперь в нем и в природе. Дифирамб его движений выражает не только трепет познания и дерзость прозрения, но и любовное сближение, радость самоотречения. Упоенное слово подчиняется ритму; в сочетании со словом звучит мелодия. И эта мелодия мечет свои искры дальше - в царство образов и понятий. Проносится сновидение, и подобное, и чуждое образу природы и ее жениха; оно сгущается в человеческие формы, расширяется в законченную смену героически-дерзкой воли, блаженной гибели и отречения от воли. Так возникает трагедия, так обогащается жизнь прекраснейшей мудростью - мудростью трагической мысли, так, наконец, возникает среди смертных их величайший чародей и благодетель дифирамбический драматург.

8

Собственно жизнь Вагнера, то есть постепенное раскрытие в нем дифирамбического драматурга, была в то же время его непрерывной борьбой с самим собой, поскольку он был не только дифирамбическим драматургом. Борьба с враждебным ему миром потому и была такой страшной и мучительной, что он слышал в самом себе голос этого "мира", этого обольстительного врага, сам носил в себе могучего противоборствующего демона. Когда в нем заговорила господствующая идея его жизни, а именно, что театр может произвести несравненное действие, величайшее возможное для искусства действие, все его существо пришло в сильнейшее смятение. Этим еще не было дано ясного, определенного ответа на вопрос, что же теперь желать и делать. Мысль явилась ему вначале в образе обольстительницы, она была выражением темной личной воли, ненасытно алчущей власти и блеска. Влияние, ни с чем несравнимое влияние - но посредством чего? на кого? - это стало навязчивым вопросом, постоянной задачей его ума и сердца. Он хотел побеждать и покорять, как еще ни один из художников не покорял и, если возможно, одним ударом достигнуть той тиранической власти, к которой его так смутно влекло. Ревнивым, пытливым взглядом он измерял все, что имело успех, еще больше он присматривался к тем, на кого надо было оказать влияние. Волшебным оком драматурга, читающего в сердцах людей, как в знакомой книге, он проник и в зрителя и слушателя и, если при этом им овладевало зачастую беспокойство, он все же немедленно схватился за средства покорить зрителя и слушателя. Эти средства были у него под рукой. То, что оказывало сильное влияние на него самого, он и хотел и мог воспроизвести. На каждой ступени своего развития

он воспринимал у своих прообразов только то, что он сам мог в свою очередь воспроизвести. Никогда он не сомневался, что ему удастся все, чего только захочет. В этом отношении он был, пожалуй, более высокого мнения о себе, чем Гете, который говорил: "Мне всегда казалось, что все уже в моей власти; мне могли бы надеть корону, и я нашел бы, что так оно и должно быть". Уменье Вагнера и его "вкус", а равно и его намерения - все это во все времена так подходило одно к другому, как ключ к своему замку, и одновременно достигло величия и свободы, - но тогда это еще не было так. Какое ему было дело до бессильного, хотя и благородного, но все же эгоистически обособленного чувства того или другого литературно и эстетически образованного друга искусства, стоящего вдали от толпы. Но могучие душевные бури, поднимающиеся в толпе в отдельные высокие моменты драматического пения, это внезапное, овладевающее душами, благородное и насквозь бескорыстное упоение - все это было отзвуком его собственного опыта и чувства, и в такие минуты его охватывала пламенная надежда на высшее влияние и власть. В большой опере он, таким образом, увидел средство для выражения своих основных мыслей, к ней влекло его вождество, на ее родину он устремил свой взор. Целый долгий период его жизни со всеми рискованными сменами его планов, работами, переменами местожительства, знакомствами, объясняется исключительно этим вождеством и теми внешними препятствиями, которые встречал этот нуждающийся, беспокойный, страстно-наивный немецкий художник на своем пути. Другой художник лучше его понимал, как завоевать власть на этом поприще. И теперь, когда мало-помалу раскрывается, каким искусным хитросплетением всякого рода влияний Мейербер подготовлял себе путь и достигал своих побед, и с какой тщательностью он взвешивал последовательность "эффектов" в самой опере, можно понять степень стыда и озлобления, охватившего Вагнера, когда ему открылись глаза на эти "художественные средства", почти неизбежные для желающих сорвать успех у публики. Я сомневаюсь, чтобы история могла назвать другого великого художника, который бы начал свое дело с такого огромного заблуждения, и так необдуманно и чистосердечно отдался самой возмутительной форме искусства. Но то, как он это делал, имело свое величие, и результаты поэтому получились изумительно плодотворные. Он понял, в своем отчаянии от осознанной им ошибки, основы современных успехов, современную публику и всю современную ложь искусства. Он стал критиком "эффекта", и в нем пробудилось предчувствие собственного просветления. С этой минуты дух музыки заговорил с ним, возвещая ему новые душевные чары. Он словно вышел на свет после долгой болезни и, едва доверяя своей руке и глазам, медленно пошел своей дорогой: и тогда для него явилось чудесным открытием сознание, что он все еще музыкант, все еще художник и что он только теперь и стал таковым.

На каждой ступени дальнейшего развития Вагнера обе основные силы его существа все теснее сплетаются; постепенно исчезает страх, который они испытывают друг к другу. Высшая сущность в нем уже не из милости оказывает услуги своему порывистому земному брату она любит его и должна служить ему. Все нежное и чистое на вершине развития находит в конце концов свое выражение и в самой мощи. Необузданное влечение идет своим путем, как и раньше, но по иным стезям, туда, где властвует высшая сущность, а она в свою очередь с любовью нисходит на землю и во всем земном узнает свой символ. Если бы возможно было в подобной же форме говорить о последней цели и результатах этого развития и все же оставаться понятным, то нашлось бы, вероятно, и образное выражение для обозначения этой продолжительной промежуточной стадии развития, но я сомневаюсь в первом, и потому отказываюсь от второго. Эта промежуточная ступень в отличие от предыдущего и последующего периодов может быть исторически обозначена двумя словами: Вагнер становится революционером общества, Вагнер признает в лице народа-поэта единственного бывшего до настоящего времени художника. К тому и другому привела его основная его идея, которая после пережитого им глубокого отчаяния и раскаяния предстала перед ним в новом образе и могущественнее, чем когда-либо. Влияние, несравненное влияние при посредстве театра! Но на кого? Он содрогался при воспоминании о тех, на кого он хотел влиять до сих пор. Из собственного опыта он понял все позорное положение искусства и художников - он узнал бездушное, черствое общество, считающее себя добрым, но в сущности злое, причисляющее искусство и художника к свите своих рабов, необходимых ему для удовлетворения мнимых потребностей. Современное искусство - роскошь, он понял это: понял и то, что оно живет и падает вместе с правом общества, основанного на роскоши. Это общество, с жестокосердной разумностью воспользовавшееся своей силою, чтобы сделать бессильный класс народ - все более покорным и униженным, убивало в народе все народное и вырабатывало из него современного "рабочего". Оно же лишило народ всего великого, благородного, - всего того, что он, единый истинный художник, созидал для себя под гнетом настоящей нужды и в чем он кротко изливал свою душу, его мифа, его напевов, его плясок, творческого богатства его речи, чтобы дистиллировать из всего этого усладительный напиток для себя, средство против истощения и скуки своего существования - современное искусство. Каким образом это общество возникло, как оно умело высасывать новые силы из противоположных ему на первый взгляд сфер мощи, как, например, оно сумело воспользоваться впадшим в лицемерие и половинчатость христианством, как защитой против народа для утверждения себя и своего достоинства, как наука и ученые охотно подчинились этой рабской повинности все это Вагнер проследил исторически, и в результате его наблюдений им овладело отвращение и бешеный гнев. Из сострадания к народу он стал революционером. С этой поры он возлюбил народ, тосковал по нем, как тосковал он по народному искусству, ибо - увы! - только в нем, исчезнувшем, едва чуемом, искусственно оттесненном народе он думал обрести единственного достойного зрителя и слушателя, которому была бы по плечу мощь того художественного произведения, о котором он

мечтал. Так он стал задумываться над вопросом, как возникает народ и как он возрождается?

Он всегда находил только один ответ. Если бы множество людей страдало тем же, чем страдаю я, думал он, то это и был бы народ. И где одинаковые страдания порождают одинаковые стремления и желания, там будут искать и одинакового способа их удовлетворять, будут находить в этом удовлетворении одинаковое счастье. Оглядываясь на то, что ему самому приносило наибольшее утешение и ободряло его в его нужде, в чем он находил полнейший душевный отклик своему страданию, он с блаженной уверенностью сознавал, что этим для него были только миф и музыка. Миф, в котором он видел порождение и язык народной нужды, и музыка, происхождение которой было родственно мифу, но еще более загадочно. В оба эти элемента погружал он свою душу, чтобы исцелить ее, к ним он тяготел наиболее страстно. Из этого он имел право заключать, сколь родственна его нужда нужде народа в пору его возникновения и что народ вновь восстанет, если в нем будет много Вагнеров. В каком же положении находились миф и музыка в нашем современном обществе, поскольку они еще не сделались жертвой этого общества? Их постигла одинаковая участь, и это лишь подтверждает их таинственную связь. Миф глубоко пал и искажился, превратившись в "сказку", занимательную игру, радость детей и женщин выродившегося народа; его дивная, строго святая мужественная природа была утрачена. Музыка сохранилась еще у бедных, простых и одиноких. Немецкому музыканту не удалось занять благоприятное положение среди искусств, служивших роскоши. Он сам стал чудовищной, таинственной сказкой, полной трогательных звуков и предвещаний, беспомощным вопрошателем, каким-то замороженным существом, ждущим избавления. И художник слышал здесь ясно веление, обращенное к нему одному - вернуть мифу его мужественность, освободить музыку от замораживавших ее чар и дать ей возможность заговорить. Он почувствовал, как освободился от оков его дар драматического творчества, как утвердилось его господство над еще неоткрытым промежуточным царством между мифом и музыкой. Свое новое художественное создание, в котором он соединил воедино все, что знал могучего, действенного, несущего блаженство, он поставил теперь пред людьми с великим, мучительно острым вопросом: "Где вы, страждущие тем же, чем страдаю я, и ждущие того же? Где та множественность, в которой я жажду увидеть народ? Я узнаю вас по тому, что у вас будет общее со мной счастье и общее утешение: по вашей радости я узнаю, в чем ваши страдания!" "Тангейзером" и "Лоэнгрином" задан был этот вопрос; он искал себе подобных, - одинокий жаждал множественности.

Но что ему пришлось испытать? Ни от кого он не услышал ответа; никто не понял его вопроса. Не то, чтобы последовало молчание, - напротив, отвечали на тысячи вопросов, им не поставленных. О новых художественных произведениях без умолку трещали, словно они были созданы только для того, чтобы их заглушили слова. Среди немцев вспыхнула какая-то горячка эстетического писательства и болтовни. Измеряли, ощупывали художественные произведения и личность самого художника с бесстыдством, свойственным немецким ученым не менее, чем немецким журналистам. Своими писаниями Вагнер пытался облегчить понимание поставленного им вопроса. Новое смятение и жужжание! Композитор, который пишет и мыслит, показался всем какой-то невероятной диковиной. Стали кричать, что он - теоретик, желающий преобразовать искусство на основании каких-то отвлеченных умствований. Побить его камнями! Вагнер был ошеломлен. Его вопрос остался непонятым, его страдания не встретили отклика, его произведения были обращены к глухим и слепым; народ, о котором он мечтал, оказался химерой. Он поколебался и остановился в нерешительности. Перед его взорами встала возможность полного крушения всего - но этой возможности он не испугался. Может быть, по ту сторону разрушения и запустения есть место для новой надежды, а может быть, и нет - но во всяком случае "ничто" лучше отвратительного "нечто". Вскоре он стал политическим изгнанником и впал в нужду.

И только теперь, вместе с этим страшным поворотом в его внешней и внутренней судьбе, начинается период жизни великого человека, как золотым отблеском озаренный сиянием высшего мастерства! Теперь только гений дифирамбической драматургии сбрасывает с себя последнее покрывало! Он одинок; время для него больше не имеет значения; он потерял надежду. Охватывающим мир взором он вновь измеряет глубину и на этот раз проникает до дна ее. Там видит он страданье, заложенное в основе вещей, и с этого времени, как бы отрешившись от самого себя, спокойнее несет свою долю страданий. Жажда высшей власти, это наследие прежних состояний, всецело переходит в художественное творчество. В своем творчестве он обращается теперь только к самому себе, а не к публике или народу, и полагает все силы на то, чтобы придать этому творчеству отчетливость и силу, достойные такого могучего диалога. Творчество предыдущего периода было еще несколько иным: в нем он еще принимал в соображение, хотя и с деликатностью и благородством, необходимость непосредственного действия. Ведь этим творчеством он хотел поставить вопрос, чтобы получить немедленный ответ на него. И как часто Вагнер хотел облегчить тем, кого он вопрошал, понимание: он шел навстречу им, снисходя к их неопытности, к их неумению отвечать, и прибегал к старым формам и средствам выражения в искусстве там, где он имел основание опасаться, что его собственный язык не будет иметь требуемой убедительности и понятности, он пытался убедить, ставя вопрос на полужуждом ему, но более знакомом его слушателям языке. Теперь уже ничто не побуждало его более к такому отношению; он хотел теперь только одного - столкнуться с самим собою, мыслить сущность мира в событиях, философствовать в звуках. Все, что оставалось в нем преднамеренного, было направлено на последние вопросы о вещах. Кто достоин знать, что в нем совершалось тогда, о чем он вел сам с собою речь в священных тайниках своей души - а немногие достойны этого - тот пусть слушает, созерцает и переживает "Тристана и Изольду" - этот настоящий *opus metaphysicum*

всего искусства - произведение, на котором покоится гаснущий взгляд умирающего, с его ненасытным, полным истомы стремлением к тайнам ночи и смерти, к бегству от жизни, которая, как нечто злое, обманчивое и разлучающее, резко выделяется в лучах таинственного, зловещего утра; к тому же это - драма, облеченная в самую суровую, строгую форму, покоряющая своей величавой простотой и этим соответствующая тайне, о которой говорит, - тайне смерти при живом теле, единства в раздвоенности. И все же есть нечто более удивительное, чем это произведение, это - сам художник, который вслед за тем мог создать в самое короткое время мировую картину, столь богатую многообразием красок, как "Мейстерзингеры из Нюрнберга", который, создавая оба эти произведения, как бы отдыхал и набирался сил, чтобы тем временем с размеренной спешностью возвести набросанное и начатое им четырехчастное исполинское здание, свое байрейтское творение искусства "Кольцо Нибелунгов" - плод двадцатилетнего размышления и творчества. Кого удивит соседство "Тристана" и "Мейстерзингеров", тот не понял существенной черты в жизни и природе всех истинно великих немцев. Он не знает, на какой именно почве выросла оригинальная и единственная в своем роде немецкая веселость Лютера, Бетховена и Вагнера, совершенно непонятная другим народам и, по-видимому, утраченная даже современными немцами, - та сверкающая как золото перебродившая смесь простодушия, проникновенной любви, созерцательности и веселого лукавства, которую Вагнер, как драгоценнейший напиток, поднес всем, кто глубоко страдал от жизни и, как бы с улыбкой выздоравливающего, снова обращает к ней свои взоры. И по мере того, как он сам более примиренно смотрел на жизнь, реже обуреваемый гневом и отвращением, в любви и печали, скорее добровольно отказывался от власти, чем трепетно отступал перед ней; по мере того, как он в тиши вел вперед свое великое дело, прибавляя к партитуре партитуру, произошло нечто такое, что заставило его насторожиться. Явились друзья, возвестившие ему скрытую подземную тревогу многих душ. То далеко еще не был "народ", подвигшийся и заявивший о себе, но, пожалуй, зародыш и первый жизненный источник воистину человеческого общества, имеющего сложиться в грядущие времена. Это пока было лишь порукой тому, что его великое дело когда-нибудь можно будет отдать под охрану и в руки верных людей, которые будут хранить для будущих поколений это чудное наследие и достойны стать его хранителями. Любовь друзей внесла в дни жизни Вагнера новые светлые краски и тепло. Он уже не был одинок в своей благородной заботе: до заката закончить свое дело и найти гостеприимный кров. И тут произошло событие, которое он мог истолковать лишь символически и которое имело для него значение нового утешения и счастливого предзнаменования. Его заставила пристальнее всмотреться великая война немцев, - тех самых немцев, которых он считал столь глубоко выродившимися и в такой мере отпавшими от возвышенного немецкого духа, изученного им с глубокой сознательностью и познанным в самом себе и других великих исторических немцах. Он увидел, что эти немцы в невероятно трудном положении проявляли две подлинные добродетели - бесхитростное мужество и осмотрительность; глубоко счастливый, он начал верить, что он еще, пожалуй, не последний немец и что со временем более могущественная сила, чем его самоотверженные, но немногочисленные друзья, станет в защиту его дела в те долгие дни, когда оно, как художественное творение будущего, будет выжидать predeterminedного будущего. Может быть, эта вера и не могла надолго предохранить его от сомнений, в особенности, когда он начинал строить надежды на ближайшее будущее. Но так или иначе он испытал могучий толчок, напомнивший ему о неисполненном еще высоком долге.

Его дело не было бы готово и доведено до конца, если бы он оставил потомству лишь немые партитуры. Ему предстояло перед лицом всех показать и научить тому, что никто не мог разгадать без него, что было дано ему одному, - новому стилю передачи и исполнения его произведений, дать на примере то, чего не мог дать никто другой, и таким образом установить традицию стиля, записанную не значками на бумаге, а впечатлениями в человеческих душах. Это стало для него тем более серьезной обязанностью, что другие его произведения постигла тем временем, именно в отношении стиля их исполнения, самая нетерпимая и нелепая участь: их прославляли, ими восхищались и - их искажали, и никто, по-видимому, не возмущался этим. И как ни странно это может показаться, но это так: в то время, как он, проницательно оценивая своих современников, все более определенно отказывался от мысли иметь у них успех и от стремления к власти, явились и "успех" и "власть"; по крайней мере весь мир твердил ему об этом. Не помогало и то, что он решительно и неоднократно старался выяснить, что все эти успехи суть полнейшее недоразумение и позорят его; люди так мало привыкли встречаться с художником, умеющим строго разбираться в характере производимого им действия, что даже его торжественнейшим протестам не давали веры. Когда ему стала ясна связь современных театральных порядков и театральных успехов с характером современного человека, он от всей души порвал с этим театром. Что ему мог дать эстетический энтузиазм и ликование возбужденной толпы? Его могло только озлоблять, когда он видел, как его произведения без всякого разбора попадали в зияющую пасть ненасытной скуки и жажды развлечений. Насколько поверхностным и неосмысленным являлось здесь всякое действие, насколько все здесь в сущности сводилось скорее к удовлетворению ненасытной жадности, чем к пропитанию голодного, об этом он прежде всего заключал из одного правильно повторяющегося явления. Все, даже сами исполнители, смотрели на его искусство как на всякую другую театральную музыку и обращались с ним по отвратительным рецептам оперного стиля; рубили и перекраивали его произведения при содействии образованных капельмейстеров, изготовляя из них именно оперы; а певцы полагали, что можно как следует передать их, только старательно вытравив из них сначала всю душу. В лучшем случае неумело и с боязливой неуклюжестью следовали предписаниям Вагнера,

поручая, например, передачу ночного стечения народа на улицах Нюрнберга, указанного Вагнером во втором акте "Мейстерзингеров", искусственно движущимся балетным танцорам и чистосердечно веря при этом, что действуют без всяких злых побочных целей. Самоотверженные попытки Вагнера делом и примером показать возможность хотя бы только корректного и неискаженного исполнения, и его старания ознакомить отдельных певцов с новым по существу стилем передачи всякий раз тонули в тине господствовавшего безмыслия и рутины. Они сверх того постоянно заставляли его соприкасаться с тем именно театром, который в основе своей был ему отвратителен. Ведь даже Гете потерял всякую охоту присутствовать при исполнении своей "Ифигении". "Я невыразимо страдаю, - пояснял он, - когда я принужден бороться с этими призраками, которые появляются на свете не такими, какими должны были бы быть". "Успех" же его на этом опротивившем ему театре все более возрастал. Дело дошло до того, что большие театры почти исключительно жили за счет жирных доходов, доставляемых им искусством Вагнера, обезображенным на оперный лад. Даже некоторые друзья Вагнера были введены в заблуждение этой возрастающей страстью театральной публики, он должен был перенести худшее - этот великий страстотерпец - видеть своих друзей, опьяненных "успехами" и "победами" там, где исключительно возвышенная его мысль повергалась во прах и отрицалась. Казалось, что серьезный и положительный во многом народ именно в отношении к своему самому серьезному художнику не хотел отказаться от систематического легкомыслия, как бы изливая на него все, что было пошлого, бессмысленного, грубого и злого в немецком духе. Когда во время немецкой войны, по-видимому, взяло верх более широкое и свободное течение умов, Вагнер вспомнил о своем долге верности и попытался спасти хотя бы свое величайшее произведение от этих сомнительных успехов и оскорблений и выставить его на образец всем векам в его действительном ритме. Так пришел он к идее Байрейта. Под влиянием нового течения в умах он полагал возможным вызвать повышенное чувство долга в тех, кому он хотел доверить драгоценнейшее свое достояние. Из этого двоякого чувства долга возникло событие, которое своеобразным солнечным блеском озарило ближайшие и последние годы его жизни. Оно было создано для блага далекого, еще только возможного, но недоказуемого будущего; для современников и людей, живущих только настоящим, оно представляло не более, как загадку или предмет ужаса, для немногих же призванных ему содействовать оно было высокого рода предвосхищением и предвкушением, благодаря которому они могли чувствовать себя одухотворенными, одухотворяющими и плодотворными далеко за пределами настоящей минуты. Для самого же Вагнера оно несло новый мрак трудов, забот, размышлений, печали, новый взрыв враждебных сил; но все это - залитое лучами звезды самоотверженной верности и превращенное этим светом в несказанное счастье.

Едва ли нужно говорить, что веяние трагического коснулось этой жизни. И каждый, душе которого доступно подобное состояние, каждый, кому не окончательно чужды чувство гнетущего трагического разочарования в жизненных целях, уклоны и крушения намеченных путей, а также отречение и очищение через любовь, почувствует, что Вагнер дает нам теперь в своих художественных созданиях, как бы видение и отголосок собственного героического существования этого великого человека. И кажется нам, словно где-то вдали Зигфрид повествует о своих подвигах: и проникновенное счастье воспоминания окутано глубокой грустью увядающего лета, и вся природа затихла в желтых отблесках вечерних лучей.

9

Всякий, кто думал и мучился над тем, как сложился Вагнер-человек, должен для своего исцеления и успокоения призадуматься и над тем, что представляет собой Вагнер как художник, и внимательно вглядеться в образ могущества и смелости, ставших истинно свободными. Если искусство вообще есть только способность передавать другим то, что сам пережил, если каждое художественное произведение, непонятное другим, является внутренним противоречием, то величие Вагнера как художника заключается именно в той демонической общительности его природы, которая как бы на всех языках говорит о себе и с величайшей ясностью разоблачает его самые внутренние, личные переживания. Его появление в истории искусства подобно вулканическому извержению единой нераздельной художественно-творческой силы самой природы, после того как человечество привыкло считать разъединение и разобщенность искусств за правило. Поэтому останавливаешься в нерешительности, какое дать ему имя, - назвать ли его поэтом, пластиком или композитором, употребляя даже эти слова в самом широком смысле, или создать для него новое слово.

Поэтический элемент Вагнера сказывается в том, что он мыслит видимыми и чувствуемыми событиями, а не понятиями, т. е. что он мыслит мифически, как всегда мыслил народ. В основе мифа лежит не мысль, как это полагают сыны искусственной культуры, но он сам есть мышление, он передает некоторое представление о мире, в смене событий, действий и страданий. "Кольцо Нибелунгов" есть огромная система мыслей, но не облеченная в форму мысли, как понятия. Возможно, что философ мог бы противопоставить этому нечто вполне соответствующее, где не было бы ни образа, ни действия, а только ряд понятий. Тогда одно и то же нашло бы свое выражение в двух противоположных сферах - с одной стороны, для народа, а с другой - для противоположности народа - теоретического человека. К последнему Вагнер не обращается, ибо теоретический человек смыслит в истинной поэзии, в мифе ровно столько, сколько глухой в музыке, иначе говоря, оба видят только движение, которое им кажется бессмысленным. Находясь в одной из этих противоположных сфер, невозможно заглянуть в другую. Пока находишься под обаянием поэта, мыслишь, как он, становишься существом исключительно чувствующим, видящим и слышащим. Заключение, которые делаешь, являются лишь

связью видимых событий, следовательно, фактическими, а не логическими причинностями.

Когда герои и боги мифических драм, как их создает Вагнер, принуждены объясняться и словами, возникает близкая опасность, как бы этот язык слов не пробудил в нас теоретического человека и не перенес нас, таким образом, в другую, чуждую мифу сферу; так что слово в конце концов не только не разъяснит нам того, что перед нами происходит, но мы просто ничего не поймем. Поэтому Вагнер вернул язык к тому первобытному состоянию, когда он почти еще не мыслит в понятиях, когда он еще сам есть поэзия, образ и чувство.

Неустранимость, с которой Вагнер взялся за эту прямо отпугивающую задачу, показывает, как властно вел его поэтический гений, за которым он послушно следовал, куда бы ни направлялся его призракный вождь. Нужно было, чтобы каждое слово этих драм могло быть спето, чтобы оно могло быть вложено в уста богов и героев: в этом заключалось необычайное требование, которое Вагнер предъявил своему творчеству речи. Всякий другой пришел бы в отчаяние, ибо наш язык кажется нам слишком устарелым, истощенным, чтобы предъявлять к нему такие требования, какие ему ставил Вагнер. И все же его удар по скале вызвал к жизни богатый источник. Вагнер сильно любил свой язык и многого от него требовал. Поэтому именно ему, как никому из немцев, доставляли страдание вырождение и упадок языка, это постоянное обнищание и извращение его форм, неуклюжее построение предложений с помощью частиц, невозможные в пении вспомогательные глаголы. Ведь все это вошло в обиход языка, благодаря прегрешениям и небрежности. С другой стороны, он искренне гордился сохранившейся еще доселе самобытностью и неисчерпаемостью этого языка, многозвучной силой его корней, в которых он предчувствовал, в противоположность в высшей степени производным, искусственным риторическим языкам романских племен, удивительное предрасположение и предуготованность к музыке - к истинной музыке. В поэзии Вагнера чувствуется наслаждение немецким языком, какая-то задушевность и искренность общения с ним; это, за исключением Гете, не чувствуется в такой степени ни в одном немецком писателе. Пластичность выражений, смелая сжатость, мощь и ритмическое многообразие, редкое богатство сильных и выразительных слов, упрощенная конструкция предложений, почти единственное в своем роде искусство находить выражение волнующему чувству и предчувствию, порой бьющий во всей своей чистоте народный дух и характерность образов, напоминающая пословицы - вот свойства ее, перечислив которые, мы все же упустили бы самое могучее и изумительное в ней. Кто прочтет одно за другим такие два произведения, как "Тристан" и "Мейстерзингеры", испытает такое же удивление и недоумение по отношению к языку их, какое он испытывает по отношению к их музыке: как вообще возможно было творчески овладеть двумя мирами, столь противоположными по форме, краскам, строю и душевному складу. Это самая сильная сторона дарования Вагнера, нечто доступное только великому мастеру: для каждого произведения вычеканить особый язык и облечь новое внутреннее содержание в новую плоть и новые звуки. Где налицо такая редчайшая сила, - всякое порицание всегда останется мелочным и бесплодным, хотя бы оно было направлено на отдельные вольности и странности или на частую темноту выражения и затуманенность мысли. К тому же тех, кто громче всего до сих пор выражал свое порицание, в сущности, отталкивал и поражал не самый язык, а душа произведения и особый род выраженных им чувств и страданий. Будем ждать того времени, когда и их душа преобразится, тогда они сами заговорят другим языком, и тогда, мне кажется, и немецкий язык будет в общем находиться в лучших условиях, чем теперь.

Но прежде всего все размышляющие о Вагнере, как о поэте и творце языка, не должны забывать, что ни одна из вагнеровских драм не предназначена к чтению, и таким образом к ним нельзя предъявлять тех требований, которые мы ставим литературной драме. Последняя имеет в виду действовать на чувство исключительно путем понятий и слов; эта задача подчиняет ее власти риторики. Но страсть в жизни редко бывает красноречива: в литературной драме она неизбежно должна быть таковой, чтобы вообще выразить себя так или иначе. Но когда язык народа находится уже в состоянии упадка и увядания, драматургом-литератором овладевает сильное искушение придать необычайную окраску и новую форму словам и мыслям. Он хочет поднять язык, чтобы вновь зазвучали в нем повышенные чувства, и рискует при этом остаться совершенно непонятым. Он хочет также своими возвышенными афоризмами и блестящими мыслями поднять страсть на некоторую высоту, и вследствие этого попадает в другую опасность: становится неискренним и искусственным. Ибо действительная страсть жизни не говорит сентенциями; а опоэтизированная страсть легко возбуждает недоверие относительно своей честности, если она существенно расходится с этой действительностью. Напротив того, Вагнер - первый познавший внутренние недостатки литературной драмы - придает каждому драматическому действию тройную ясность выражения: в слове, жесте и музыке. В музыке души слушатели непосредственно переживают глубокие внутренние движения действующих лиц драмы, затем они в жестах артистов воспринимают первое воплощение этих внутренних процессов, а наконец, в словах встречают второе, уже побледневшее их отражение, перенесенное в область сознательной воли. Все эти действия следуют одновременно, нисколько не мешая друг другу. Они побуждают того, перед лицом которого проходит такая драма, к совершенно другому пониманию и переживанию, словно его чувства стали одновременно более одухотворенными, а его дух более чувственным, и все, что рвется из души и жаждет откровения, ликует в свободном блаженстве познания. Каждое событие вагнеровской драмы раскрывается перед зрителем с величайшей ясностью, и именно благодаря музыке, которая все освещает изнутри и накаляет своим пламенем, и поэтому-то ее творец и не нуждается в средствах, к которым прибегает художник слова, чтобы озарить и согреть свои образы. Все построение драмы здесь становится проще. Ее создатель мог снова отважиться на проявление своего ритмического чувства в общих и главных пропорциях

здания. Ибо ничто не побуждало его более к преднамеренной запутанности и сбивчивой пестроте архитектурного стиля, посредством которых художник слова, добиваясь успеха для своего произведения, старается вызвать чувство удивления и напряженного интереса, чтобы затем довести его до степени радостного восхищения. Ему не нужно было при помощи искусственных приемов достигать впечатления идеализирующей высоты и дали. Речь вернулась от риторической расплывчатости к прежней замкнутости и мощи языка чувств. И хотя артист несравненно меньше прежнего говорил о том, что он делает и чувствует по пьесе, внутренние движения, которых драматург слова избегал из боязни мнимой их несценичности, вызывали в зрителе страстное сочувствие, между тем как сопровождающий их язык жестов мог теперь проявляться в более мягких переходах. Вообще выражение страсти в пении длительнее, чем в словах. Музыка как бы растягивает ощущение, поэтому артисту, который одновременно и певец, приходится преодолевать слишком непластическую размашистость движений, от которой страдает на сцене литературная драма. Он стремится придать больше благородства своим жестам, тем более, что музыка погружает его чувство в волны более чистого эфира и тем невольно приближает его к красоте.

Чрезвычайные задачи, какие Вагнер возлагает на актеров и певцов, возбуждают среди целых поколений соревнование в стремлении воплотить своей игрой образ каждого вагнеровского героя с той пластической законченностью и рельефностью, которая уже дана Вагнером в самой музыке его драмы. Следуя за ним, пластический художник увидит, наконец, чудо нового мира образов, которые до него впервые увидел только сам творец "Кольца Нибелунгов", этот создатель пластических образов высшего порядка, подобно Эсхилу указывающий пути грядущему искусству. Уже одно соревнование вызовет к жизни великие дарования, когда искусство пластики станут сравнивать по впечатлению с такой музыкой, как вагнеровская. В ней источник светлого, лучезарного счастья. Когда слушаешь ее, почти вся прежняя музыка кажется внешней, связанной, несвободной, как будто она до сих пор служила только игрой для тех, кто недостойн серьезного, или поучением и уяснением для тех, которые не заслуживают даже игры. Препятствия доставляла лишь на краткий миг то счастье, которое постоянно дарует нам вагнеровская музыка. Кажется, лишь в редкие минуты забытья, как бы находившие на нее, она обращалась к самой себе и устремляла свой взор подобно рафаэлевской Цецилии, ввысь, дальше от слушателей, требующих от нее развлечения, увеселения и учености.

О Вагнере-музыканте можно вообще сказать, что он дал язык всему в природе, что до тех пор не хотело говорить. Он не верит, чтобы что-нибудь могло быть немым. Он погрузился в утреннюю зарю, леса, туманы, ущелья, горные вершины, ужасы ночи, блеск месяца и подметил в них затаенное желание: и они также хотят звучать. Если философ говорит, что в одушевленной и неодушевленной природе существует воля, жаждущая бытия, то музыкант прибавляет: и эта воля на всех своих ступенях хочет бытия в звуках.

До Вагнера музыка была в общем замкнута в тесные рамки, она соответствовала устойчивым состояниям человека - тому, что греки называют *ethos*, и лишь начиная с Бетховена, она впервые стала обретать язык пафоса, страстной воли, внутренних драматических переживаний человека. Прежде одно какое-нибудь настроение сосредоточенности, веселости, благоговения, раскаяния должно было найти выражение в звуках; стремились посредством определенного заметного однообразия формы и продления этого однообразия внушить слушателю смысл этой музыки и привести его, наконец, в соответствующее настроение. Для изображения всех таких настроений и состояний были необходимы известные формы, и некоторые из них, благодаря условности, стали в таких случаях обычными. Их продолжительность зависела от предусмотрительности музыканта, имевшего в виду дать соответствующее настроение, но в то же время не наскучить излишней монотонностью. Был сделан шаг вперед, когда стали изображать противоположные настроения одно за другим, подметив прелесть контраста, а затем пошли и далее, и одна и та же пьеса стала воспроизводить противоположные "этосы", например противоборство мужской и женской темы. Все это - еще грубые и первобытные ступени музыки. Боязнь страсти диктует одни законы, боязнь скуки - другие. Всякое углубление и нарушение границ чувства казалось "не этическим". Но после того, как искусство этоса в своем произведении обычных состояний и построений стало бесконечно повторяться, оно, несмотря на удивительнейшую изобретательность его мастеров, истощилось. Бетховен первый заставил музыку заговорить новым языком, запрещенным до того времени - языком страсти. Но так как его творчество выросло на законах и условностях искусства этоса и принуждено было как бы оправдываться перед последним, то его художественное развитие страдало от своеобразных затруднений и неясности. Внутреннее, драматическое событие - ибо всякая страсть имеет драматическое течение - стремилось вылиться в новые формы, но традиционная схема музыки настроения противоборствовала и возражала чуть ли не с видом морали, восстающей против вторжения безнравственности. Иногда кажется, что Бетховен поставил себе противоречивую задачу - средствами этоса дать выражение пафосу; но к величайшим и позднейшим произведениям Бетховена это представление не вполне применимо. Чтобы передать великую кривую, описываемую страстью, он действительно нашел новое средство: он брал отдельные пункты ее траектории и обозначил их с величайшей точностью, чтобы слушатель мог по ним восполнить всю линию. С внешней стороны новая форма представлялась как бы соединением в одно целое нескольких музыкальных пьес, из которых каждая в отдельности выражала как будто некоторое устойчивое состояние, в действительности же только один момент в драматическом течении страсти. Слушатель воображал, что он слушает старую музыку настроения. Ему стало лишь непонятным взаимоотношение отдельных частей, которое нельзя уже было объяснить из канона

противопоставления. Даже у менее значительных композиторов явилось некоторое презрение к требованию художественной целостности композиции, последовательность частей в их произведениях стала произвольной. Изобретение великой формы страсти привело по недоразумению к прежней отдельной музыкальной теме с произвольным содержанием, и взаимное соотношение частей исчезло совершенно. Вот почему после Бетховена симфония представляет такую до странности неясную картину, в особенности когда она в частностях еще лепечет языком бетховенского пафоса. Средства не соответствуют цели, да и самая цель в общем не ясна слушателю, потому что и самому композитору она никогда не была ясна. Но именно требование, чтобы было сказано что-либо определенное и притом сказано с совершенной ясностью, тем настоятельнее, чем выше, труднее и значительнее самый род произведения.

Поэтому все усилия Вагнера были направлены на то, чтобы найти все средства, служащие ясности. Прежде всего он должен был освободиться от всех предрассудков и требований старой музыки состояний и заставить говорить свою музыку - этот звучащий процесс чувства и страсти - вполне недвусмысленным языком. Если мы сравним его реформы в музыке с тем, что сделал изобретатель свободной группы в области пластики, то мы получим представление о том, чего он достиг. Вся прежняя музыка, при сравнении с вагнеровской, покажется скованной, боязливой и неловкой, как будто на нее нельзя смотреть со всех сторон и она стыдится самой себя. Вагнер улавливает каждую ступень, каждый оттенок чувства с величайшей уверенностью и точностью. Он берет самое нежное, отдаленное, тонкое движение души, не опасаясь, что оно ускользнет от него, и фиксирует его как нечто твердое и устойчивое, между тем как всякому другому показалось бы, что это неуловимый, хрупкий мотылек. Его музыка никогда не страдает неопределенностью, никогда не зависит от настроения; все, что говорит ею - человек или природа - отличается строго индивидуализованной страстью. Буря и огонь получают у него характер принудительной мощи, присущей личной воле. Над всеми этими звучащими индивидами и над борьбой их страстей, над всем этим водоворотом противоположностей парит верховное понимание правящего симфонического разума, непрестанно вносящего в борьбу примирение. Вся музыка Вагнера в целом является образом мира в том смысле, как его понимал великий эфесский философ, - как гармонии, порожденной спором, как единства справедливости и вражды. Я изумляюсь возможности найти великую линию единой страсти в множестве расходящихся по различным направлениям страстей. А что это возможно, доказывает каждый отдельный акт вагнеровской драмы, рассказывающий одновременно частные истории отдельных индивидов и вместе с тем общую историю всех. С самого начала мы уже замечаем, что перед нами противоположные отдельные течения, над которыми властвует один могучий, определенно направленный поток. Вначале этот поток беспокойно течет по подводным утесам, воды как будто стремятся иногда разделиться, броситься в разные стороны. Но постепенно мы начинаем замечать, что внутреннее общее течение становится могущественнее, стремительнее. Порывистое беспокойство переходит в покой широкого грозного движения к еще неведомой цели. И внезапно, в заключение, поток во всей своей ширине низвергается в глубину, в демоническом порыве к клочущей бездне. Никогда еще Вагнер не бывал в большей степени самим собою, как тогда, когда трудности удесят�ерялись, и он с радостью законодателя мог широко проявить свою власть. Укрощать бешеные непокорные массы, приводя их к простому ритму, проводить сквозь пестрое многообразие требований и стремлений единую волю - таковы задачи, для которых он чувствует себя рожденным и в сфере которых он чувствует себя свободным. И при этом он никогда не изнемогает, не падает от истомления у цели. В то время, как другие старались сложить с себя бремя, он постоянно стремился связать себя самыми тяжелыми законами. Жизнь и искусство становились ему в тягость, если он не мог играть самыми трудными их проблемами. Стоит хоть раз вникнуть в отношение мелодии в пении к мелодии в речи, посмотреть, как Вагнер относится к высоте, силе и темпу речи обуреваемого страстью человека, видя в ней природный прототип, подлежащий переработке в искусстве, сообразить затем, как эта поющая страсть введена им во все симфоническое построение музыки, чтобы получить представление о чуде преодоленных трудностей. При этом его изобретательность в малом и в великом, вездесущность его духа и постоянное трудолюбие таковы, что при одном взгляде на вагнеровскую партитуру начинаешь думать, что до него не существовало настоящего труда и усилий. Кажется, что и в отношении трудностей искусства он мог бы с полным правом сказать, что главная добродетель драматурга заключается в самоотверженности: но он, вероятно, возразил бы нам, что существует только одна трудность, это - когда человек еще не свободен. Добродетель же и добро - легки.

Общее впечатление от Вагнера как художника сближает его - чтобы напомнить более знакомый тип - с Демосфеном: суровая строгость в отношении к предмету, умение властно взяться за дело и охватить его: стоит ему лишь наложить на что-либо свою руку, и она уже не упустит из своих железных пальцев раз схваченное. Как Демосфен, он скрывает от нас свое искусство, вынуждает забыть его, заставляя думать о самом деле. И все же он, как и Демосфен, - конечное и высшее явление в целом ряде могучих художественных гениев, и следовательно, ему приходится больше скрывать, чем первым в этом ряду. Его искусство действует как природа, как обновленная, вновь обретенная природа. В нем нет ничего аподиктического, как у всех прежних композиторов, играющих при случае своим искусством и выставляющих напоказ свое мастерство. При исполнении произведения вагнеровского искусства не думаешь ни об интересном, ни о забавном, ни о самом Вагнере, ни вообще об искусстве, чувствуешь лишь необходимое в нем. Какую строгость и выдержанность воли, какое самоподчинение должен был проявить художник в период своего развития, чтобы наконец, достигнув

зрелости, с радостным чувством свободы в каждую минуту творчества создавать одно необходимое, - в этом едва ли кто-либо и когда-либо будет в состоянии отдать себе полный отчет. Достаточно, если мы хоть в отдельных случаях замечаем, как его музыка с какой-то суровой решимостью подчиняется ходу драмы, неумолимому, как рок, между тем как огненная душа этого искусства жаждет хоть раз без всяких препон пронестись на свободе по пустыне.

10

Художник, имеющий над собой такую власть, подчиняет себе других художников, даже не стремясь к этому. С другой стороны, только для него покоренные им его друзья и приверженцы не представляют опасности или стеснения, между тем как менее значительные характеры, ищущие опоры в друзьях, обыкновенно теряют при этом свободу. Весьма интересно проследить, как Вагнер всю свою жизнь избегал всякого образования партий, и как все же каждый фазис его творчества создавал круг приверженцев, который, по-видимому, имел целью удержать его на этом фазисе. Но он всегда вырывался из этого круга, не позволяя связывать себя. К тому же его путь был слишком длинен, чтобы каждый мог легко с самого начала угнаться за ним, и при этом столь необычен и крут, что у самого верного спутника порой захватывало дух. Почти во все периоды жизни Вагнера друзья охотно возвели бы его учение в догму, а равным образом и враги, хотя по другим основаниям. Будь чистота его художественного характера на одну ступень ниже, он гораздо скорее мог бы сделаться решающим хозяином в современном искусстве и музыке, чем он теперь в конце концов и стал в том более высоком смысле, что всякое новое художественное творение невольно приводится на суд его творчества и его художественной индивидуальности. Он подчинил себе самых ярких противников. Нет больше одаренного музыканта, который бы в душе не внимал ему и не считал его более достойным внимания, чем себя и всех прочих композиторов вместе. Те, которые во что бы то ни стало желают чем-нибудь выдвинуться, борются именно с этой покоряющей их внутренней прелестью, и с боязливым старанием замыкаются в кругу старых мастеров, предпочитая искать опоры для своей "самостоятельности" лучше в Шуберте и Генделе, чем в Вагнере. Напрасно! Сопротивляясь лучшим порывам своей совести, они, как художники, становятся незначительнее и мельче. Они портят свой характер тем, что принуждены терпеть плохих союзников и друзей, и несмотря на все эти жертвы, им все же по временам приходится прислушиваться, хотя бы в сновидениях, к Вагнеру. Эти противники достойны жалости: они воображают, что много потеряют, потеряв самих себя, и в этом они заблуждаются.

Вагнеру очевидно мало дела до того, будут ли отныне композиторы сочинять по-вагнеровски, и вообще будут ли они сочинять. Он даже делает все возможное, чтобы разрушить ту губительную веру, будто к нему должна еще примкнуть новая школа композиторов. Поскольку он оказывает непосредственное влияние на музыкантов, он старается научить их искусству великого исполнения. Он полагает, что наступила пора в развитии искусства, когда настойчивое стремление стать дельным мастером изображения и исполнения гораздо ценнее, чем капризная прихоть во что бы то ни стало "творить" самому, ибо это творчество на той ступени, которой достигло искусство, роковым образом ведет к тому, что действительно великое опошляется в своих действиях от постоянного применения его без разбора, и средства и приемы гения тратятся при ежедневном пользовании ими. Даже хорошее в искусстве излишне и вредно, если оно основано на подражании лучшему. Вагнеровские цели и средства составляют одно неразрывное целое, и требуется лишь простая художественная честность, чтобы почувствовать всю недобросовестность подражания его приемам в совершенно других, более мелких целях.

Если Вагнер, таким образом, не хочет иметь ничего общего с толпой сочиняющих по-вагнеровски музыкантов, то тем настоятельнее он выдвигает перед всеми талантливыми людьми новую задачу - отыскать вместе с ними законы стиля драматической передачи. Настоятельнейшая необходимость влечет его установить для своего искусства традицию стиля, которая дала бы возможность его произведениям сохраниться в чистом виде, пока они не достигнут того будущего, к которому они предназначены своим творцом.

Вагнер обладает ненасытным стремлением сообщить все, что имеет отношение к этому обоснованию стиля и тем самым к дальнейшему существованию его искусства. Сделать свое произведение, говоря словами Шопенгауэра, священным вкладом, и истинный плод своего существования - достоянием человечества, завещать их правильнее судящему потомству, - это стало для него высшей и первой целью, ради нее он нес терновый венец, который со временем превратится в лавровый. На сбережении и охранении своего создания он сосредоточил все свои стремления так же решительно, как насекомое в последней стадии своего развития прилагает все старания, чтобы охранить свои яички и обеспечить свое потомство, которого оно никогда не увидит. Оно кладет яички там, где оно уверено, что они найдут жизнь и питание, - и спокойно умирает.

Эта первая и непосредственная цель побуждает его все к новым открытиям. Чем сильнее в нем сознание борьбы с самым враждебным ему веком, сознательно и упорно не желающим внимать ему, тем более черпает он средств из своей демонической способности сообщать себя людям. Но постепенно даже эта эпоха начинает поддаваться его неустанным попыткам и гибкой настойчивости и прислушиваться к нему. Как только хоть издалека представлялся более или менее значительный случай пояснить свои мысли на примере, Вагнер с готовностью пользовался им. Он применяет свою мысль ко всяким данным условиям и даже при самых неблагоприятных условиях для ее воплощения находит ей выражение. Встречая душу, сколько-нибудь способную понять его, он бросает в нее свои семена. Он не терял надежды и там, где холодный наблюдатель только пожимал плечами.

Стократ он впадает в ошибки, чтобы хоть раз оказаться правым перед этим наблюдателем. Как мудрец вступает в тесное общение с людьми лишь постольку, поскольку он в состоянии через них умножить сокровищницу своих знаний, так и художник не имеет, по-видимому, почти никакого отношения к своим современникам, если только они не могут сделать чего-либо для увековечения его творчества. Его можно любить, только любя это увековечение, и равным образом ему чувствителен только один род направленной против него ненависти, именно ненависть, которая стремится разрушить мосты к этой будущности его творчества. Ученики, которых Вагнер воспитал себе, отдельные музыканты и актеры, которым он сказал что-либо или показал какой-либо жест, большие и малые оркестры, которыми он дирижировал, города, в которых проявлял серьезную деятельность, властители и женщины, которые полубоязливо, полулюбовно принимали участие в его планах, различные европейские страны, где он временно был судьей и карающей совестью их искусства, - все постепенно стало отголоском его мысли, его ненасытного стремления к грядущей жатве. Если этот отклик и долетал к нему часто искаженным и неясным, то все же наконец победное могущество его голоса, сотни раз разносившегося в мире, должно было вызвать и могучий отзвук; и скоро станет немислимым не слышать или превратно понимать его. Этот отклик уже теперь потрясает посвященные искусству учреждения современных нам людей; всякий раз, когда веяние этого гения проносилось по этим садам, все засохшее и не способное устоять против ветра начинало шататься; но еще красноречивее, чем это шатание, говорило везде возникавшее сомнение. Никто не мог предвидеть, где и когда могло внезапно прорваться влияние Вагнера. Он совершенно не способен рассматривать благо искусства отдельно от всякого другого блага или невзгоды. Где только современный дух таит в себе опасности, он пронизательно-недоверчивым взглядом чувствует опасность и для искусства. В своем представлении он разбирает по частям все здание нашей цивилизации, и ничто подгнившее, кое-как сложенное не ускользает от его взора. Если при этом он наталкивается на устойчивые стены и вообще на прочные фундаменты, он ищет средства использовать их в качестве бастионов и защитных крыш для своего искусства. Он живет как беглец, который думает не о своем спасении, а о сохранении тайны, как несчастная женщина, которая хочет спасти не свою жизнь, а жизнь ребенка, которого она носит в себе. Он живет, подобно Зиглинде, "ради любви".

Ибо, конечно, полна многообразных страданий и стыда жизнь того, кто скитальцем и чужаком живет в этом мире, и все же принужден говорить с ним, обращаться к нему с требованиями, презирать его и не быть в состоянии обходиться без него. Это собственно и есть горе художника будущего. Он не может, подобно философу, в темном углу для себя лично гнаться за познанием. Он нуждается в человеческих душах, как в посредниках между собой и будущим, в общественных учреждениях, как в поруке этого будущего, как в мостах между настоящим и будущим. Его искусство не может быть погружено и ввезено на корабле письменности, что способен сделать философ. Искусство нуждается в мастерах для своей передачи, а не в буквах и нотах. В течение целых периодов жизни Вагнера не покидает страх не отыскать таких мастеров и быть вынужденным, вместо примеров, которые он мог бы им дать, ограничиться указаниями на бумаге, а вместо примера на деле дать слабое отражение этого дела, пригодное для тех, кто читает книги, т. е. кто не художник.

Вагнер, как писатель, производит тяжелое впечатление храброго человека с раздробленной правой рукой, вынужденного сражаться одной левой. Писать для него всегда мучение, когда по временно непреодолимой необходимости он лишен настоящего, свойственного ему способа выражения в виде блестящих и победоносных примеров. В его писаниях нет ничего канонического, строгого, но в его произведениях заключен канон. Его писания - это попытки осознать тот инстинкт, который побуждал его к творчеству, и как бы посмотреть самому себе в глаза. Он надеялся, что, если ему удастся претворить свой инстинкт в познание, в душах его читателей произойдет обратный процесс. С этой целью он и взялся за перо. Если бы оказалось, что он в данном случае преследовал невозможное, то Вагнер разделил бы лишь судьбу всех, кто размышлял об искусстве; но перед большинством из них он имеет то преимущество, что обладает могущественнейшим общим инстинктом искусства. Я не знаю сочинений по эстетике, которые проливали бы столько света, сколько сочинения Вагнера. Из них можно узнать все, что можно вообще узнать о рождении художественного произведения. В них выступает свидетелем один из истинно великих, и его показания становятся с годами более правильными, свободными, ясными и определенными. Даже когда он спотыкается на пути познания, искры брызжут из-под его ног. Такие сочинения, как "Бетховен", "О дирижировании", "Об актерах и певцах", "Государство и религия", отнимают всякую охоту возражать и склоняют к тихому, внутреннему, благоговейному созерцанию, словно при открытии драгоценных ковчегов. Другие, а именно более ранние его произведения, в том числе "Опера и драма", волнуют, возбуждают беспокойство. В них чувствуется неравномерность ритма, благодаря чему они, как проза, приводят в некоторое смущение. Диалектика часто не выдержана в них, ход их, благодаря скачкам чувства, скорее замедленный, чем быстрый. На них, как тень, лежит отпечаток какого-то отвращения автора, словно художник стыдился отвлеченных рассуждений. Не вполне подготовленного читателя, быть может, более всего стесняет тон, исполненный достоинства, авторитетности, ему одному свойственный и трудно поддающийся описанию. На меня это производит часто такое впечатление, словно Вагнер говорит перед врагами, ибо все эти сочинения написаны в разговорном, а не в обычном литературном стиле, и покажутся более ясными, если их услышать в выразительном чтении перед врагами, с которыми он не хочет сближаться, а потому и держится холодно и на известном расстоянии. Тем не менее нередко захватывающая страстность его чувства прорывается сквозь эту намеренную личину. Тогда исчезают искусственные, тяжелые, загроможденные словами периоды и вырываются

предложения и целые страницы, которые можно причислить к лучшему, что имеется в немецкой прозе. Но если даже предположить, что в этих частях своих писаний он обращается к своим друзьям и призрак его противника уже не стоит около него, то все же все эти друзья и враги, к которым Вагнер обращается, как писатель, имеют нечто общее, что их глубоко отделяет от того "народа", ради которого он творит как художник. При своем утонченном и бесплодном образовании они ничуть не народны, и тот, кто хочет быть понятым ими, должен говорить не народным языком, как и говорили наши лучшие прозаики, а вместе с ними и сам Вагнер. Можно себе представить, какого насилия над собой это ему стоило. Но заботливое, так сказать, материнское влечение, которому он приносит всякие жертвы, толкает его самого в туманную атмосферу ученых и образованных, которую он навсегда покинул в качестве творца-художника. Он подчиняется языку образованности и всем законам ее речи, хотя он первый почувствовал глубокое несовершенство этого способа общения.

Ибо различие его искусства от всего искусства новейших времен заключается именно в том, что он не говорит языком кастовой образованности и вообще не признает более противоположности между образованными и необразованными. В этом отношении оно является прямой противоположностью ко всей культуре ренессанса, которая до сих пор действовала на нас, современных людей, своими светлыми и теневыми сторонами. Искусство Вагнера освобождает нас на мгновение от нее, и мы только тогда и получаем возможность окинуть взглядом ее однообразный характер. Мы начинаем видеть в Гете и Леопарди последних великих потомков итальянских филологов-поэтов; в Фаусте воплощение самой ненародной загадки, которую задали себе новые времена в лице жаждущего жизни теоретического человека. Даже гетевская песня есть перепев народной песни, а не прообраз ее, и ее творец прекрасно понимал это, когда с такой серьезностью старался внушить одному из своих приверженцев такую мысль: "Мои произведения не могут стать популярными. Заблуждается тот, кто думает об этом и стремится к этому".

Нужно было узнать на опыте, но нельзя было угадать возможность зарождения такого лучезарного и согревающего искусства, способного одновременно и озарить своими лучами малых и нищих духом, и растопить высокомерие знающих. Но в сознании каждого, кто это узнал, этот опыт должен теперь совершенно изменить взгляды на воспитание и культуру. Перед ним поднимается завеса будущего, когда не будет высших благ и счастья, которые не были бы доступны сердцам всех. И позор, который лежал до сих пор на слове общедоступный, снимется с него. Если предчувствие с такой смелостью уносит нас в даль, мы не можем не отнестись сознательно к пугающей социальной неопределенности нашего времени и скрыть от себя опасности, грозящей искусству, не имеющему по-видимому никаких корней, разве только в том отдаленном будущем, цветущие ветви которого видны нам, между тем как основание, на котором оно растет, скрыто от наших глаз. Как нам спасти в ожидании будущего это бездомное искусство, как нам задержать поток по-видимому неизбежной всеобщей революции так, чтобы вместе со многим заслуженно обреченными на гибель не были унесены волнами воодушевляющие предвестия и залогом лучшего будущего, более свободного человечества?

Кто задумывается над такими вопросами, тот принимает участие в заботах Вагнера. Он вместе с ним будет стремиться отыскать те устойчивые силы, которые согласятся стать гениями, защитниками благороднейших ценностей человечества в дни землетрясения и крушений. Только в этом смысле Вагнер своими писаниями вопрошает образованных людей, хотят ли они укрыть и сохранить в своих сокровищницах его наследие - драгоценное кольцо его искусства; и даже то великое доверие, которое Вагнер выказал немецкому духу в его политических стремлениях, я мог бы объяснить тем, что он верил в силу, кротость и отвагу народа реформации, - в те свойства, которые необходимы, чтобы "вести море революции в русло спокойно текущего потока человечества", и я готов допустить, что не что иное, как это хотел он выразить символикой своего *Kaisermarsch*'a.

В общем же готовый на всякую помощь порыв художника-творца слишком велик, любовь его к людям слишком широка, чтобы взор его мог ограничиться пределами национальных перегородок. Его мысли, как у всякого истинного и великого немца, сверхнемецкие, и язык его искусства обращен не к народам, а к людям.

Но к людям грядущего!

Это и есть его вера, его страдание, его гордость. Ни один художник прошлых времен не получил такого замечательного дара в удел от своего гения, никто, кроме него, не был приговорен к этой капле страшной горечи, примешанной к каждому кубку нектара, подносимому вдохновением. Не то чтобы он был, как можно было бы подумать, непризнанный, оскорбленный, одинокий в своем веке художник, который создал себе эту веру в целях самозащиты. Успех или неуспех у современников не могли бы ни сломить, ни утвердить этой веры. Он не принадлежит к настоящему поколению, будет ли оно восхищаться им или порицать его: это подсказывал ему его инстинкт; и явится ли когда-нибудь поколение, которое признает его своим, этого нельзя доказать тому, кто не хочет в это верить. Но этот неверующий может, пожалуй, поставить вопрос, каково должно быть то поколение, в котором Вагнер признал бы свой "народ", как совокупность всех страждущих одним общим горем и ищущих спасения в одном общем им всем искусстве. У Шиллера, правда, было больше веры и надежды. Он не спрашивал, каково будет это будущее, если инстинкт художника, возвещающего наступление его, окажется не ложным. Он прямо требовал от художников:

На смелых крыльях поднимитесь

Над бегом проходящих лет;

И в вашем зеркале зарею
Грядущий отразится век!

11

Да хранит нас здравый рассудок от веры, что когда-нибудь человечество может найти окончательный идеальный строй, и счастье, подобно солнцу тропических стран, будет посылать неизменно свои знойные лучи всем людям этого строя. Вагнер ничуть не разделяет этой веры - он не утопист. Если же он не может отказаться от веры в будущее, то лишь постольку, поскольку он находит в современном человеке свойства, не составляющие неизменной принадлежности характера и органического строения человека, а нечто изменчивое и преходящее; именно благодаря этим свойствам искусство среди людей этого времени не имеет родины, и сам Вагнер является предвестником и посланником другой эпохи. Ни золотого века, ни безоблачного неба не суждено этим грядущим поколениям, на которые указывает ему его инстинкт и смутные черты которых можно угадать по тайнописи его искусства, насколько вообще возможно по роду удовлетворения судить о характере нужды. Над полями этого будущего не раскинутся, подобно вечной радуге, сверхчеловеческое добро и справедливость. Быть может, грядущее поколение покажется в общем даже более злым, чем наше, ибо оно будет откровеннее как в дурном, так и в хорошем. Возможно, что душа его, если бы ей дано было высказаться во всей полноте и свободе, потрясла и испугала бы наши души, как если бы мы услышали голос какого-либо дотоле скрытого злого демона в природе. Какое чувство вызвали бы в нас утверждения, что страсть лучше стоицизма и лицемерия, что быть честным, даже во зле, лучше, чем утратить себя, подчиняясь традиционной морали, что свободный человек равно может быть и добрым и злым, но что человек несвободный - позор для природы и для него нет ни земного, ни небесного утешения, что, наконец, тот, кто хочет быть свободным, должен достигнуть этого сам, и что свобода никому не падает в руки, как чудесный дар. Как бы резко и страшно ни звучали эти слова: это есть голос того грядущего века, который действительно нуждается в искусстве и может найти в нем действительно удовлетворение, - это язык природы, возрожденной и в самом человечестве, это именно то, что я назвал выше истинным чувством в противоположность господствующему ныне лживому чувству.

Истинное удовлетворение и спасение дается только настоящей, а не извращенной природе, не лживому чувству. Извращенной природе, если только она осознает самое себя, остается лишь одно - стремление к небытию.

Природа, напротив, жаждет преображения силой любви. Первая хочет не быть, вторая быть иной. Кто понял это, пусть пересмотрит в душевной тишине несложные мотивы вагнеровского искусства и спросит себя, кто здесь преследует свои только что описанные нами цели - действительная природа или природа извращенная?

Отчаявшийся скиталец находит освобождение от своих мук в сострадательной любви женщины, предпочитающей умереть, чем быть ему неверной - мотив "Моряка-Скитальца". - Любящая женщина, отрекшись от личного счастья, путем небесного преображения атог в *caritas*, достигает святости и спасает душу возлюбленного - мотив "Тангейзера". - Самое дивное и высокое нисходит к людям с открытой душой, не позволяя спрашивать себя - откуда и когда роковой вопрос задан, с мучительной борьбой возвращается к своему высшему существованию - мотив "Лоэнгрина". - Любящая душа женщины, а с ней и народ, радостно принимают нового гения благодетеля, между тем как ревнители предания и обычая отвергают и поносят его мотив "Мейстерзингеров". - Двое любящих, не зная о своей взаимной любви и считая себя, напротив, глубоко уязвленными и оскорбленными, просят друг у друга смертельного напитка, как бы для искупления нанесенного оскорбления, но в действительности подчиняясь безотчетному стремлению: они в смерти хотят найти освобождение от возможной разлуки и всякого притворства. Уверенность в близкой смерти освобождает их души и приводит их к краткому, полному ужаса счастью, словно они действительно вырвались из уз дня, обманчивых грез и даже самой жизни мотив "Тристана и Изольды".

В "Кольце Нибелунгов" трагическим героем является бог, все существо которого жаждет власти; гоняясь за ней, на всех путях, он связывает себя договорами, теряет свою свободу, и на него падает проклятие, тяготеющее над властью. Он сознает свою неволю, когда видит, что у него нет более средств овладеть золотым кольцом, символом всей земной власти и вместе с тем высшей для него опасности, пока оно в руках его врагов. Им овладевает страх гибели и сумерек всех богов, а также отчаяние от сознания, что он может лишь идти навстречу этой гибели, но не предотвратить ее. Ему нужен свободный, бесстрашный человек, который восстал бы против божественного порядка и сам, без его совета и содействия, по собственной воле совершил запрещенный богу подвиг. Он не видит его, и именно тогда, когда у него пробудилась новая надежда, он должен подчиниться тяготеющему над ним року. Собственной рукой он должен погубить самое дорогое для него, самое чистое сострадание, к его несчастью, должно быть наказано. Им овладевает, наконец, отвращение к власти, таящей в своем лоне только зло и рабство, его воля сломлена, он сам жаждет конца, грозящего ему издали. И лишь теперь совершается то, чего он так страстно ждал, - появляется свободный, бесстрашный человек; его рождение нарушает все установленные законы. Его родители несут кару за союз, противный порядку природы и нравственности. Они погибают, но Зигфрид остается жить. При виде его чудного роста и расцвета отвращение покидает душу Вотана. С отеческой любовью и заботливостью он следит за судьбою героя. Как он кует себе меч, убивает дракона, добывает кольцо, избегает лукавого обмана, пробуждает Брунгильду, как проклятие, тяготеющее над кольцом, не щадит и его, все ближе и ближе надвигаясь на него, как он, оставаясь верным в неверности, из любви нанося раны любимому, окружается туманом и мраком преступлений, но наконец выходит

из туч чистый, как солнце, и склоняется к своему закату, зажигая все небо своим огненным сиянием и очищая мир от проклятия - все это видит бог, могучее копьё которого сломано в борьбе с свободнейшим; и бог, потерявший на нем свою власть, все же упоен своим поражением и полон сорадости и сочувствия к своему победителю. Его взор, сияя мучительным блаженством, покоится на последних событиях в жизни мира, он обрел свою свободу в любви, он освободился от самого себя.

И теперь спросите сами себя вы, поколения живущих в наше время людей: для вас ли это было создано? Хватит ли у вас мужества поднять руку к звездам этого небосклона, сияющего красотой и добром, и сказать: это нашу жизнь Вагнер вознес к звездам?

Кто из нас из собственной жизни уяснил себе божественный образ Вотана? Кто из вас возвышается по мере своего отречения, подобно Вотану? Кто из вас способен отрешиться от власти, сознавая и на опыте чувствуя проистекающее из нее зло? Где те, которые, подобно Брунгильде, приносят в жертву любви свое знание и все же, наконец, обретают в своей жизни наивысшее познание: "скорбной любви глубокая мука открыла мне очи". Где свободные и бесстрашные, вырастающие из себя и цветущие в самобытной невинности; где Зигфриды между вами?

Кто так спрашивает и тщетно спрашивает, должен обратить свой взор на будущее: и если он откроет где-нибудь вдали тот "народ", который вычитает в письменах Вагнера свою собственную историю, то он поймет и то, чем Вагнер будет для этого народа: именно тем, чем он не может быть для всех нас, - не пророком грядущего, каким он может казаться нам, но истолкователем, преображающим прошлое.

Несвоевременные размышления - 'Шопенгауэр как воспитатель'

Ницше Фридрих Вильгельм

Несвоевременные размышления - 'Шопенгауэр как воспитатель'

Фридрих Ницше

Несвоевременные размышления: "Шопенгауэр как воспитатель"

Friedrich Nietzsche

Это сочинение является третьим по счету в замысленной Ницше сразу по выходе в свет "Рождения трагедии" серии культуркритических эссе, объединенных общим названием "Несвоевременные размышления". Первоначальный замысел Ницше охватывает двадцать тем или, точнее, двадцать вариаций на единую культуркритическую тему. Со временем этот план то сокращался (до тринадцати), то увеличивался (до двадцати четырех).

Из замысленного ряда удалось осуществить лишь четыре очерка: "Давид Штраус, исповедник и писатель" (1873), "О пользе и вреде истории для жизни" (1874), "Шопенгауэр как воспитатель" (1874), "Рихард Вагнер в Байрейте" (1875-1876).

Произведение публикуется по изданию: Фридрих Ницше, сочинения в 3-х томах, том 2: "Странник и его тень", издательство "REFL-book", Москва, 1994.

1

Некий путешественник, повидавший много стран и народов и несколько частей света, будучи спрошен, какое свойство людей он находил повсюду, сказал: все они склонны к лени. Иному может показаться, что было бы правильнее и точнее сказать: все они боязливы. Они прячутся за обычаи и мнения. В сущности, каждый человек хорошо знает, что он живет на свете только один раз, что он есть нечто единственное, и что даже редчайший случай не сольет уже вторично столь дивно-пестрое многообразие в то единство, которое составляет его личность; он это знает, но скрывает, как нечистую совесть, - почему? Из страха перед соседом, который требует условности и сам прячется за нее. Но что же заставляет отдельного человека бояться соседа, мыслить и поступать стадно и не наслаждаться самим собой? Немногих и редких людей, быть может, - стыдливость. Но для огромного большинства это изнеженность, инертность, - словом, та склонность к лени, о которой говорил путешественник. Он прав: люди еще более ленивы, чем трусливы, и всего больше боятся именно трудностей, которые на них возложила бы безусловная честность и обнаженность. Одни лишь художники ненавидят это небрежное шеголяние в чужих манерах и надетых на себя мнениях и обнажают тайну, злую совесть каждого, - положение, что каждый человек есть однажды случающееся чудо; они осмеливаются показать нам человека, каков он есть, и он один, в каждом движении его мускулов; более того, что в этой строго последовательной своей единственности он прекрасен и достопримечателен, нов и невероятен, как всякое произведение природы, а отнюдь не скучен. Если великий мыслитель презирает людей, то он презирает их лень, ибо из-за нее они кажутся фабричным товаром, безразличными существами, недостойными общения и поучения. Человеку, который не хочет принадлежать к массе, достаточно только перестать быть инертным в отношении самого себя; пусть он следует голосу своей совести, который говорит ему: "Будь самим собою! Все, что ты теперь делаешь, думаешь и к чему стремишься, - это не ты сам".

Каждая юная душа слышит этот призыв днем и ночью и содрогается, ибо она чувствует предназначенную ей от века меру счастья, когда думает о своем подлинном освобождении, - того счастья, достигнуть которого никто не может ей помочь, пока она окована цепями предвзятых мнений и страха. И сколь безутешной и бессмысленной может стать жизнь без этого освобождения! Нет более пустынного и отвратительного создания в природе, чем человек, который сошел с пути своего гения и косится направо и налево, назад и во все стороны. В сущности, такого человека не стоит даже трогать, ибо он есть одна оболочка без ядра, сгнившее, раскрашенное, надутое платье, разряженное привидение, которое не может внушить даже страха, а тем более сострадания. И если о ленивом справедливо говорят, что он убивает время, то относительно эпохи, которая ищет своего спасения в общественных мнениях, т. е. в частной лени, нужно серьезно позаботиться, чтобы такое время действительно было убито: я хочу сказать, чтобы оно было вычеркнуто из истории истинного освобождения жизни. Как велико будет, вероятно, отвращение позднейших поколений при изучении наследия того периода, в котором господствовали не живые люди, а общественно мнящие подобия людей! Поэтому, быть может, какому-нибудь отдаленному потомству наша эпоха будет казаться самым темным и неизвестным, ибо самым нечеловеческим отделом истории. Я иду по новым улицам наших городов и думаю, как через столетие ничего не останется от всех этих гнусных домов, построенных поколением, которое имело общественные мнения, и как тогда будут, конечно, опрокинуты также и мнения этих домостроителей. Напротив, как много надежд могут питать все те, кто не чувствует себя гражданами этого времени; ибо будь они таковыми, они также служили бы тому, чтобы убить свое время и погибнуть вместе с ним, - тогда как они хотят, наоборот, пробудить время к жизни, чтобы самим продолжать жить в этой жизни.

Но если бы даже у нас не оставалось никакой надежды на будущее, - то наше странное существование именно в этом нынче побуждает нас сильнее всего жить по собственной мерке и собственному закону: та необъяснимость, что мы живем именно сегодня и все же имели бесконечное время для возникновения, что мы обладаем только отрезком сегодняшнего дня и должны в нем показать, почему и для чего мы возникли именно теперь. Мы должны дать самим себе отчет в нашем бытии; следовательно, мы хотим также стать подлинными кормчими этого бытия и не допустить, чтобы наше существование было равносильно бессмысленной случайности. В отношении жизни нужно допустить некоторое дерзновение и риск, тем более, что в худшем, как и в лучшем случае мы все равно ее потеряем. Для чего быть привязанным к этому клочку земли, к этому ремеслу, для чего прислушиваться к тому, что говорит сосед? Какой провинциализм - подчиняться воззрениям, которые за несколько сот миль от нас уже не обязательны! Восток и запад суть лишь черты, которые кто-то проводит мелом перед нашими глазами, чтобы обманно воспользоваться нашей боязливостью. Я хочу сделать попытку прийти к свободе, - говорит юная душа; и неужели этому должно помешать, что случайно две нации ненавидят одна другую и воюют между собой, или что между двумя частями света лежит море, или что всюду вокруг проповедуется религия, которая еще несколько тысячелетий тому назад совсем не существовала? Все это - не ты сам, говорит себе юная душа. Никто не может построить тебе мост, по которому именно ты можешь перейти через жизненный поток, - никто, кроме тебя самого. Правда, есть бесчисленные тропинки и мосты, есть полубоги, которые хотят перенести тебя через поток; но только ценой тебя самого: ты должен был бы отдать себя в залог, потерять самого себя. В мире есть единственный путь, по которому никто не может идти, кроме тебя; куда ведет он? не спрашивай - иди по нему! Кто это сказал: "Человек никогда не подымается выше, когда не знает, куда еще может его повести его путь"?

Но как мы обретаем себя снова? Как может человек знать себя? Он есть существо темное и сокровенное; и если у зайца есть семь кож, то человек может семижды семьдесят раз сдирать самого себя, и все же не сможет сказать: "вот это - подлинно ты, это уже не оболочка". К тому же такое раскапывание самого себя и насильственное нисхождение в глубины своего существа по ближайшему пути есть мучительное и опасное начинание. Как легко человек может при этом так повредить себе, что уж никакой врач его не исцелит! И кроме того: к чему все это нужно, когда все свидетельствует о нашем существе: наша дружба и наша вражда, наш взгляд и наше рукопожатие, наша память и все, о чем мы забываем, наши книги и черты нашего пера? Но самое лучшее средство допроса состоит в следующем. Пусть юная душа обратит свой взор на прошлую жизнь с вопросом: что ты подлинно любила доселе, что влекло твою душу, что владело ею и вместе давало ей счастье? Поставь перед собою ряд этих почитаемых предметов, и, быть может, своим существом и своею последовательностью они покажут тебе закон - основной закон твоего собственного я. Сравни эти предметы, посмотри, как каждый из них дополняет другой, расширяет, превосходит, просветляет его, как они образуют лестницу, по которой ты до сих пор карабкался к себе самому; ибо твоя истинная сущность лежит не глубоко скрытой в тебе, а неизмеримо высоко над тобою или по крайней мере над тем, что ты обычно принимаешь за свое я. Твои истинные воспитатели и руководители выдают тебе, что есть подлинный смысл и первичная основа твоего существа: нечто, не поддающееся никакому воспитанию и руководству, и во всяком случае нечто трудно открываемое, связанное, парализованное; твои воспитатели могут быть только твоими освободителями. И в этом - тайна всякого образования: оно не дает нам искусственных членов, восковых носов, вооруженных очками глаз; напротив, то, что способно было бы приносить такие дары, есть лишь карикатура на воспитание. Воспитание же есть освобождение, отметение всех сорных трав, мусора и червей, которые хотят прикоснуться к нежным зародышам растений, распространение света и тепла, любовное орошение ночным дождем; он есть подражание природе и поклонение ей, где она настроена матерински-милосердно; оно есть завершение природы, поскольку

оно предупреждает ее жестокие и немилосердные приступы и обращает их ко благу, и поскольку оно набрасывает покрывало на проявление злобы и печального неразумия природы-мачехи.

Конечно, есть и другие средства найти себя, - прийти в себя из того оглушения, в котором обычно живешь, точно в темной туче; но я не знаю лучшего средства, чем оглянуться на своих воспитателей и руководителей. И я хочу помянуть сегодня одного наставника и дрессировщика, которым я могу похвалиться, - Артура Шопенгауэра - чтобы позднее помянуть и других.

2

Для того, чтобы описать, каким событием был для меня первый взор, брошенный на произведения Шопенгауэра, я должен остановиться немного на одном представлении, которое в моей юности посещало меня столь часто и настойчиво, как вряд ли какое-либо другое. Когда я прежде предавался свободно мечтам и желаниям, то я надеялся, что судьба избавит меня от страшного усилия и обязательства воспитывать самого себя; что я вовремя найду, в качестве воспитателя, философа, настоящего философа, которому можно было бы подчиниться без дальнейших размышлений и доверять больше, чем самому себе. И тогда я спрашивал себя: каковы были бы те принципы, по которым он бы меня воспитывал? И я соображал, что он сказал бы о двух правилах воспитания, которые господствуют в наше время. Одно из них требует, чтобы наставник быстро распознал своеобразную способность своих воспитанников и затем направлял именно сюда все силы, соки и весь солнечный свет, чтобы содействовать правильному созреванию и плодотворности одной этой добродетели. Другое правило, напротив, требует, чтобы воспитатель использовал все наличные силы, взращивал их и приводил в гармоническое соотношение между собой. Но нужно ли поэтому принуждать, например, к музыке того, кто имеет решительное влечение к ювелирному искусству? Нужно ли признать правым отца Бенвенуто Челлини, который постоянно принуждал своего сына к "милому рожку", т. е. к тому, что сын называл "проклятой дудкой?" В отношении столь сильных и ясно выраженных дарований это, вероятно, будет признано неправильным; и, таким образом, принцип гармонического развития, быть может, применим только к более слабым натурам, которые, правда, содержат целое гнездо потребностей и склонностей, не имеющих, однако, - все в совокупности и каждая в отдельности, - особенно большого значения? Но где вообще мы находим гармоническую целостность и многоголосную созвучность в одной натуре, где такая гармония поражает нас более, чем именно в людях, подобных Челлини, в которых все - познание и вождение, любовь и ненависть - стремится к одному средоточию, к одной коренной силе, и в которых именно принудительный и властный перевес этого живого центра создает гармоническую систему разносторонних движений? Итак, быть может, оба эти принципа не противоречат один другому? Быть может, один из них утверждает лишь, что человек должен иметь центр, а другой, - что он должен иметь также и периферию? Тот философ-воспитатель, о котором я мечтал, вероятно, не только нашел бы центральную силу, но сумел бы также предупредить ее разрушительное влияние на другие силы; например, задача его воспитания, как мне казалось, сводилась бы к тому, чтобы преобразовать всего человека в живую и подвижную солнечно-планетную систему и открыть закон ее высшей механики.

Однако такого философа у меня не было, и я пытал себя в разных направлениях; я увидел, насколько жалкими представляемся мы, современные люди, по сравнению с греками и римлянами, даже в отношении серьезного и строгого понимания задач воспитания. С такой потребностью в сердце можно проблуждать по всей Германии, и в особенности по всем университетам, и не найти того, чего ищешь: ведь даже гораздо более низкие и простые желания остаются здесь неудовлетворенными. Если бы, например, кто-нибудь из немцев захотел получить серьезное ораторское образование или пройти школу писателя, то он нигде не нашел бы руководителя и школы; у нас, по-видимому, никто даже не думал, что речь и письмо суть искусства, которые не могут быть приобретены без заботливого руководства и усерднейшего обучения. Ничто, однако, не обнаруживает высокомерного самодовольства наших современников так отчетливо и вместе с тем так постыдно, как частью скряжеская, частью безмысленная скудость тех запросов, которые они предъявляют к воспитателям и учителям. Каким ничтожеством удовлетворяются даже наши наиболее знатные и наиболее осведомленные люди под названием домашних учителей; какая кунсткамера бестолковых голов и устарелых учреждений получает одобрение под высоким названием гимназий; что только ни удовлетворяет нас в качестве высшего образовательного учреждения - университета - какие вожжи и какие организации, по сравнению с трудностью задачи воспитывать человека в человеке. Даже столь превосходный способ отношения немецких ученых к своей науке показывает прежде всего, что они думают при этом больше о науке, чем о человечности, что их учат, как потерянный отряд, жертвовать собою, чтобы привлекать новые поколения к тому же жертвоприношению. Общение с наукою, когда оно не руководится и не ограничивается никаким высшим правилом воспитания, а только все более разнуздывается, на основании принципа "чем больше, тем лучше", несомненно столь же вредно для ученых, как и экономический принцип *laissez faire* - для нравственности целых народов. Кто еще знает, что воспитать ученого, не пожертвовав его человечностью и не иссушив ее, есть в высшей степени трудная проблема? И все же эту трудность можно видеть воочию, если обратить внимание на многочисленные экземпляры, которые, безмысленно и слишком рано отдав себя науке, выросли кривыми и однобокими. Но существует еще более важный признак отсутствия всякого высшего воспитания, - более важный, более опасный и прежде всего более всеобщий. Если непосредственно ясно, почему теперь нельзя воспитать оратора или писателя, - именно потому, что для них нет воспитателей; если почти столь же ясно, почему ученый должен выходить теперь искаженным и односторонним,

- потому что его воспитывает наука, т. е. нечеловеческая абстракция, - то спросить себя наконец: где, собственно, мы найдем для нас всех, ученых и неученых, знатных и простых, наши нравственные образцы и знаменитости среди наших современников, - видимое воплощение всей творческой морали нашего времени? Куда, собственно, делось всякое размышление о нравственных вопросах, которое ведь во все времена занимало каждое благородное общество? Таких знаменитостей более нет, и нет такого рода размышления; фактически мы живем унаследованным капиталом нравственности, который накопили наши предки и который мы умеем не умножать, а только расточать; о таких вещах в нашем обществе или вообще не говорят, или говорят с такой первобытной неумелостью и неопытностью, которая не может не вызывать негодования. Этим и объясняется, что наши школы и наставники просто игнорируют нравственное воспитание или ограничиваются формальностями; и добродетель есть слово, при котором учитель и ученик не мыслят уже ничего старомодное слово, при котором улыбаются, и худо, если не улыбаются, - ибо тогда лицемерят.

Найти объяснение этой дряблости и низкого уровня всех духовных сил трудно и сложно; но кто учтет влияние побеждающего христианства на нравственность нашего старого мира, тот не упустит из виду также и обратного влияния современного христианства, т. е. его все более вероятной судьбы в наше время. Христианство настолько превзошло высотой своего идеала античные моральные системы и повсеместно господствующую в них естественность, что у нас притупилось чувство к этой естественности и появилось отвращение к ней; затем, однако, когда лучшее и высшее хотя и было еще известно, но уже перестало быть достижимым, мы уже не могли вернуться, несмотря на все желание, к хорошему и высокому, т. е. к античной добродетели. В этом шатании между христианским и античным началами, между оробевшей или лживой нравственностью и столь же трусливым и несвободным стремлением к античности живет современный человек и чувствует себя при этом плохо; унаследованная боязнь естественного и, с другой стороны, возродившаяся привлекательность этой естественности, жажда найти где-нибудь опору, бессилие сознания, которое постоянно колеблется между хорошим и лучшим, - все это создает беспокойство и смутность в современной душе, осуждающее ее на бесплодное и безрадостное бытие. Никогда нравственные воспитатели не были так нужны, как теперь, и никогда не было так маловероятно найти их; в эпохи, когда врачи нужнее всего, - при больших эпидемиях - они сами всегда подвергаются наибольшей опасности. Ибо где же врачи современного человечества, которые сами стояли бы так прочно и здорово на своих ногах, чтобы быть в состоянии еще поддерживать и вести других? На лучших личностях нашего времени лежит какая-то темнота и придавленность, вечное недовольство борьбой между лицемерием и честностью, которая разыгрывается в их груди, беспокойное недоверие к самим себе, - и все это делает их совершенно неспособными быть вожаками и воспитателями других.

Итак, я предавался действительно фантастическим надеждам, когда мечтал найти, в качестве воспитателя, истинного философа, который освободил бы меня от несовершенства моего времени и снова научил быть простым и честным в мышлении и жизни, т. е. быть несвоевременным в глубочайшем смысле этого слова; ибо люди стали теперь столь многосторонними и сложными, что они должны становиться нечестными, если хотят вообще говорить, утверждать что-либо и поступать согласно своим утверждениям.

Одержимый такими нуждами, потребностями и желаниями, я познакомился с Шопенгауэром.

Я принадлежу к тем читателям Шопенгауэра, которые, прочитав одну его страницу, вполне уверены, что они прочитают все, написанное им, и будут слушать каждое сказанное им слово. У меня сразу появилось доверие к нему, и это доверие теперь таково же, каким было девять лет тому назад. Выражаясь нескромно и нелепо, но вразумительно, я скажу: я понял его, как будто он писал для меня. Поэтому я не нашел в нем ни одного парадокса, хотя кое-где находил мелкие ошибки; ибо что такое парадоксы, как не утверждения, не внушающие доверия, потому что сам автор создал их без надлежащего доверия, потому что он хотел в них блистать, соблазнять и вообще казаться чем-нибудь? Шопенгауэр никогда не хочет казаться: он пишет для себя, а никто не хочет быть обманутым, и тем более философ, который ставит себе закон: не обманывая никого, и даже самого себя! Он не пользуется даже тем любезным общественным обманом, который влечет за собою почти бессознательно; еще менее пользуется он более сознательным обманом с ораторской трибуны и искусственными средствами риторики. Нет, Шопенгауэр говорит с самим собою; или, если непременно нужно думать о слушателе, то можно представить себе сына, которого поучает отец. Это - честная, грубоватая, добродушная беседа с любовно внимающим слушателем. Таких писателей нам недостает. Могучее самочувствие говорящего овладевает нами с первых звуков его голоса; мы как будто входим в горный лес, мы дышим глубоко, и снова, наконец, чувствуем себя хорошо. Здесь мы ощущаем всюду одинаковую укрепляющую атмосферу; здесь есть какая-то неподражаемая свобода и естественность, как бывает у людей, которые сознают себя господами своего внутреннего дома и притом весьма богатого дома; в противоположность писателям, которые сами больше всего удивляются тому, что они случайно оказались умными, и стиль которых приобретает в силу этого какой-то беспокойный и неестественный характер. Столь же мало речь Шопенгауэра напоминает нам речь ученого, у которого от природы негибкие и неумелые члены и узкая грудь и который выступает поэтому угловато, неуклюже и напыщенно; тогда как, с другой стороны, неотесанная и немного медвежья душа Шопенгауэра учит нас не столько искать изящества и светской прелести хороших французских писателей, сколько пренебрегать этими качествами, и никто не найдет у него того поддельного, как бы посеребренного мнимо-французского стиля, к которому так стремятся немецкие писатели. Речь Шопенгауэра изредка напоминает мне немного речь

Гете, в общем же для нее нет немецких образов. Ибо он умеет говорить глубокомысленные вещи просто, захватывающие - без риторики, строго-научные - без педантизма; у какого же немца он мог научиться этому? Он свободен также от утонченной, чрезмерно подвижной и - с позволения сказать - несколько не немецкой манеры Лессинга: и это - большая заслуга, так как в отношении прозаического изложения Лессинг - самый соблазнительный писатель среди немцев. И - чтобы сразу сказать высшее, что я могу вообще сказать о его стиле, - я отношу к нему положение: "Философ должен быть очень честным, чтобы не пользоваться никакими поэтическими или риторическими вспомогательными средствами". Что честность есть нечто положительное, и даже добродетель, - это, правда, принадлежит в эпоху общественных мнений к запрещенным частным мнениям; и поэтому будет не похвалой, а только характеристикой Шопенгауэра, если я повторю: он честен и как писатель; а ведь честных писателей так мало, что собственно нужно быть недоверчивым ко всем людям, которые пишут. Я знаю только еще одного писателя, которого в отношении честности я ставлю рядом с Шопенгауэром, и даже выше его: это - Монтень. Что такой человек вообще писал, - это, поистине, увеличивает охоту жить на этой земле. Мне, по крайней мере со времени знакомства с этой свободнейшей и могучей душой, хочется сказать о Монтене то, что он сам говорит о Плутархе: "едва я взглянул на него, как у меня выросла лишняя нога или крыло". С ним был бы я заодно, если бы дело шло о том, чтобы устроиться поуютнее на земле.

Шопенгауэр имеет еще другое качество, общее с Монтенем, помимо честности: веселость, которая действительно веселит. *Aliis laetus, sibi sapiens*. Есть два весьма различных рода веселости. Истинный мыслитель веселит и утешает всегда, высказывает ли он свою серьезную мысль или свою шутку, свое человеческое познание или свою божественную благость; он говорит без жалобных жестов, дрожащих рук, слезливых глаз, всегда уверенно и просто, бодро и сильно, быть может немного по-рыцарски и сурово, но всегда как победитель; и именно это доставляет нам самое глубокое и полное веселье видеть побеждающего бога рядом со всеми чудовищами, которых он поборол. Напротив, веселость, которую встречаешь порою у посредственных писателей и у ограниченных мыслителей, делает нашего брата несчастным, как я это, например, испытывал при чтении Давида Штрауса. Чувствуешь настоящий стыд иметь таких веселых современников, потому что они обличают перед потомством наше время и нас, его участников. Подобные весельчаки совсем не видят страданий и чудовищ, хотя они выдают себя за мыслителей, способных знать и побеждать их; их веселость возбуждает досаду, потому что она обманывает: она хочет уверить нас, что здесь завоевана победа. Ведь, в сущности, веселье есть только там, где есть победа: и это применимо к произведениям истинных мыслителей в такой же мере, как ко всякому художественному произведению. Пусть тема будет всегда столь ужасна и серьезна, сколь ужасна и серьезна на самом деле проблема жизни; подавляющим и мучительным образом произведение будет действовать на нас только, когда полумыслитель и полухудожник распространит вокруг него чад своего бессилия; тогда как человек не может пережить ничего лучшего и более радостного, чем близость к одному из тех победителей, которые, познав глубочайшее, должны полюбить самую основу жизни, и, будучи мудрецами, в конце пути приходят к красоте. Они действительно говорят, а не заикаются и не болтают вслед за другими; они действительно движутся и живут, и не в тех жутких масках, в которых обыкновенно живут люди. Поэтому в их присутствии мы действительно чувствуем себя человечно и естественно и готовы воскликнуть вместе с Гете: "Какая роскошная, драгоценная вещь - живое! Как приноровлено оно к своему состоянию, как истинно, как реально!"

Я изображаю здесь только первое, как бы физиологическое впечатление, которое произвел на меня Шопенгауэр. то волшебное излияние сокровеннейшей силы одного творения природы на другое, которое совершается при первом и самом слабом прикосновении; и когда я задним числом анализирую это впечатление, я нахожу в нем соединение трех элементов: впечатления его честности, его веселости и его постоянства. Он честен, потому что говорит и пишет с самим собой и для себя самого, он весел, потому что мыслью одолел тягчайшее, и постоянен, потому что должен быть таковым. Его сила, подобно пламени при затишье, поднимается легко и прямо вверх, без колебаний, без дрожи, без волнения. При всех обстоятельствах он находит свой путь, так что мы даже не замечаем, что он искал его; он подвигается так быстро и уверенно, так неизбежно, как будто повинуется закону тяготения. И кто раз почувствовал, что значит среди нашего современного гибридного человечества найти однажды настоящее, определенно выраженное, стоящее и движущееся на собственных ногах, нестесненное и невзнузданное естественное существо, тот поймет мое счастье и мое изумление, когда я нашел Шопенгауэра. Я почувствовал, что нашел в нем того воспитателя и философа, которого я так долго искал. Правда, я его встретил лишь в книге; и это было большим недостатком. Тем более силился я смотреть сквозь книгу и представить себе живого человека, великое завещание которого я читал и который обещал сделать своими наследниками лишь тех, кто захотят и смогут быть не просто его читателями, но его сыновьями и питомцами.

3

Для меня философ имеет значение ровно настолько, насколько он может давать пример. Что своим примером он может увлечь за собою целые народы, - в этом нет сомнения; это показывает история Индии, которая почти тождественна с историей индийской философии. Но он должен давать пример своей видимой жизнью, а не только книгами, т. е. так, как учили философы Греции: выражением лица, осанкой, одеждой, едой, привычками более, чем речью, и тем паче писаниями. А как много недостает нам в Германии для этой мужественной явственности философской жизни; здесь лишь постепенно освобождаются тела, когда души, по-видимому, уже

давно освобождены; и все же дух не может быть истинно свободным и независимым, когда эта достигнутая независимость которая в своей основе есть творческое самоограничение - не доказывается сызнова каждым взглядом и шагом с утра до вечера. Кант был верен университету, подчинялся правительствам, сохранял видимость религиозной веры, выносил своих коллег и студентов; естественно поэтому, что его пример породил прежде всего университетских профессоров и профессорскую философию. Шопенгауэр мало стесняется с ученой кастой, обособляется, достигает независимости от государства и общества, - вот его пример, его образец, чтобы отметить здесь лишь наиболее внешнюю сторону. Но много степеней в освобождении философской жизни еще неизвестны нам, немцам, хотя и не могут навсегда остаться неизвестными. Наши художники живут смелее и честнее; и самый сильный пример, стоящий перед нами - пример Рихарда Вагнера показывает, что гений не должен бояться вступать в самое враждебное противоречие с существующими формами и порядками, когда хочет вознести к свету высший порядок и истину, которые живут в нем. Правда, та "истина", о которой так много говорят наши профессора, есть, по-видимому, менее притязательное существо, не грозящее никаким беспорядком или непорядком: удобное и добродушное создание, которое непрерывно уверяет все существующие власти, что оно никому не хочет причинять никаких хлопот - ведь оно есть лишь "чистая наука". Итак, я хотел сказать, что немецкая философия должна все более разучаться быть "чистой наукой"; и таков именно пример Шопенгауэра-человека.

Но что он дорос до этого человеческого примера, есть положительное чудо, ибо извне и изнутри ему угрожали чудовищные опасности, которые могли бы раздавить или раздробить всякое более слабое существо. Было, мне кажется, много данных к тому, чтобы Шопенгауэр-человек погиб, оставив после себя в лучшем случае "чистую науку"; но и то лишь - в лучшем случае, вероятнее всего не осталось бы ни человека, ни науки.

Один новый английский писатель так изображает самую основную опасность для необычайных людей, живущих среди общества, привязанного к обыденщине: "такие чужеродные характеры сначала тягостятся, затем впадают в меланхолию, затем заболевают и наконец умирают. Человек вроде Шелли не мог бы жить в Англии, и раса Шелли была бы невозможна". Наши Гельдерлины и Клейсты и им подобные погибали от этой своей необычайности и не выдерживали климата так называемой немецкой культуры; и только железные натуры, как Бетховен, Гете, Шопенгауэр и Вагнер, могут устоять в нем. Но и у них действие утомительной борьбы и судорог сказывается на многих чертах и морщинах: они дышат тяжелее, и в их тоне часто есть что-то слишком насильственное. Один опытный дипломат, лишь мельком видевший Гете и говоривший с ним, сказал своим друзьям: *Voilà un homme, qui a eu de grands chagrins!* - что Гете перевел так: "Он тоже из тех, кому пришлось солоно!" "Если, - прибавляет Гете, - в чертах нашего лица не стираются следы перенесенных страданий и выполненных трудов, то не удивительно, что все, что остается от нас и наших стремлений, носит те же следы". И это - Гете, на которого наши культурные филистеры указывают как на счастливейшего немца, чтобы этим доказать положение, что все-таки возможно стать счастливым среди них; при этом у них есть задняя мысль: нельзя простить никому, кто чувствует себя среди них несчастным и одиноким. Поэтому они даже выставили и практически поясняли с большой жестокостью утверждение, что во всяком уединении лежит тайная вина. Бедный Шопенгауэр тоже имел на душе такую вину, - а именно, он ценил свою философию больше, чем своих современников; и притом, к своему несчастью, он знал именно от Гете, что для спасения своей философии он должен всеми средствами защищать ее против невнимания своих современников, ибо существует род инквизиционной цензуры, в которой немцы, по свидетельству Гете, пошли далеко; эта цензура есть ненарушимое молчание. Оно достигло уже по меньшей мере того, что значительная часть первого издания главного произведения Шопенгауэра стала макулатурой. Грозная опасность, что его великое деяние будет уничтожено просто его игнорированием, привела Шопенгауэра в ужасное и трудно укротимое беспокойство; у него не оказывалось ни одного более или менее значительного приверженца. Нам печально видеть, как он гонится за малейшими следами своей известности; и его заключительный громкий, чрезмерно громкий триумф о том, что его наконец действительно читают ("*legor et legar*"), производит какое-то болезненно-трогательное впечатление. Именно все те черты, которые не свидетельствуют о достоинстве философа, обнаруживают страдающего человека, который трепещет за судьбу своих ценнейших благ; так, его мучило беспокойство потерять свое маленькое состояние и, быть может, оказаться не в силах удержать свое чистое, истинно античное отношение к философии; так, в своей жажде по вполне доверчивым и сострадательным людям, он попадал впросак и должен был постоянно снова с грустным взором возвращаться к своей верной собаке. Он был совершенным отшельником; ни один подлинно единомыслящий друг не утешал его, - а между одним и ни одним здесь, как и всюду между чем-либо и ничем, лежит бесконечность. Никто, имеющий истинных друзей, не знает, что такое есть подлинное одиночество, хотя бы он имел своим противником весь мир вокруг себя. - Ах, - я замечаю, - вы не знаете, что такое одиночество. Где существовали могущественные общества, правительства, религии, общественные мнения, - словом, где была какого-либо рода тирания, там она ненавидела одинокого философа, ибо философия открывает человеку убежище, куда не может проникнуть никакая тирания, пещеру внутренней жизни, лабиринт сердца; и это досадно тиранам. Туда скрываются одинокие; но там же таится и величайшая опасность для одиноких. Эти люди, укрывшие свою свободу во внутренний элемент, должны иметь и внешнюю жизнь, быть видимыми, показывать себя; в силу рождения, местопребывания, воспитания, отечества, случайностей, а также назойливости других людей, они связаны бесчисленными человеческими отношениями;

точно так же им приписываются бесчисленные мнения, просто потому, что это - господствующие мнения; каждый их жест, не выражающий отрицания, признается согласием; каждое движение руки, которое не разрушает, толкуется как одобрение. Они знают, эти одинокие и свободные духом, что они всегда в чем-либо кажутся не тем, что они суть по своим мыслям; тогда как они стремятся только к истине и честности, вокруг них завязывается сеть недоразумений; и их страстное вождение правды не может предупредить, чтобы на их действиях не остался лежать чад ложных мнений, приспособления, полупризнаний, шадящего умалчивания, ошибочных толкований. Это собирает облако меланхолии на их челе; ибо необходимость казаться не тем, что есть, такие натуры ненавидят больше смерти; и продолжительное озлобление делает их вулканическими и угрожающими. От времени до времени они мстят за свое насильственное самоскрывание, за свою вынужденную сдержанность. Они выходят из своей пещеры со страшным выражением лица; их слова и действия суть тогда взрывы, и случается, что они сами от этого погибают. Так опасно жил Шопенгауэр. Именно такие одинокие люди нуждаются в любви, ищут товарищей, перед которыми они могут быть открытыми и простыми, как перед самими собою, в присутствии которых прекращаются судороги молчания и позы. Отнимите этих товарищей, и вы создадите еще большую опасность; Генрих Клейст погиб из-за этой заброшенности, и самое опасное противоядие против необычных людей - это вогнать их так глубоко в самих себя, что их обратное движение к жизни становится всегда вулканическим взрывом. Но встречаются полубоги, которые умеют жить при таких ужасных условиях и даже жить победоносно; и если вы хотите услышать их одинокие песни, - слушайте музыку Бетховена.

Такова была первая опасность, в тени которой вырос Шопенгауэр: одиночество. Вторая же называется: отчаяние в истине. Эта опасность сопровождает каждого мыслителя, путь которого исходит от кантовской философии, если только он сильный и цельный человек в своих страданиях и желаниях, а не дребезжащая мыслительно-счетная машина. Мы, конечно, все хорошо знаем, что именно относительно этого условия дело обстоит весьма постыдно; мне кажется даже, что лишь на очень немногих людей Кант вообще оказал живое влияние и преобразовал их кровь и соки. Правда, мы всюду можем прочесть, что деяние этого тихого ученого вызвало революцию во всех областях духовной жизни; но я не могу поверить этому, потому что я не вижу этого на людях, которые должны были бы прежде всего революционизироваться сами, чтобы революция могла захватить целые области. Но как скоро Кант начнет оказывать действительное влияние на массы, оно скажется в форме разъедающего и раздробляющего скептицизма и релятивизма; и лишь у самых деятельных и благородных умов, которые никогда не выдерживали состояния сомнения, его место заступило бы то духовное потрясение и отчаяние во всякой истине, какое пережил, например, Генрих Клейст под влиянием философии Канта. "Недавно пишет он как-то в своем захватывающем стиле - я ознакомился с философией Канта, и должен теперь сообщить тебе одну мысль из нее; ведь мне не нужно бояться, что она потрясет тебя так же глубоко, так же болезненно, как и меня. Мы не можем решить, есть ли то, что мы зовем истиной, подлинная истина, или это только так нам кажется. Если верно последнее, то истина, которую мы здесь собираем, после нашей смерти не существует более, и все наше стремление приобрести достояние, которое следовало бы за нами в могилу, тщетно. Если острие этой мысли не затронет твоего сердца, то улыбнись над другим человеком, который чувствует себя глубоко пораненным в своем интимнейшем святилище. Моя единственная, моя высшая цель пала, и у меня нет другой". Когда же люди будут снова ощущать так естественно, как Клейст, когда же они научатся снова измерять смысл философии по действию на свое "интимнейшее святилище"? И все же это необходимо, чтобы оценить, чем может быть для нас после Канта Шопенгауэр - именно вождем, который ведет нас с высот скептического недовольства или критического отречения на высоты трагического жизнепонимания; под бесконечным ночным небом с его звездами, и который сам впервые проложил себе этот путь. Его величие в том, что он стоит перед картиной мира, как перед целым, и толкует ее как нечто целое; тогда как даже самые острые головы не могут освободиться от заблуждения, будто к истолкованию жизни можно приблизиться путем тщательного исследования отдельных красок, которыми написана картина, и материала, на котором она написана; причем результатом исследования может явиться вывод, что это весьма тонко вытканное полотно, и что наложенные на него краски химически неопределимы. Шопенгауэр же знал: для того, чтобы понять картину, нужно разгадать ее художника. Однако весь цех наук занят постижением только полотна и красок, а не самой картины; можно даже сказать, что лишь тот, кто твердо сосредоточил внимание на общей картине жизни и бытия, может, не вредя себе, пользоваться отдельными науками; ибо вне такого руководящего общего представления они только - отдельные нити, которые нигде не ведут до конца и лишь запутывают и усложняют наш жизненный ход. Повторяю, Шопенгауэр велик тем, что преследует эту картину, как Гамлет - духа, не уклоняясь в сторону, как делают ученые, и не удовлетворяясь логической схоластикой, что бывает уделом необузданных диалектиков. Изучение всех четверть-философов нужно лишь для того, чтобы понять, что последние попадают сразу в те места в строении великих философий, в которых возможны ученые за и против, - хитроумные размышления, сомнения, противоречия, - и что этим они уклоняются от требования всякой великой философии, которая, как целое, всегда говорит лишь одно: вот картина всей жизни, и из нее научись понимать смысл твоей жизни. И наоборот: читай лишь свою жизнь, и из нее понимай иероглифы жизни в целом. И так нужно прежде всего толковать и философию Шопенгауэра: индивидуально, исходя от отдельной личности самой по себе, познавая собственную нужду и потребность, собственную ограниченность, чтобы найти средства и

утешение против них - именно самопожертвование, подчинение себя благороднейшим целям, и прежде всего целям справедливости и милосердия. Он учит нас различать между действительными и мнимыми средствами к человеческому счастью; он показывает, что ни богатство, ни почет, ни ученость не могут вывести личность из ее глубокого недовольства ничтожеством ее бытия, что стремление к этим благам приобретает лишь смысл в соединении с высокой и озаряющей общей целью - с влечением к могуществу, способному помочь нашей Physis и немного исправить ее неразумность и неловкость. Этого ищешь прежде всего тоже только для самого себя; через себя же, в конечном счете, для всех. Правда, это есть стремление, которое приводит к глубокому и сердечному смирению, ибо много ли может быть вообще исправлено в отдельной личности и во всей жизни!

Если мы применим эти слова к Шопенгауэру, то мы коснемся третьей и своеобразнейшей опасности, в которой он жил и которая таилась во всем строении и скелете его существа. Каждый человек находит обыкновенно в себе пределы как своему дарованию, так и своей нравственной воле, и это наполняет его тоской и меланхолией; и если чувство своей греховности влечет его к святости, то в качестве интеллектуального существа он несет в себе глубокое стремление к своему собственному гению. В этом - корень всякой истинной культуры, и если под последней я буду разумею влечение человека возродиться в образе святого и гения, то я знаю, что не нужно быть буддистом, чтобы понять этот миф. Где мы встречаем дарование без этого влечения, - в кругу ученых, а также среди так называемых культурных людей, - там оно внушает нам досаду и отвращение; ибо мы чуем, что такие люди, при всем своем духовном богатстве не содействуют, а препятствуют росту новой культуры и созиданию гения, т. е. цели всякой культуры. Это есть состояние окаменения, равноценное той привычной, холодной и самодовольной добродетельности, которая также более всего далека от истинной святости и чуждается ее. В этом отношении в натуре Шопенгауэра лежала странная и крайне опасная двойственность. Лишь немногие мыслители ощущали в такой мере и с такой несравненной определенностью, что в них живет гений; и его гений обещал ему высшее - что не будет более глубокой борозды, чем та, которую проводит его плуг по почве нового человечества. Таким образом он сознавал одну половину своего существа насыщенной и удовлетворенной, лишенной желаний и полной уверенности в своей силе, и с величием и достоинством нес свое призвание победоносно-законченного гения. В другой половине его существа жило неукротимое томление; мы узнаем его, когда слышим, что он с болью отвращал свой взор от изображения великого основателя la Tzarre, Рансэ, говоря: "Это - дело благодати". Ибо гений сильнее других стремится к святости, так как со своей вершины он видит дальше и яснее, чем другой человек, - видит глубину примирения между познанием и бытием, царство мира и побежденной воли, очертания другого берега, о котором говорят индусы. Но в этом-то и состоит чудо: сколь непостижимо-цельной и неразрушимой должна была быть натура Шопенгауэра, если и эта тоска не могла разрушить и даже ожесточить ее! Что это означает, - это каждый поймет в меру того, что и сколько есть он сам; целиком же и во всей силе этого не поймет никто из нас.

Чем больше размышляешь об описанных трех опасностях, тем загадочнее представляется бодрость, с которой Шопенгауэр боролся против них, и здоровье и крепость, которые он вынес из этой борьбы. Правда, он вышел из нее с многими шрамами и открытыми ранами и в настроении, которое, быть может, покажется чересчур жестким, и подчас и слишком воинственным. Даже над величайшим человеком возвышается его собственный идеал. Но что Шопенгауэр может служить образцом, - это несомненно, несмотря на все эти шрамы и пятна. Я готов даже сказать: то, что в его существе было несовершенным и слишком человеческим, именно в самом человеческом смысле сближает нас с ним, ибо мы видим в нем страждущего и нашего товарища по страданиям, а не только недоступно-высокого гения.

Те три органические опасности, которые угрожали Шопенгауэру, угрожают нам всем. Каждый из нас несет в себе, как ядро своего существа, некую творческую единственность: и когда он осознает эту единственность, вокруг него появляется своеобразный ореол - ореол необычного. Для большинства это есть нечто невыносимое, - ибо, повторяю, они ленивы, а с этой единственностью связана цепь усилий и тягот. Нет сомнения, что для необычного человека, который отягощает себя этой цепью, жизнь теряет почти все, чего от нее ждешь в юности: веселье, устойчивость, легкость, почет. Судьба одиночества - вот дар, который ему подносят его ближние; пустыня и пещера всегда готовы, - он может жить, как хочет. Пусть он остерегается дать себя поработить, стать подавленным и меланхоличным, и потому пусть он окружит себя образами славных и смелых борцов, одним из которых был сам Шопенгауэр. Но и вторая опасность, угрожавшая Шопенгауэру, не совсем редка. Иногда человек от природы вооружен острым взором, и его мысли охотно вступают на диалектическую тропу; если он отпустит повод своему дарованию, - как легко может он погибнуть духовно, чтобы вести лишь полупризрачное существование в "чистой науке"; или, привыкнув отыскивать в вещах за и против, как легко может он отчаяться в самой истине и жить без бодрости и доверия, отрицая, сомневаясь, критикуя в недовольстве, в полунадежде, в ожидании последнего разочарования - *es mochte kein Hund so langen leben!* Третья опасность есть ожесточение в нравственном и в интеллектуальном отношении: человек разрывает нить, которая его связывала с его идеалом; он перестает быть плодотворным в той или иной области, перестает созидать себе подобное и в отношении культуры становится вредным или бесполезным. Единственность его существа становится неделимым и необнаружимым атомом, холодной окаменелостью. И, таким образом, человека может погубить его единственность, как и боязнь этой единственности, его собственное я, как и отказ от него, полнота влечений и ожесточение; и жить значит вообще находиться в опасности.

Кроме этих опасностей, которым Шопенгауэр был бы подвержен в силу всей своей организации, - все равно, в какое бы время он ни жил, - есть еще иные опасности, которые исходили из его времени; и это различие между органическими опасностями и опасностями времени существенно для выяснения того, что есть образцового и воспитательного в натуре Шопенгауэра. Представим себе философа со взором, устремленным на бытие; он хочет вновь определить его ценность. Ибо своеобразная работа всех великих мыслителей состояла в том, чтобы быть законодателями для меры, ценности и веса вещей. Какой помехой будет для него то, что человечество, которое он видит перед собой, именно в его время есть дряблый, изъеденный червями плод. Как много должен он добавлять к ничтожной ценности своего времени, чтобы быть справедливым к бытию вообще. Если изучение истории прошлых или чужих народов ценно, то больше всего для философа, который должен произнести справедливый приговор о человеческой судьбе в целом, т. е. не только о средней, но и прежде всего о высшей судьбе, которая может выпасть на долю отдельных людей или целых народов. Но все современное назойливо, оно действует и влияет на взор, даже когда философ того не хочет, и непроизвольно оно будет слишком высоко оценено в общем итоге. Поэтому философ должен надлежащим образом оценить свое время в его отличии от других эпох, и, преодолевая современность для себя, преодолеть его также в том понятии о жизни, которое он дает, т. е. сделать незаметным и как бы затушевывать. Это - тяжелая и почти неразрешимая задача. Суждение старых греческих философов о ценности жизни говорит бесконечно больше, чем современное суждение, потому что они имели вокруг себя и перед собой самую жизнь в ее пышнейшем расцвете, и потому что у них настроение мыслителя не затемнялось раздором между желанием свободы, красоты, величия жизни и влечением к истине, которое лишь спрашивает: какова ценность жизни вообще? Суждение, которое высказал о жизни Эмпедокл, среди могучей и роскошной жизнерадостности греческой культуры, сохраняет значение для всех времен; оно имеет весьма большой вес, тем более, что ему не противоречит ни одно иное суждение какого-либо другого великого философа того же великого времени. Он говорит лишь отчетливее других, но в сущности, - т. е. если уметь как следует раскрыть уши, - они все говорят то же самое. Современный же мыслитель, повторяю, всегда будет страдать от невыполнимого желания: он будет требовать, чтобы ему сперва показали снова жизнь настоящую, красную, здоровую жизнь, и лишь затем он сможет произнести о ней свой приговор. По меньшей мере в отношении самого себя он будет считать нужным быть живым человеком прежде, чем иметь основание признать себя справедливым судьей. Вот почему именно новые философы принадлежат к могущественнейшим пособникам жизни и пробудителям воли к жизни, вот почему они стремятся от своей собственной ослабевшей эпохи к культуре, к преображенной *Physis*. Но это стремление есть вместе с тем и их опасность: в них реформатор жизни борется с философом, т. е. с судьей жизни. И в какую бы сторону ни склонилась победа, эта победа всегда заключает в себе потерю. Как же избег Шопенгауэр и этой опасности?

Если каждый великий человек охотнее всего рассматривается как истое дитя своего времени и во всяком случае сильнее и ошутительнее страдает всеми его недугами, чем все меньшие люди, то борьба такого великого человека против своего времени есть, по-видимому, лишь бессмысленная и разрушительная борьба с самим собой. Но именно лишь по-видимому; ибо он борется с тем, что мешает ему быть великим, - а это означает у него лишь: свободно и цельно быть самим собой. Отсюда следует, что его вражда в сущности направлена против того, что хотя и есть в нем, но не есть собственно он сам - именно против нечистого нагромождения чужеродных и вечно несоединимых начал, против ложного прицепления своевременного к его несвоевременной природе: и в конечном счете мнимое дитя своего времени оказывается лишь пасынком последнего. Так и Шопенгауэр уже с ранней юности выступал против этой мнимой, тщеславной и недостойной своей матери - своей эпохи, и, как бы отгоняя ее от себя, очищал и оздоравливал свое существо и обретал себя снова в своем исконном здоровье и чистоте. Поэтому произведениями Шопенгауэра можно пользоваться как зеркалом времени; и уж конечно не вина зеркала, если все своевременное отражается в нем как искажающая болезнь, как худоба и бледность, как впалые глаза и вялые черты, если в нем ясно видны страдания пасынка. Жажда сильной натуры, здоровой и простой человечности, была у него влечением к самому себе, и как только он преодолел в себе время, он изумленным взором увидал своего гения. Тайна его существа открылась ему теперь, намерение мачехи-времени скрыть от него этого гения было разрушено, и было найдено царство преображенной *Physis*. И когда он теперь безбоязненно обращал свой взор на вопрос: "какова ценность жизни вообще?" - то ему уже не нужно было осуждать беспорядочное и бледное время и его лицемерно-смутную жизнь. Он хорошо знал, что на этой земле есть и может быть найдено нечто более высокое и чистое, чем подобная своевременная жизнь, и что каждый, кто знает и судит бытие только по этой безобразной его форме, относится к нему совершенно несправедливо. Нет, теперь вызывается сам гений, чтобы услышать, не может ли он, этот высший плод жизни, оправдать жизнь вообще; великолепный творческий человек должен ответить на вопрос: "Утверждаешь ли ты в глубине души это бытие? Удовлетворяет ли оно тебя? Хочешь ли быть его защитником, его искупителем? Одно лишь правдивое "да!" из твоих уст - и столь тяжко обвиняемая жизнь будет оправдана!" Что ответит он на это? Его ответ - есть ответ Эмпедокла.

4

Пусть этот последний намек остается пока непонятым; для меня теперь дело идет о чем-то весьма понятном, - я хочу показать, как с помощью Шопенгауэра мы можем воспитаться в духе, противоположном нашему времени, потому что у нас есть то преимущество, что, благодаря ему, мы действительно знаем наше время, - если,

впрочем, видеть в этом преимущество! Во всяком случае, несколькими веками позднее это вообще уже не будет возможно. Я наслаждаюсь фантазией, что люди как-нибудь вскоре пресытятся чтением, а вдобавок и писателями, что ученый однажды опомнится, составит свое завещание и распорядится в нем, чтобы его труп был сожжен вместе с его книгами, и в особенности вместе с его собственными произведениями. И если говорят, что леса все редеют, то не может ли когда-нибудь настать пора обращаться с библиотеками как с дровами, соломой и хворостом? Ведь большинство книг родилось из головного дыма и пара; так пусть же они снова обратятся в дым и пар! И если в них не было огня, то пусть их огонь накажет за это! Итак, не лишено возможности, что позднейший век признает именно нашу эпоху за *saeculum obscurum*, потому что именно его произведениями будут усерднее и дольше всего топить печи. Как счастливы мы, следовательно, что можем еще узнать нашу эпоху! И если вообще имеет смысл заниматься своим временем, то во всяком случае надо считать счастьем столь основательное знакомство с ним, что уж не может оставаться никаких сомнений в нем; а это именно и дает нам Шопенгауэр.

Конечно, в сто раз больше было бы наше счастье, если бы это исследование показало, что еще никогда не бывало чего-либо столь гордого и обильного надеждами, как наша эпоха. И в настоящую минуту имеются в некоторых уголках земли, например в Германии, наивные люди, которые пытаются верить в нечто подобное и которые даже совершенно серьезно говорят о том, что несколько лет тому назад мир был исправлен и что люди, которые, быть может, питают тяжелые и темные сомнения относительно бытия, опровергнуты "фактами". Ибо дело обстоит так: основание новой германской империи есть решительный и уничтожающий удар, нанесенный всякому "пессимистическому" философствованию - и ни на грош меньше. Кто хочет ответить на вопрос, какое значение имеет в наше время философ в качестве воспитателя, тот должен ответить и на это весьма распространенное и особенно культивируемое в университетах мнение, и притом следующим образом: срам и позор, что такая омерзительная, идолопоклонствующая перед модой лесь высказывается и повторяется так называемыми мыслящими и достойными людьми; это доказывает лишь, что они даже не подозревают, как далеко философская правда отстоит от правды газетной. Такие люди потеряли последний остаток не только философского, но и религиозного образа мыслей, и взамен всего этого получили даже и не оптимизм, а просто журнализм, - дух и бездушие дня и ежедневных листков. Всякая философия, которая верит, что политическое событие может вытеснить или даже разрешить проблему бытия, есть насмешка и карикатура на философию. С тех пор, как стоит мир, государства не раз основывались; это довольно старая история. Как же может политическое новшество само по себе сделать людей раз навсегда довольными обитателями земного шара? Но если кто-либо от всей души верит, что это возможно, пусть он только заявит о себе; ибо он поистине заслуживает стать профессором философии в немецком университете, подобно Гармсу в Берлине, Юргену Мейеру в Бонне и Карриеру в Мюнхене.

Здесь мы видим результаты того учения, с недавних пор проповедуемого на всех перекрестках, что государство есть высшая цель человечества и что у человека не может быть более высокой обязанности, чем служить государству, учения, в котором я усматриваю возврат не к язычеству, а к глупости. Может быть человек, который видит в государственной службе свой высший долг, действительно не знает никаких более высоких обязанностей, но из этого не следует, чтобы не существовало еще иных людей и обязанностей; и одна из этих обязанностей, которую я по крайней мере считаю более высокой, чем государственная служба, состоит в том, чтобы разрушать глупость во всех ее видах, и в том числе, стало быть, и эту глупость. Вот почему меня интересует здесь тот род людей, телеология которых несколько выходит за пределы государственного блага, - именно философы, да и то лишь в их отношении к миру, который в свою очередь довольно независим от государственного блага, к культуре. Среди многих колец, которые, продетые одно в другое, образуют общественное бытие людей, есть золотые и есть томпаковые.

Как же смотрит философ в наше время на культуру? Конечно, совсем иначе, чем те довольные своим государством профессора философии, о которых мы только что говорили. Он почти воспринимает симптомы полного истребления и искоренения культуры, когда думает о всеобщей спешке и возрастающей быстроте падения, о прекращении всякой созерцательности и простоты. Воды религии отливают и оставляют за собой болото или топи; народы снова разделяются, враждуют между собой и хотят растерзать друг друга. Науки, культивируемые без всякой меры в слепом *laissez faire*, раздробляют и подмывают всякую твердую веру; образованные классы и государства захвачены потоком грандиозного и презренного денежного хозяйства. Никогда мир не был в такой степени миром, никогда он не был беднее любовью и благостью. Ученые круги не являются уже маяками или убежищами среди всей этой суety обмирщения; они сами с каждым днем становятся все беспокойнее, все более безмысленными и бессердечными. Все, включая и современное искусство и науку, служит грядущему варварству. Культурный человек выродился в величайшего врага культуры, ибо он облыжно отрицает общую болезнь и препятствует врачам. Они ожесточаются, эти обессиленные бедные плуты, когда говорят об их слабости и противодействуют их вредному духу лжи. Им очень хотелось бы заставить нас поверить, что они побили рекорд в состязании всех веков, и они держатся с искусственной веселостью. В их манере симулировать счастье есть подчас что-то трогательное, так как их счастье совершенно непостижимо. Их даже не хочется спросить, как Тангейзер спросил Битерольфа: "Чем же ты, несчастный, наслаждался?" Увы! Мы ведь сами хорошо знаем это. Над нами навис зимний день, и мы живем на высокой горе, в нужде и опасности.

Кратка всякая радость и бледен всякий луч солнца, который скользит к нам по белым горам. Вот раздается музыка, старик вертит шарманку, люди пляшут - и с трепетом смотрит на это путник; так дико, замкнуто, бесцветно и безнадежно здесь все, и среди этой нищеты слышен звук радости, громкой безмысленной радости! Но уже спускаются туманы раннего вечера, звук замолкает, и скрипят по снегу шаги путника; куда он ни смотрит, он видит лишь пустынное и жестокое лицо природы.

Но если бы было односторонним отмечать лишь бледность линий и туманность красок в картине современной жизни, то, во всяком случае, обратная сторона ничем не отраднее, а лишь еще более тревожна. Конечно, существуют силы, и даже огромные силы, но это - силы дикие, первобытные и совершенно немилосердные. На них смотришь с трепетным ожиданием, как на котел волшебной кухни: каждое мгновение что-то может дрогнуть и блеснуть в нем, возвещая ужасные явления. Уже целое столетие мы подготовлены к капитальным потрясениям; и если с недавних пор пытаются этому глубочайшему современному влечению к разрушениям и взрывам противопоставить обустроивающую силу так называемого национального государства, то ведь и последнее еще долго будет служить лишь к увеличению всеобщей непрочности и угрожаемости. И нас не введет в заблуждение, что отдельные люди живут так, как будто бы они ничего не знали о всех этих тревогах: их беспокойство показывает, что они их хорошо знают; они заняты собой с такой торопливостью и исключительностью, с какой еще никогда люди не думали о себе; они строят и взращивают для текущего дня, и погоня за счастьем никогда не бывает горячее, чем когда оно должно быть захвачено между сегодняшним и завтрашним днем, ибо послезавтра, быть может, пора для охоты вообще придет к концу. Мы живем в эпоху атомов и атомистического хаоса. В средние века враждебные силы более или менее сдерживались церковью, и производимое ею давление до известной степени сближало их между собой. Когда связь порывается и давление ослабевает, одна сила восстает против другой. Реформация признала многие вещи за *adiaphora*, - за области, которые не должны были определяться религиозной мыслью; это была цена, которой она купила себе самой право на существование, - подобно тому, как и само христианство, по сравнению с более религиозным античным миром, утвердило свое существование сходной ценой. С того времени это дифференцирование распространялось все дальше. Теперь почти все на свете определяется лишь самыми грубыми и злыми силами - эгоизмом приобретателей и военной тиранией. Правда, государство в руках военной власти пытается, как и эгоизм приобретателей, собственными силами организовать все снова и служить связью и давлением для всех этих враждебных сил; т. е. оно хочет, чтобы люди идолопоклонствовали перед ним так же, как они это делали прежде в отношении церкви. Будет ли эта попытка иметь успех? Мы еще увидим это; во всяком случае мы еще теперь живем среди ледохода средних веков; река вскрылась, и началось могучее опустошающее движение. Лыдина громоздится на лыдину; все берега затоплены и находятся в опасности. Революция совершенно неизбежна, и притом атомистическая революция; но в чем состоят мельчайшие, неделимые частицы человеческого общества?

Нет сомнения, что при приближении таких эпох человеческое находится еще в большей опасности, чем во время самого крушения и хаотического вихря, и что боязливое ожидание и жадное использование минуты пробуждают все трусливые и эгоистические склонности души; тогда как действительная нужда и особенно всеобщая великая нужда способна улучшать и согревать людей. При таких опасностях нашей эпохи кто же захочет быть стражей и рыцарем человечности, этого неприкосновенного святого сокровища, постепенно накопленного многочисленными поколениями? Кто водрузит образ человека в то время когда все чувствуют в себе лишь себялюбивые вожелания и собачью трусость и, следовательно, отпали от этого образа, возвратясь назад в животную или даже мертвомеханическую стихию?

В новое время были выставлены один вслед за другим три образа человека, из созерцания которых смертные вероятно еще долго будут черпать стремление к преобразению своей собственной жизни; это - человек Руссо, человек Гете и человек Шопенгауэра. Из них первый образ - самый зажигательный, и ему обеспечено широчайшее влияние; второй создан лишь для немногих, именно для созерцательных натур в крупном стиле, и непонятен для массы. Третий ищет, в качестве своих зрителей, самых деятельных людей, ибо лишь такие могут без вреда смотреть на него; созерцательных же он ослабляет, а толпу пугает. От первого образа изошла сила, которая повлекла и еще влечет к бурным революциям, ибо во всех социалистических волнениях и землетрясениях все еще движется человек Руссо, подобно древнему Тифону под Этной. Угнетенный и на половину раздавленный высокомерными кастами и беспощадным богатством, испорченный священниками и дурным воспитанием, стыдясь перед самим собой смешного склада своей жизни, человек в своей нужде призывает "святую природу" и внезапно чувствует, что она далека от него, как какой-нибудь бог Эпикура. Его мольбы не достигают ее - так глубоко погрузился он в хаос неестественного. С негодованием отбрасывает он все пестрые украшения, которые еще недавно казались ему самым человеческим его достоянием, свои искусства и науки, преимущества своей утонченной жизни, - он бьет кулаком о стены, в тени которых он так выродился, и громко требует света, солнца, леса и скал. И когда он восклицает: "Одна лишь природа хороша, и только естественный человек человечен!", то он презирает себя и стремится уйти от себя. В этом настроении душа готова к самым ужасным решениям, но вместе с тем вызывает из своих глубин все наиболее благородное и редкое.

Человек Гете не представляет столь грозной опасности, и есть даже в известном смысле корректив и квинтэссенция именно к тем опасным возбуждениям, которым подвержен человек Руссо. Гете сам в юности всем своим

любвеобильным сердцем был привязан к евангелию доброй природы; его Фауст был высшей и смелейшей копией человека Руссо, по крайней мере поскольку нужно было изобразить последнего в его голоде по жизни, в его недовольстве и тоске, в его общении с демонами сердца. И теперь посмотрите, что рождается из всего этого скопления туч - наверно уже не молния! Здесь именно и сказывается новый образ человека, - человека Гете. Можно было бы подумать, что Фауст проходит через эту всюду стесненную жизнь, как ненасытный бунтарь и освободитель, как сила, отрицающая из благости, как подлинный религиозный и демонический гений переворота, - в противоположность к его совсем не демоническому спутнику (хотя он и не может избавиться от этого спутника и должен одновременно и пользоваться скептической злобностью и отрицанием последнего, и презирать их - как это есть трагическая судьба всякого бунтаря и освободителя). Но подобное ожидание не оправдывается; человек Гете покидает здесь человека Руссо; ибо он ненавидит все насильственное, всякий скачок, - а это значит: всякое действие; и таким образом освободитель мира, Фауст, становится как бы только путешественником вокруг света. Все царства жизни и природы, все прошедшие эпохи, искусства, мифологии, все науки видят, как мимо них проносится ненасытный созерцатель; глубочайшие влечения возбуждаются и умиротворяются, даже Елена не может более удержать Фауста - и вот должно наступить мгновение, которого поджидает его глумливый спутник. В любом месте земли полет кончается, крылья опадают, и Мефистофель уже тут как тут. Когда немец перестает быть Фаустом, для него нет большей опасности, чем стать филистером и попасть в руки дьявола - одни лишь небесные силы могут его спасти от этого. Человек Гете, как я сказал, есть созерцательный человек высокого стиля, который лишь потому не погибает на земле от голода, что собирает для своего пропитания все великое и достопримечательное, что когда-либо было и еще есть на свете, хотя жизнь есть здесь лишь переход от одного вождения к другому; он не деятельный человек; напротив, если он где-либо примкнет к определенной организации деятельных существ, то можно быть уверенным, что из этого не выйдет ничего путного - как, например, из всего усердия, которое сам Гете обнаруживал к театральному делу - и прежде всего, что не будет опрокинут никакой "порядок". Человек Гете есть консервативная и мирная сила, однако в нем таится опасность, как я уже сказал, вырождаться в филистера, подобно тому, как человек Руссо легко может стать демагогом-заговорщиком. Если бы человек Гете обладал немного большею мускульной силой и первобытной дикостью, все его добродетели были бы крупнее. Кажется, Гете сам сознавал, в чем опасность и слабость его человека; он наметил ее в словах, обращенных Ярно к Вильгельму Мейстеру: "Вы недовольны и раздражены - это мило и хорошо; разозлитесь как-нибудь порядком - и это будет еще лучше".

Итак, говоря совершенно открыто: чтобы стало лучше, необходимо, чтобы мы когда-нибудь сделали порядком злыми. И в этом нам должен помочь образ шопенгауэровского человека. Шопенгауэровский человек берет на себя добровольное страдание правдивости, и это страдание помогает ему убить личную волю и подготовить тот совершенный переворот в его существе, достижение которого и образует собственно смысл жизни. Это высказывание правды кажется другим людям порождением злобы, ибо в сохранении своей половинчатости и искусственности они видят долг человечности и полагают, что нужно быть злым, чтобы так разрушать их игрушки. Они склонны крикнуть такому человеку то, что Фауст говорит Мефистофелю: "вечно действенной, целебно-творческой силе ты противопоставляешь холодный кулак дьявола"; и тот, кто хотел бы жить по-шопенгауэровски, походил бы, вероятно, более на Мефистофеля, чем на Фауста - именно для современных близоруких глаз, которые в отрицании всегда видят отпечаток зла. Но существует род отрицания и разрушения, который есть именно истечение могущественной жажды освящения и спасения жизни. И первым его философским наставником среди нас, утерявших святость и подлинно обмирщенных людей, выступил Шопенгауэр. Всякое бытие, которое можно отрицать, тем самым и заслуживает отрицания; и быть правдивым значит верить лишь в то бытие, которого нельзя отрицать и которое само истинно и правдиво. Поэтому правдивый человек сознает, что его деятельность имеет метафизическое, объяснимое из законов иной и высшей жизни и в глубочайшем смысле утверждающее значение; хотя все, что он делает, кажется разрушением и ломкой законов этой жизни. При этом его деятельность должна стать длительным страданием; но он знает то, что знает и Мейстер Экхарт: "быстрейшее животное, которое доведет вас до совершенства, есть страдание". Мне кажется, что у каждого, кто представит себе подобное направление жизни, должно расшириться сердце и зародиться горячее желание стать таким шопенгауэровским человеком, т. е. в отношении себя и своего личного блага быть чистым и изумительно равнодушным, в своем познании быть исполненным могучего пожирающего пламени и бесконечно удаленным от холодной и презренной нейтральности так называемых людей науки, высоко поднимаясь над ворчливо раздраженными мыслями, принося всегда себя первого в жертву познанной правде и глубоко сознавая те страдания, которые должны возникнуть из его правдивости. Правда, он уничтожает свое земное счастье своею храбростью, он должен быть враждебен даже людям, которых любит, и учреждениям, из лона которых он произошел, он не должен щадить ни людей, ни вещей, хотя сам страдает от наносимых им ударов, он останется непонятым и долго будет считаться союзником сил, которые ненавидит; благодаря ограниченности всякого человеческого понимания, он будет вынужден быть несправедливым, при всем своем стремлении к справедливости; но он может утешить себя словами, которые однажды употребляет Шопенгауэр, его великий воспитатель: "Счастливая жизнь невозможна; высшее, чего может достигнуть человек, есть героический жизненный путь. Таким путем идет тот, кто в какой-либо области и в каком-либо деле борется с чрезмерными трудностями за какое-либо общее благо и в заключение побеждает, но при этом плохо или совсем

не вознаграждается. Тогда в конце пути он останавливается окаменелый, подобно принцу в *Re corvo* Гоцци, но в благородной позе и с великодушным жестом. Память о нем сохраняется и чувствуется, как память героя; его воля, умерщвляемая в течение целой жизни трудом и усилиями, плохим успехом и неблагодарностью мира, угасает в нирване". Правда, такой героический жизненный путь, как и связанное с ним умерщвление воли менее всего соответствуют жалкому понятию тех, кто больше всего говорят об этом, празднуют торжества в память великих людей и полагают, что великий человек просто велик на тот же лад, как они сами - малы, т. е. как бы в виде подарка и для своего удовольствия, или же чисто механически и в слепом подчинении внутреннему принуждению; так что тот, кто не получит подарка и не чувствует принуждения, имеет такое же право быть малым, как великий человек - быть великим. Но быть одаренным или принужденным - это презренные слова, с помощью которых люди хотят уйти от внутреннего голоса, и хула на того, кто вслушался в этот голос, т. е. на великого человека; именно он меньше всех позволяет одаривать или принуждать себя. Не хуже всякого маленького человека знает он, как можно взять жизнь с легкой стороны и как мягка постель, в которой он мог бы растянуться, если бы стал обходиться с собой и с своими близкими прилично и на обычный лад; ведь все людские порядки устроены так, чтобы постоянно рассеивать мысли и не ощущать жизни. Почему же он так сильно хочет противоположного, т. е. непременно ощущать жизнь, - а это значит - страдать от жизни? Потому, что он замечает, что его хотят обмануть относительно его самого, и что существует некоторого рода заговор, чтобы выкрасть его из его собственной пещеры. И вот он противится, наостряет уши и решает: "я хочу принадлежать самому себе!" Лишь постепенно он начинает понимать, как страшно это решение. Ибо отныне он должен спуститься в глубины бытия, с рядом необычайных вопросов на устах: зачем я живу? Какой урок могу я взять от жизни? Как я стал тем, что я есть, и почему же я страдаю от этой моей природы? Он мучится и видит, что никто так не мучится, что, наоборот, руки его близких страстно протянуты к фантастическим событиям, разыгрывающимся на политической сцене, или что они сами разгуливают в сотне масок, переодетые юношами, мужами, старцами, отцами, гражданами, священниками, чиновниками, купцами, суетливо озабоченные своею общею комедией и нисколько не думая о себе самих. Все они на вопрос: зачем ты живешь? - быстро и гордо ответили бы: "чтобы стать хорошим гражданином, или ученым, или государственным деятелем", - и все же они суть что-то, что никогда не может стать иным, и почему они суть именно это? Увы! - это, а не что-либо лучшее? Кто понимает свою жизнь лишь как точку в развитии поколения или государства или науки, и, следовательно, хочет целиком принадлежать к процессу становления, к истории, тот не понял урока, заданного ему бытием, и должен выучить его снова. Это вечное становление есть лживая кукольная комедия, из-за которой человек забывает себя самого, развлечение, которое рассеивает личность во все стороны, нескончаемая игра тупоумия, которою большое дитя - время - забавляется перед нами и с нами. Героизм же правдивости состоит в том, чтобы в один прекрасный день перестать быть его игрушкой. В становлении все пусто, обманчиво, плоско и достойно нашего презрения; загадку, которую человек должен разрешить, он может разрешить лишь в бытии, в бытии таким, а не иным, - лишь в непреходящем. Теперь он начинает испытывать, как глубоко он сросся со становлением с одной стороны, и с бытием - с другой; чудовищная задача восстает перед его душой: разрушить все становящееся, осветить все ложное в вещах. Он тоже хочет все познать, но он хочет это иначе, чем гетевский человек, не ради благородной изнеженности, чтобы сохранить себя и усладить многообразием вещей; напротив, себя самого он первого приносит в жертву. Героический человек презирает свое благополучие и злополучие, свои добродетели и пороки и вообще измерение вещей меркой своей личности, он ничего не ждет больше от самого себя и хочет во всех вещах увидеть эту безнадежную их основу. Его сила лежит в самозабвении; и если он вспоминает себя, то он смотрит на себя с высоты своей великой цели, и ему кажется, что под собой и позади себя он видит неприметную горку шлака. Старые мыслители всеми силами искали счастья и правды - а никогда человек не найдет того, чего он ищет - гласит злое правило природы. Но кто ищет во всем неправды и добровольно приобщает себя несчастью, тому, быть может, уготовлено иное чудо разочарования: нечто невыразимое, по сравнению с чем счастье и истина суть лишь ночные чудища, приближается к нему, земля теряет свою тяжесть, земные события и силы становятся сонными грезами, и все вокруг озаряется тихим светом, как в летний вечер. Созерцателю чудится, что он только что просыпается, и что вокруг него еще лишь реют облака исчезающего сна. Этим облакам тоже суждено когда-либо рассеяться; и тогда настанет день.

5

Но я обещал рассказать о Шопенгауэре, как о воспитателе, на основании своего личного опыта. А для этого совсем недостаточно обрисовать, да к тому же в несовершенных выражениях, того идеального человека, который царит в Шопенгауэре и вокруг него, образуя как бы его платоновскую идею. Остается еще самое трудное: сказать, каким образом из этого идеала проистекает новый круг обязанностей и как можно такую высочайшую цель связать с правильною деятельностью, - словом, доказать, что этот идеал имеет воспитательное значение. Иначе можно было бы подумать, что это есть лишь блаженное, пленительное настроение, которое доступно нам на отдельные мгновения, но вслед за тем тотчас же покидает нас, отдавая нас во власть тем большего разочарования. И бесспорно, что так начинается наше знакомство с этим идеалом, - такими внезапными сменами света и тьмы, упоения и отвращения, и что здесь повторяется опыт, столь же старый, как идеалы вообще. Но мы не должны стоять долго у дверей, и начальное состояние скоро кончается. И потому нужно поставить строго и отчетливо вопрос: возможно ли настолько приблизить эту непостижимо высокую цель чтобы, притягивая нас

вверх, она вместе с тем воспитывала нас? В противном случае на нас могли бы осуществиться великие слова Гете: "Человек рожден для ограниченного положения; он способен видеть простые, близкие, определенные цели, и приучается пользоваться средствами, которые у него тут же под рукой; но как только он берется за отдаленное, он не знает ни - чего хочет, ни - что должен делать, и совершенно безразлично, разбрасывается ли он ввиду множества предметов, или же его выводит из равновесия их высота и величие. Для человека всегда несчастье стремиться к чему-либо, с чем он не может связать себя правильной самодеятельностью". Это возражение, по-видимому, с полным правом может быть выставлено против шопенгауэровского человека: его величие и достоинство способно лишь выводить нас из равновесия и тем самым снова удаляет нас от всякого действительного общения; сотрудничество обязанностей, поток жизни - все исчезает при этом. Быть может при этих условиях один приучится делать досадное разграничение и жить на основании двойного мерила, т. е. находиться в противоречии с самим собой, быть неуверенным и здесь и там, и потому с каждым днем становиться все менее сильным и плодотворным; тогда как другой же принципиально откажется участвовать в деятельности и еле будет смотреть, как действуют другие. Опасности всегда велики, когда человеку приходится слишком трудно и когда он не в состоянии выполнять обязанности; более сильные натуры могут на этом погибнуть; более слабые и многочисленные погружаются в созерцательную лень и под конец из лени теряют даже созерцательность.

В ответ на такие возражения я готов признать, что наша работа здесь едва лишь началась и что на основании собственного опыта я теперь вижу и знаю определенно лишь одно: что возможно, исходя от этого идеального образа, надеть на себя и других цепь выполнимых обязанностей и что некоторые из нас уже чувствуют давление этой цепи. Но чтобы без колебаний высказать формулу, которой я хотел бы охватить этот новый круг обязанностей, я нуждаюсь в следующих предварительных соображениях.

Более глубокие люди во все времена испытывали сострадание к животным именно потому, что последние страдают от жизни и все же не имеют силы обратить жало страдания против себя самих и истолковать метафизически свое бытие; вид бессмысленного страдания возмущает нас до глубины души. Поэтому не однажды возникало предположение, что в телах этих животных помещаются души отягощенных виною людей, и что это, на первый взгляд, возмутительно бессмысленное страдание, полно высшего смысла и значения перед лицом вечной справедливости - именно есть наказание и покаяние. Поистине, тяжкая кара жить в образе животного, томясь от голода и вожделений, и не имея ни малейшего понимания этой жизни, и нельзя придумать судьбы более тяжелой, чем судьба хищного зверя, который гоним в пустыне мучительной нуждой, редко утоляет эти муки, да и то лишь так, что само удовлетворение становится страданием, достигаясь в раздрающей борьбе с другими зверями или выражаясь в отвратительной жадности и пресыщении. Быть так слепо и бешено привязанным к жизни без всякого высшего вознаграждения с ее стороны, не иметь даже и отдаленного знания о том, почему и за что терпишь это наказание, а, напротив, с ужасающей страстью бессмысленно жаждать его, как какого-то счастья - вот что значит быть животным; и если вся природа движется в сторону человека, то она дает этим понять, что человек нужен ей для ее спасения от проклятия животной жизни, и что в нем, наконец, бытие находит себе такое отражение, в котором жизнь является уже не бессмысленной, а обнаруживает свою метафизическую значительность. Но рассудим поглубже: где кончается зверь и где начинается человек? Тот человек, который только и нужен природе? Пока кто-либо стремится к жизни, как к какому-то счастью, он еще не поднял взора над горизонтом зверя, и вся разница лишь в том, что он более сознательно стремится к тому, чего зверь ищет слепым инстинктом. Но ведь так живем мы все значительную часть нашей жизни: мы не выходим обычно из животного состояния, мы сами - звери, осужденные, по-видимому, на бессмысленное страдание.

Но есть мгновения, когда мы понимаем это, тогда облака разрываются, и мы видим, как, вместе со всей природой, нас влечет к человеку, т. е. к чему-то, что стоит высоко над нами. Содрогаюсь, мы оглядываемся вокруг себя в этом внезапном свете и смотрим назад: мы видим, как бегут утонченные хищные звери и мы сами среди них. Чудовищная подвижность людей в великой земной пустыне, их созидание городов и государств, их ведение войн, их неустанное схождение и расхождение, их беспорядочная беготня, их взаимное подражание, их умение перехитрить и уничтожить друг друга, их крик в нужде, их радостный рев в победе, - все это есть продолжение животного состояния; как будто человеку суждено сознательно регрессировать и обмануться в надежде на свои метафизические задатки, - более того, как будто природа, так долго ждавшая человека и работавшая над ним, отшатывается теперь от него и готова вновь вернуться к бессознательности инстинкта. Ах, ей нужно познание, и она страшится того познания, в котором нуждается; и вот пламя, беспокойно и как бы пугаясь самого себя, колеблется во все стороны и охватывает тысячи вещей, прежде чем охватить то, ради чего вообще природа нуждается в познании. Мы все знаем в отдельные мгновения, что широчайшие планы нашей жизни создаются лишь для того, чтобы убежать от нашей истинной задачи, что мы охотно хотели бы куда-нибудь спрятать свою голову, где бы наша стоглазая совесть не могла нас поймать, что мы спешно дарим свое сердце государству, добыванию денег, общению с друзьями или науке, только чтобы не владеть им более, что мы даже отдаемся барщине ежедневного труда с такой горячностью и бешенством, какие вовсе не нужны для нашей жизни, - потому что, нам кажется, нужнее всего не приходить в сознание. Все полны этой спешки, ибо каждый бежит от себя самого; и все робко скрывают эту спешку, ибо хотят казаться довольными и не показать своей нищеты более зорким наблюдателям; все испытывают потребность в новых звучных словесных погремушках, чтобы обвешать ими жизнь и тем придать ей что-то шумно-праздничное. Всякому известно то странное

состояние, когда нас внезапно одолевают неприятные воспоминания, и мы стараемся порывистыми жестами и звуками изгнать их из сознания; но по жестам и звукам обычной нашей жизни можно угадать, что мы все и постоянно находимся в подобном состоянии, - в состоянии страха перед воспоминанием и самоуглублением. Что же так часто задевает нас, какая муха не дает нам спать? Вокруг нас бродят привидения, каждое мгновение жизни хочет нам что-то сказать, но мы не хотим слушать эти таинственные голоса. Мы боимся, когда мы одни и в тишине, что нам прошепчут что-то на ухо, и потому мы ненавидим тишину и оглушаем себя общением с людьми.

Повторяю, все это мы изредка понимаем и дивимся тогда всей нашей головокружительной спешке и боязни и всему состоянию нашей жизни, похожему на сон, когда мы боимся проснуться и грезим тем живее и беспокойнее, чем ближе мы к пробуждению. Но вместе с тем мы чувствуем, что мы слишком слабы, чтобы долго выносить такие мгновения глубочайшей сосредоточенности, и что мы - не те люди, к которым стремится вся природа как к своему спасению; достаточно уже, если нам вообще удастся немного вынырнуть головой и заметить, в какой поток мы так глубоко погружены. Но даже вынырнуть и очнуться на мимолетное мгновение мы не можем собственными силами, нас должен поднять кто-нибудь - кто же именно?

Это те подлинные люди, которые уже не звери, - философы, художники и святые; при их появлении и в их появлении природа, которая никогда не делает скачков, делает свой единственный скачок, и притом скачок радости, ибо она чувствует себя впервые у цели, - т. е. там, где она понимает, что должна разучиться иметь цели и что она делала слишком высокие ставки в игре жизни и становления. Она преображается при этом познании, и кроткая вечерняя усталость - то, что люди зовут "красотой", - покоится на ее лице. То, что она высказывает теперь с этим преображенным выражением лица, есть великая разгадка бытия; и высшее желание, какое может иметь смертный, это длительно и с открытыми ушами прислушиваться к этой разгадке. Если кто-либо подумает о том, что, например, должен был услышать в течение своей жизни Шопенгауэр, то он, вероятно, скажет затем самому себе: "О, мои глухие уши, моя мутная голова, мой колеблющийся разум, мое сдавленное сердце, все, что я зову своим, как я презираю это! Не уметь летать, а только трепыхаться! Видеть над собой высоту и не уметь подняться на нее! Знать путь, который ведет к этому необозримому свободному горизонту философа, твердой ногой вступить на него, и через несколько шагов отшатнуться обратно! И если бы хоть на один день было осуществимо это великое желание, - как охотно можно было бы отдать за него всю остальную жизнь! Подняться так высоко, как поднимается мыслитель, в чистую атмосферу Альп и снегов, туда, где нет уже туманов и завес и где основная сущность вещей выражается в резких и застывших формах, но с совершенной понятностью! При одной мысли об этом душа становится одинокой и бесконечной; но если бы ее желание исполнилось, если бы когда-либо взор пал на вещи прямо и светло, подобно лучу света, если бы замерли стыд, робость и вожделение, - каким словом назвать тогда ее состояние, этот новый и загадочный трепет без возбуждения, с которым она тогда, подобно душе Шопенгауэра, осталась бы лежать на великой, писанной образами книге бытия, на окаменевшем учении о становлении не как ночь, а как раскаленный красный свет, заливающий весь мир. И какая участь - почуять своеобразное назначение и блаженство философа, чтобы ощутить всю шаткость и все злосчастье нефилософов, безнадежно жаждущих! Знать, что ты - плод на дереве, который никогда не может созреть от недостатка света, и тут же рядом с собой видеть солнечный свет, в котором ты нуждаешься!"

Здесь достаточно муки, чтобы сделать такого неудачника завистливым и злобным, если бы он вообще мог стать завистливым и злобным; но вероятно он обратит наконец свою душу в другую сторону, чтобы она не пожирала самое себя в этом тщетном влечении, - и теперь он откроет новый круг обязанностей.

И тут я дошел до ответа на вопрос, возможно ли связать себя правильной самодеятельностью с великим идеалом шопенгауэровского человека. Прежде всего бесспорно следующее: эти новые обязанности не суть обязанности одинокого; напротив, обладая ими, принадлежишь к могущественному сообществу, которое соединено, правда, не внешними формами и законами, но зато единой основной мыслью. Это - основная мысль культуры, поскольку последняя ставит перед каждым из нас лишь одну задачу: содействовать созиданию философа, художника и святого в нас и вне нас и тем трудиться над совершенствованием природы. Ибо как природа нуждается в философе, так она нуждается и в художнике - для метафизической цели, именно для своего собственного самоуяснения, для того, чтобы иметь наконец чистый и законченный образ того, что ей никогда не удастся отчетливо рассмотреть в беспокойном процессе своего становления, т. е. для своего самопознания. Гете в глубокомысленно-шутливых словах дал понять, что для природы все ее попытки имеют лишь смысл, поскольку она ждет художника, который встретил бы ее на полпути, угадал наконец ее лепет и высказал бы то, на что собственно направлены ее попытки. "Я часто говорил, восклицает он однажды, - и еще часто буду повторять, что *causa finalis* всех мировых и человеческих дел есть драматическая поэзия. Ведь вся штука абсолютно не годится ни на что другое". И, наконец, природа нуждается в святом, в котором совершенно растворилось "я", и страдальческая жизнь которого уже не ощущается или почти не ощущается индивидуально, а сознается, как глубочайшее чувство равенства, солидарности и единства со всем живущим в том святом, в котором осуществляется чудесное превращение, недоступное игре становления, высшее и конечное вочеловечение, к которому стремится и влечется вся природа, как к спасению от самой себя. Нет сомнения, что мы все родственны ему и связаны с ним подобно тому, как мы родственны философу и художнику; бывают мгновения и как бы искры самого яркого и любвеобильного пламени, при свете которого мы уже не понимаем

слова "я"; по ту сторону нашего существа лежит нечто, что в такие мгновения становится посюсторонним, и потому мы из глубины души жаждем мостов между тем и этим берегом. Правда, в нашем обычном состоянии мы ничем не можем содействовать созиданию спасительного человека; потому-то мы и ненавидим себя в этом состоянии, и эта ненависть есть корень того пессимизма, которому Шопенгауэр должен был снова обучать наше поколение, но который так же стар, как стремление к культуре. Она есть корень пессимизма, но не его цвет, его основание, а не его верхушка, начало его пути, а не его цель; ибо когда-нибудь мы должны еще научиться ненавидеть нечто иное и более всеобщее, чем нашу личность и ее жалкую ограниченность, ее изменчивость и ее беспокойство - в том более высоком состоянии, в котором мы будем любить также нечто иное, чем то, что мы можем любить теперь. Лишь когда, в нынешней или грядущей жизни, мы сами будем приняты в этот возвышенный орден философов, художников и святых, будет поставлена и новая цель нашей любви и ненависти; пока же у нас есть наша задача и наш круг обязанностей, наша ненависть и наша любовь. Ибо мы знаем, что такое культура. Она требует в отношении шопенгауэровского человека, чтобы мы постоянно подготавливали его созидание и содействовали ему, узнавая и устраняя с пути все враждебное культуре, - словом, чтобы мы неутомимо боролись против всего, что лишило нас высшего осуществления нашего бытия, помешав нам самим стать такими шопенгауэровскими людьми.

6

Часто бывает труднее согласиться с какой-либо истиной, чем усмотреть ее, и так и настроено, вероятно, большинство людей, когда они размышляют о положении: "человечество должно непрерывно трудиться над созиданием отдельных великих людей - и это, а не что иное, есть его задача". Как естественно было бы применить к обществу и его целям вывод, который можно извлечь из рассмотрения каждой породы животного и растительного царства, именно что в ней все сводится к отдельному высшему экземпляру, к более необычному, могущественному, сложному, производительному, - если бы внешние нам воспитанием выдумки о цели общества не оказывали столь упорного противодействия. Собственно, легко понять, что там, где какой-либо вид достигает своей границы и своего перехода в высший вид, лежит и цель его развития, а не в массе экземпляров и их благосостоянии и еще менее - в экземплярах позднейших по времени; что эта цель скорее лежит в разбросанных и случайных, по-видимому, жизнях, которые изредка возникают там и сям при благоприятных условиях; и столь же легко, казалось бы, можно понять требование, чтобы человечество, способное осознавать свою цель, отыскивало и устанавливало эти благоприятные условия, при которых могут возникать великие спасительные люди. Но этому мешает все, что угодно: то эта конечная цель должна усматриваться в счастье всех или большинства, то - в развитии крупных сообществ; и сколь быстро человек решается пожертвовать своею жизнью, например, государству, столь же медленно и неуверенно он стал бы вести себя, если бы не государство, а отдельный человек потребовал этой жертвы. Кажется нелепостью, чтобы человек жил ради другого человека: "нет, ради всех других людей, или по крайней мере ради возможно большего числа!" О, милый человек, как будто более разумно ставить решение в зависимость от числа там, где дело идет о ценности и значении! Ибо вопрос гласит ведь так: каким образом твоя жизнь - жизнь отдельного человека - может приобрести высшую ценность и глубочайшее значение? При каких условиях она менее всего растрачивается даром? Разумеется лишь в том случае, если ты живешь для пользы редчайших и ценнейших экземпляров, а не для пользы большинства, т. е. экземпляров наименее ценных, если брать их поодиночке. И именно этот образ мыслей нужно внедрять и укреплять в каждом молодом человеке, чтобы он смотрел на себя как на неудавшееся произведение природы, но вместе с тем как на свидетельство величайших и чудеснейших намерений этой художницы; ей не удалось это должен он сказать себе - но я хочу почтить ее великое намерение тем, что буду стараться, чтобы когда-либо ей это лучше удалось.

Эта мысль вводит его в круг культуры; ибо культура есть дитя самопознания каждого отдельного человека и его неудовлетворенности самим собой. Каждый верующий в культуру тем самым утверждает: "я вижу над собой нечто более высокое и человеческое, чем я сам; помогите мне все достигнуть этого, как я хочу помочь каждому, кто исполнен того же познания и страдания, - чтобы наконец возник снова человек, который чувствовал бы себя завершенным и бесконечным в познании и любви, в созерцании и действовании, и всем своим целостным существом был бы связан с природой, как судья всех вещей и мерило их ценности". Трудно привести человека в это состояние безбоязненного самопознания, потому что невозможно научить его любви; ибо в одной лишь любви душа находит не только ясный, расчленяющий и полный презрения взгляд на самое себя, но и жажду заглянуть за пределы самого себя и всеми силами искать свое скрытое где-то высшее "я". Итак, лишь тот, кто отдал свое сердце какому-нибудь великому человеку, получает в силу этого свое первое культурное посвящение: его знаком служит самопристыжение без озлобления, ненависть к собственной узости и связанности, сочувствие гению, который всегда вырывался из этой нашей спертой и сухой атмосферы, предчувствие будущего всего развивающегося и борющегося и глубочайшее убеждение, что почти всюду видишь природу в нужде, видишь, как она влечется к человеку, как болезненно она чувствует постоянную неудачу своего дела и как ей все же везде удаются чудеснейшие зачатки, черты и формы; так что люди, среди которых мы живем, походят на нагроможденные обломки драгоценнейших художественных эскизов, где все вызывает к нам: придите, помогите, завершите, соедините, что принадлежит к одному целому, - мы беспрдельно стремимся стать целыми.

Эту совокупность внутренних состояний я назвал первым культурным посвящением; теперь же мне предстоит изобразить действие второго посвящения, и я хорошо сознаю, что здесь моя задача труднее. Ибо здесь должен совершиться переход от внутренних событий к оценке внешних событий, взор должен обратиться вовне, чтобы найти в великом подвижном мире то же влечение к культуре, которое ему известно из описанного уже первого опыта; личность должна использовать свою борьбу и свое стремление, как азбуку, с помощью которой она может теперь вычитать смысл человеческих влечений. Но и здесь она не может остановиться, от этой ступени она должна подняться на еще более высокие; культура требует от нее не только этого внутреннего переживания, не только оценки окружающего его потока внешнего мира, но и, кроме того и прежде всего, действия, т. е. борьбы за культуру и вражды против влияний, привычек, законов и учреждений, в которых она не может узнать своей цели созидания гения.

Того, кто способен стать на эту вторую ступень, прежде всего поражает, как необычайно мало и редко знание этой цели, как всеобщее, наоборот, стремление к культуре и как велика масса сил, затрачиваемая на служение ей. В изумлении спрашиваешь себя: быть может, такое знание совсем не нужно? Быть может, природа достигает своей цели и тогда, когда большинство неправильно определяет цель своих собственных усилий? Кто привык придавать большое значение бессознательной целесообразности природы, не затруднится, вероятно, ответить: "Да так оно и есть! Пусть люди думают и говорят о своей конечной цели, что хотят, они все же в своем темном влечении хорошо сознают верный путь". Чтобы уметь возразить на это, нужно кое-что пережить; но кто действительно убежден в этой цели культуры, т. е. в том, что она должна служить возникновению истинных людей и ни чему иному, и затем обратить внимание на то, как еще теперь, несмотря на весь роскошный показной вид культуры, возникновение таких людей немногим отличается от длительного истязания животных, - тот найдет весьма нужным, чтобы на место этого "темного влечения" было, наконец, поставлено сознательное хотение. И это в особенности еще по другому основанию: именно, чтобы была уничтожена возможность пользоваться для совсем иных целей этим несознающим своей цели стремлением, этим прославленным темным влечением, и вести его на пути, где никогда не может быть достигнута указанная высшая задача - создание гения. Ибо существует род эксплуатируемой и взятой в услужение культуры оглянитесь вокруг себя! И именно те силы, которые деятельнее всего поддерживают культуру, питают при этом задние мысли, и их общение с ней лишено чистого и бескорыстного настроения.

Тут прежде всего мы видим эгоизм приобретателей, который нуждается в содействии культуры и в свою очередь оказывает ей поддержку, но вместе с тем хотел бы предписать ей цель и меру. Отсюда исходит то излюбленное суждение и та цепь заключений, которые гласят приблизительно так: максимум знания и образования, следовательно, максимум потребности, следовательно, максимум производства, следовательно, максимум прибыли и счастья, - такова эта соблазнительная формула. Образование ее сторонники могли бы определить, как знание, с помощью которого становишься в потребностях и их удовлетворении насквозь своевременным, но вместе с тем лучше всего владеешь средствами и путями, чтобы как можно легче добывать деньги. Итак, цель состоит в том, чтобы создать как можно больше ходячих людей, в том смысле, в каком мы называем ходячей монету; и, согласно этому воззрению, народ будет тем счастливее, чем больше в нем будет таких ходячих людей. Поэтому безусловной задачей современных образовательных учреждений должно быть - помогать каждому стать ходячим, насколько это возможно по его природе, развить каждого так, чтобы присущая ему степень постижения и знания давала возможно большую меру счастья и прибыли. Личность должна - так гласит требование - с помощью такого общего образования уметь точно расценивать себя, чтобы знать, что она может требовать от жизни; и в заключение утверждают, что существует естественный и необходимый союз между "интеллигентностью и зажиточностью", между "богатством и культурой", - более того, что этот союз есть нравственная необходимость. Здесь ненавистно всякое образование, которое делает одиноким, которое ставит цели за пределами денег и дохода и связано с потерей большого количества времени; такие более серьезные виды образования обыкновенно обзывают презрительным именем "утонченного эгоизма", "безнравственного эпикурейского наслаждения культурой". Конечно, с точки зрения нравственности, признаваемой этими кругами, ценно прямо противоположное, именно быстрое образование, чтобы поскорее стать существом, приобретающим деньги, но вместе с тем основательное образование, дающее возможность зарабатывать очень много денег. Человеку дозволяется лишь такое количество культуры, какое нужно в интересах общей доходности и мирового хозяйства, но это количество от него и требуется. Словом: "человек имеет необходимое притязание на земное счастье, - поэтому необходима культура, но только поэтому!"

Тут, во-вторых, эгоизм государства, который тоже хочет возможно большего расширения и распространения культуры и имеет в своих руках самые могущественные орудия, чтобы удовлетворить свои желания. При условии, что государство сознает себя достаточно сильным, чтобы уметь не только расковывать, но и вовремя запрягать в ярмо, при условии, что его фундамент достаточно широк и прочен, чтобы выдерживать все здание культуры, распространение образования среди его граждан всегда идет на пользу лишь ему самому, в его соперничестве с другими государствами. Всюду, где теперь говорят о "культурном государстве", его задачей считают освободить духовные силы определенного поколения настолько, чтобы оно могло служить и оказывать помощь существующему порядку, - но и только в этой мере; подобно тому, как лесной ручей частично отводится плотинами, чтобы его уменьшенная сила могла двигать мельницы - тогда как его полная сила была бы скорее

опасна, чем полезна для мельницы. Освобождать - значит здесь вместе с тем и еще в гораздо оольшей мере заковывать в цепи. Стоит вспомнить лишь о том, что стало постепенно из христианства под влиянием государственного эгоизма! Христианство есть несомненно одно из чистейших проявлений описанного влечения к культуре и притом именно к непрерывному созиданию святого; но так как оно в тысяче отношений было использовано для того, чтобы вертеть мельницы государственной власти, оно постепенно стало больным до мозга костей, лицемерным и лживым и выродилось до противоречия со своей первоначальной целью. Даже его последнее событие - немецкая реформация было бы одной внезапной и мимолетной вспышкой, если бы оно не заимствовало незаконно новых сил и нового пламени из возгоравшегося пожара государственной борьбы.

В-третьих, культура поощряется всеми, кто сознает безобразное или скучное содержание жизни и хочет прикрыть его так называемой "прекрасной формой". С помощью внешности, с помощью слов, жестов, украшений, пышности, манерности наблюдатель должен быть приведен к ложному заключению о содержании - в предположении, что о внутренней стороне обычно судят по внешней. Мне иногда кажется, что современные люди наводят друг на друга безграничную скуку, так что находят, наконец, необходимым сделать себя интересным с помощью всякого рода искусств. И вот они заставляют своих художников изготавливать из самих себя пикантное и острое блюдо; они обливают себя пряностями всего востока и запада: - и, конечно, теперь они пахнут весьма интересно, всем востоком и западом. Они устраиваются так, чтобы удовлетворять всякому вкусу; и каждый должен получить угощение, хочется ли ему благоухания или зловония, утонченности или мужицкой грубости, греческого или китайского духа, трагедий или драматизованных непристойностей. Знаменитейшие повара этих современных людей, которые во что бы то ни стало хотят быть интересными и чувствовать интерес, находятся, как известно, у французов, худшие - у немцев. Это для последних, в сущности, утешительнее, чем для первых, и мы ничуть не обижаемся на французов, если они насмеются над нами за недостаток в нас интересного и элегантного, и если, глядя на стремление отдельных немцев к элегантности и манерам, они вспоминают индейца, который хочет иметь кольцо в носу и вопиет, чтобы его татуировали.

И здесь ничто не мешает мне уклониться в сторону. Со времени последней войны с Францией многое в Германии изменилось и переместилось, и ясно, что мы принесли домой, между прочим, и некоторые новые желания относительно немецкой культуры. Эта война была для многих первым путешествием в более элегантную часть света; и как восхитительно кажется беспристрастие победителя, когда он не стыдится научиться культуре у побежденного! В особенности художественному ремеслу неоднократно указывают на необходимость соперничества с более образованным соседом, устройство немецкого дома должно стать похожим на устройство французского, и даже немецкий язык должен, при содействии основанной на французский образец академии, усвоить себе "здоровый вкус" и отделаться от сомнительного влияния, оказанного на него Гете, - как это совсем недавно высказал берлинский академик Дюбуа-Реймон. Наши театры уже давно тихо и почтенно стремятся к той же цели, и даже элегантный немецкий ученый уже найден - и тут, конечно, следует ожидать, что все, что доселе не могло как следует подчиниться этому закону элегантности, - немецкая музыка, трагедия и философия - будет отныне признано не немецким и отброшено в сторону. Но поистине, не стоило бы двинуть пальцем ради немецкой культуры, если бы немец понимал под культурой, которой ему еще недостает и о которой он должен теперь думать, только искусства и манеры, способные сделать жизнь миловидной, включая сюда всю изобретательность танцмейстеров и обойщиков, - если бы и в языке он хотел заботиться лишь об одобренных академией правилах и о некоторой введенной во всеобщее употребление манерности. Более высоких притязаний последняя война и личное сравнение с французами, по-видимому, не возбудили; напротив, меня часто берет подозрение, что немец хотел бы теперь насильственно освободиться от тех старых обязанностей, которые на него возлагают его удивительные дарования, своеобразная меланхолия и глубокомыслие его натуры. Он хотел бы охотнее начать скоморошничать, быть обезьяной, учиться манерам и искусствам, которые делают жизнь занимательной. Но нельзя вообще возвести на немецкий дух большую хулу, чем трактуя его так, как будто он сделан из воска, так что в один прекрасный день к нему можно прилепить и элегантность. И если, к сожалению, верно, что добрая часть немцев охотно готова давать лепить и формировать себя, то в ответ на это надо говорить так часто, пока это не будет услышано: в вас совсем уже не живет та старая немецкая порода, которая, правда, жестка, тверда и полна противодействия, но именно потому, что она есть драгоценнейший материал, над которым могут работать лишь величайшие мастера, ибо они одни его достойны. Напротив, то, что составляет вас, есть размягченный и разжиженный материал; делайте из него что хотите, лепите элегантных кукол и интересных идолов, - и на этом оправдаются слова Рихарда Вагнера: "Немец угловат и неуклюж, когда он хочет казаться изысканным; но он становится возвышенным и превосходит всех, когда запыхает огнем". И элегантные люди имеют все основания опасаться этого немецкого огня, - иначе он может их как-нибудь пожрать вместе со всеми их восковыми куклами и идолами. Впрочем, можно было бы найти еще иной и более глубокий источник этой распространяющейся в Германии склонности к "прекрасной форме": это - та суэта, то, захватывающее дух, улавливание момента, та чрезмерная спешка, которая срывает все вещи еще незрелыми с ветвей, та погоня и скачка, которая проводит ныне борозды по лицу людей и как бы татуирует все, что они делают. Они несутся вперед с неприличной озабоченностью, как будто в них действует какое-то зелье, не дающее им спокойно дышать, - гонимые рабы трех "м" - момента, мнений и моды; так что отсутствие достоинства и благоприличия действительно бросается в глаза уже слишком мучительно и становится необходимой лживая элегантность,

чтобы замаскировать болезненность этой недостойной спешки. Такова именно связь между модной жадностью к прекрасной форме и безобразным содержанием нынешних людей: первая должна скрывать, последнее должно быть скрыто. Быть образованным означает ныне: не давать заметить, как жалок и дурен современный человек, как он хищен в своих стремлениях, как ненасытен в накоплении, как своекорыстен и бесстыден в наслаждении. Мне уже неоднократно возражали, когда я воочию показывал кому-либо отсутствие немецкой культуры: "Но ведь это отсутствие совершенно естественно, потому что немцы были до сих пор слишком бедны и скромны. Дайте нашим согражданам стать сперва богатыми и гордыми самими собой, тогда они будут иметь и культуру!" Пусть вера дает блаженство, этот род веры делает меня несчастным, ибо я чувствую, что та немецкая культура, о которой здесь мечтают, - культура богатства, внешней отделки и манерного актерства - есть враждебнейший противополообраз той немецкой культуры, в которую верю я. Конечно, кому приходится жить среди немцев, тот сильно страдает от пресловутой серости их жизни и их чувств, от бесформенности, тупоумия и тяжкодумства, от неуклюжести в более тонких отношениях, а еще более - от завистливости и некоторой скрытности и нечистоты характера; тяжела и оскорбительна вкоренившаяся любовь к ложному и поддельному, к плохим подражаниям, к неудачным пересадкам хороших иностранных вещей на родную почву; теперь же, когда еще присоединилось худшее зло - лихорадочное беспокойство, погоня за успехом и добычей и переоценка момента, - вызывает величайшее негодование мысль, что все эти болезни и слабости никогда не будут в корне излечены, а всегда лишь будут закрашиваться - подобной "культурой интересной формы"!" И это - у народа, который создал Шопенгауэра и Вагнера! И еще часто должен создавать! Или, может быть, мы безнадежно обманываемся? Может быть, эти гении совсем не представляют ручательства, что подобные же силы действительно присущи немецкому духу и уму? Может быть, они сами - только исключение, как бы последние отроги и отводки качеств, которые некогда считались немецкими? Я не могу решить этого вопроса и потому возвращаюсь к пути общего размышления, от которого слишком часто отвлекают меня тревожные сомнения. Еще не все силы были перечислены, которые хотя и содействуют культуре, но не признают ее цели - создания гения; я назвал три из них - эгоизм приобретателей, эгоизм государства и эгоизм всех, кто имеет основание скрываться и прятаться под внешней формой. Я называю, в-четвертых, эгоизм науки и своеобразную сущность ее служителей - ученых.

Наука относится к мудрости, как добродетельность к жажде святости: она холодна и суха, не имеет любви и ничего не знает о глубоком чувстве неудовлетворенности и тоскующего стремления. Она столь же полезна самой себе, сколь вредна своим служителям, поскольку она переносит на них свой собственный характер и тем мертвит их человечность. Пока под культурой разумеют, главным образом, содействие, она проходит с беспощадной холодностью мимо великого страдающего человека, потому что наука видит всюду лишь проблему познания и потому что в пределах ее мира страдание в собственном смысле есть нечто недопустимое и непонятное, т. е. в лучшем смысле опять-таки лишь проблема.

Но когда человек причащается превращать каждый опыт в диалектическую игру вопросов и ответов и в чисто головное дело, то изумительно, как скоро он засыхает в подобной деятельности и едва ли не превращается в стучащий костями скелет. Каждый знает и видит это; каким же образом случается, что юноши тем не менее несколько не пугаются таких скелетов и постоянно сызнава слепо, безвольно и безмерно отдаются наукам? Ведь это не может проистекать из мнимого "влечения к истине"; ибо как вообще могло бы существовать влечение к холодному, чистому, бесплодному познанию? Напротив, непредубежденный взор вполне ясно может усмотреть, каковы подлинные движущие силы в служителях науки; и следует посоветовать начать наконец исследовать и анатомировать ученых, после того как они сами приучились дерзко ощупывать и разлагать все на свете, в том числе и высшие святыни. Если говорить вполне откровенно, то мое суждение гласит: ученый состоит из сложного сплетения весьма различных побуждений и импульсов; он - безусловно нечистый металл. Возьмите прежде всего сильную и все растущую жажду новизны, искание познавательных авантур, непрерывно действующую силу нового и редкого в противоположность старому и скучному. Присоедините к этому некоторый инстинкт диалектической игры и выслеживания, охотничью любовь к лукавым обходам мысли, так что собственно ищут не истину, а само искание, и главное наслаждение состоит в том, чтобы хитро прокрадываться, окружать и умерщвлять по правилам искусства. Сюда привступает еще страсть к противоречию: личность хочет чувствовать себя отличной от всех других и давать себя чувствовать другим; борьба становится удовольствием, и личная победа - целью, тогда как борьба за истину есть только предлог. Далее ученому в значительной мере присуща склонность открывать некоторые "истины", именно из покорности к известным господствующим лицам, кастам, мнениям, церквям, правительствам, ибо он чувствует, что приносит себе пользу, приводя "истину" на их сторону. Менее постоянно, но все же довольно часто ученый обнаруживает следующие качества. Во-первых, прямоту и любовь к простоте - весьма ценные свойства, если они не сводятся к одной лишь неловкости и неопытности в симуляции, для которой ведь требуется некоторое остроумие. И действительно, всюду, где особенно бросаются в глаза остроумие и ловкость, нужно немного остерегаться и подвергать сомнению прямоту характера. С другой стороны, это прямоту по большей части немногого стоит и лишь редко приносит пользу даже наукам, потому что оно ограничивается областью привычного и склонно говорить истину лишь относительно простых или безразличных вещей, ибо здесь инертности более соответствует говорить истину, чем ее умалчивать. И так как все новое заставляет людей переучиваться, то прямоту почитает, насколько это возможно, старое мнение и упрекает возвестителя

нового в том, что ему недостает *sensus recti*. Оно сопротивлялось учению Коперника несомненно потому, что имело здесь за себя наглядную видимость и привычку. Нередкая у ученых ненависть к философии есть прежде всего ненависть к длинным цепям умозаключений и к искусственности доказательств. В сущности даже каждое поколение ученых имеет естественную меру дозволенной пытливости; что выходит за эти пределы, подвергается сомнению и служит почти основанием, чтобы заподозрить прямоту. Во-вторых, острота зрения вблизи, соединенная с сильной близорукостью в отношении далекого и общего. Поле зрения ученого обыкновенно очень невелико, и он должен приближать глаза вплотную к предмету. Если ученый хочет перейти от одной исследованной точки к другой, то он должен передвинуть весь зрительный аппарат к этой точке. Он разлагает картину на отдельные пятна, подобно человеку, который пользуется биноклем, чтобы смотреть на сцену, и видит то голову, то кусок платья, но никогда ничего целого. Эти отдельные пятна он никогда не видит в их соединении, а лишь заключает об их связи, поэтому общее не производит на него сильного впечатления. Он оценивает, например, произведение по его отдельным частям, или положениям, или ошибкам, не будучи в состоянии обозреть его в целом; он мог бы утверждать, что картина, написанная масляными красками, есть дикая куча мазков. В-третьих, трезвость и обыденность его натуры во всех ее склонностях и антипатиях. Это свойство особенно помогает ему в истории, поскольку он выслеживает мотивы прошедших людей по знакомым ему мотивам. Норка крота - самое подходящее для крота место. Он защищен от всех искусственных и широко захватывающих гипотез; при упорстве он раскапывает все обыденные мотивы прошлого, потому что чувствует их близкими себе. Правда, именно поэтому он по большей части не способен понимать и ценить редкое, великое и необычное, т. е. важное и существенное. В-четвертых, бедность чувством и сухость. Она делает его способным даже к вивисекциям. Он не чувствует страдание, которое часто несет с собой познание, и потому не чувствует страха в областях, где у других людей содрогается сердце. Он холоден и потому легко кажется жестоким. Его считают также смелым, но он не смел, - как нельзя назвать смелым мула, который не знает головокружения. В-пятых, низкая самооценка, скромность. Осужденные жить в жалком углу, они не чувствуют, что приносят себя в жертву и растрачивают себя; они, по-видимому, в глубине души знают, что они - животные пресмыкающиеся, а не летающие. Это качество придает им даже трогательность. В-шестых, верность своим учителям и вождям. Им они хотят помочь от всей души и хорошо знают, что лучше всего помогут им истиной. Они благодарны своим учителям, потому что получили через их посредство доступ в величественные хоромы науки, куда они никогда не пришли бы на собственном пути. Кто в настоящее время умеет быть учителем и открыть новую область, в которой посредственные умы могут работать с некоторым успехом, тот сейчас же становится знаменитым человеком: так велик прилетающий к нему рой. Правда, каждый из этих верных и благодарных есть вместе с тем беда для учителя, так как все они подражают ему, и именно его недостатки кажутся чрезмерно большими и преувеличенными, выступая на таких маленьких людях, тогда как, наоборот, достоинства учителя представлены в этих людях соответственно уменьшенными. В-седьмых, привычное шествование по пути, на который ученого толкнули, любовь к истине, основанная на безмыслии, в силу раз принятой привычки. Такие натуры суть собиратели, объяснители, составители гербариев и указателей; они учатся и ищут в пределах данной области просто потому, что никогда не думали, что есть еще другие области. В их трудолюбии есть что-то, напоминающее чудовищную глупость силы тяготения; и потому они часто многое осуществляют. В-восьмых, бегство от скуки. Тогда как подлинный мыслитель ни к чему так не стремится, как к досугу, обычный ученый бежит от досуга, потому что не знает, что с ним начать. Его утешители - книги, т. е. он слушает, как мыслит другой, и это занятие сокращает ему долгий день. В особенности он выбирает книги, которыми как-нибудь возбуждается его личное участие, где он может, в силу симпатии или антипатии, перейти в некоторое состояние аффекта, т. е. книги, в которых подвергается рассмотрению он сам или его сословие, его политическое, или эстетическое, или даже лишь грамматическое мнение; а если у него есть собственная наука, то у него никогда нет недостатка в средствах развлечения и всегда есть возможность прогнать скуку убиванием мух. В-девятых, мотив хлебного заработка, т. е., в сущности, знаменитые "борбо-ригмы большого желудка". Истине служат, когда она в состоянии доставлять жалование и лучшие места, или, по крайней мере, приобретать расположение тех, в чьих руках - насущный хлеб и почет. Но и только этой истине служат: благодаря чему можно провести границу между полезными истинами, которым служат многие, и истинами бесполезными; последним же отдаются лишь немногие, те, к кому неприменимы слова: *ingenii largitor venter*. В-десятых, почтение перед другими учеными, боязнь их неодобрения; более редкий, но более высокий мотив, чем предыдущий, - впрочем, тоже весьма распространенный. Все члены цеха ревниво следят друг за другом и озабочены, чтобы истина, от которой зависит так много - пропитание, должность, почесть, - была действительно окрещена именем того, кто ее открыл. Человеку, открывшему истину, стараются отдать должный почет, чтобы требовать того же для себя на случай, если сам когда-нибудь откроешь истину. Ложь и заблуждение разрушают с громким треском, чтобы число конкурентов не было слишком велико; но иногда так же громко разрушают подлинную истину, чтобы по крайней мере на короткое время открыть простор для упорных и дерзких заблуждений; ведь нигде, а следовательно и здесь, нет недостатка в "моральных идиотизмах", которые обычно зовутся мошенничествами. В-одиннадцатых, ученый из тщеславия, уже более редкая разновидность. Он по возможности хочет иметь в своем исключительном распоряжении отдельную область и потому выбирает всякого рода редкости, в особенности, если они требуют исключительных расходов, путешествий, раскопок, многочисленных связей в различных странах. Он

удовлетворяется по большей части честью быть самому редкостным явлением и не думает зарабатывать себе хлеб своими учеными занятиями. В-двенадцатых, ученый из инстинкта игры. Его забава состоит в том, чтобы отыскивать узелки в науках и распутывать их; он стремится при этом не слишком напрягаться, чтобы не потерять чувства игры. Поэтому он и не заходит слишком глубоко, но часто воспринимает то, чего никогда не видит цеховой ученый своим тяжело ползущим взором. Если я, наконец, в-тринадцатых, укажу на влечение к справедливости, как на мотив ученого, то мне могут возразить, что это благородное влечение, имеющее уже метафизический смысл, слишком трудно отличить от других мотивов и что оно, в сущности, неуловимо и неопределимо для человеческого взора; итак, я присоединяю этот последний пункт с благочестивым пожеланием,

чтобы это влечение встречалось среди ученых чаще и было могущественнее, чем о том свидетельствует видимость. Ибо даже одна искра огня справедливости, запав в душу ученого, может осветить и сжечь очищающим пламенем его жизнь и стремление, так что у него уже не станет покоя и он навсегда будет изгнан из того тепловатого или морозного настроения, в котором обычный ученый выполняет свое ремесло.

Представим себе, что мы смешали и хорошенько взболтали все эти элементы, или большинство, или некоторые из них, - и мы имеем происхождение служителя истины. Весьма любопытно, как здесь, в интересах, в сущности, внечеловеческого и сверхчеловеческого дела, чистого и самодовлеющего, а следовательно, и бесстрастного познания, сливается и входит в химическое соединение множество мелких, весьма человеческих интересов и влечений и как результат этого соединения - ученый - представляется в свете этого небесного, высокого и безусловно чистого дела столь преображенным, что совсем забывается та мешанина, которая нужна для его создания. Но есть моменты, когда приходится думать и напоминать как раз об этом: именно когда речь идет о значении ученого для культуры. Кто умеет наблюдать, тот замечает, что ученый по своему существу неплодотворен - результат его происхождения! - и что он испытывает некоторую исконную ненависть к плодотворным людям, поэтому-то во все времена гении и ученые враждовали между собой. Дело в том, что последние хотят убивать природу, разлагать и постигать ее, первые же хотят обогащать природу новой живой природой; отсюда противоречие в их настроениях и деятельности. Вполне счастливые эпохи не нуждались в ученом и не знали его, совершенно больные и хмурые эпохи ценили его как высшего и достойнейшего человека и отдавали ему первое место.

Где тот врач, который знал бы, в какой мере наша эпоха здорова или больна? Бесспорно, что и теперь еще в весьма многих отношениях оценка ученого слишком высока и потому действует вредно, в особенности на условия развития гения. Нужды гения не находят отклика в сердце ученого, он его отчитывает суровым, холодным голосом и пожимает плечами, как будто встретился с чем-то странным и нелепым, на что у него нет ни времени, ни охоты. У него тоже не найти знания цели культуры.

Что же уяснилось нам вообще из всех этих размышлений? Что всюду, где, по-видимому, теперь живет всего поощряется культура, нет никакого сознания ее цели. Пусть государство громко претендует на заслуги в области культуры, - оно поощряет ее только для себя и не понимает цели высшей, чем свое благо и свое существование. Цель желаний приобретателей в их неустанном требовании обучения и образования есть все-таки лишь приобретение. Если нуждающиеся в красивой форме приписывают себе подлинную работу над культурой и, например, полагают, что все искусство принадлежит им и должно служить их потребностям, то ясно лишь одно: утверждая культуру, они утверждают лишь самих себя; следовательно, и их отношение к культуре основано на недоразумении. Об ученом было сказано достаточно. Сколь усердно все четыре силы совместно размышляют над тем, как им помочь себе при посредстве культуры, столь же вялы и безмысленны они, когда не затронут их интерес. И потому условия возникновения гения не улучшились в новое время, и отвращение к оригинальным людям настолько возросло, что Сократ не мог бы жить у нас и во всяком случае не мог бы дожить до семидесяти лет.

Но я напомним о том, что я развил в третьем отделе: что весь наш современный мир отнюдь не представляется столь прочным и длительным, чтобы можно было предсказать вечное существование и его понимание культуры. Нужно, наоборот, считать даже вероятным, что ближайшее тысячелетие додумается до таких новинок, от которых поднялись бы дыбом волосы на голове каждого нынешнего человека. Вера в метафизическое значение культуры сама по себе, пожалуй, еще не испугала бы, но страшными, быть может, показались бы некоторые выводы из нее в применении к воспитанию и к школьному делу.

Нужно, правда, совершенно необычное размышление, чтобы отвлечься от нынешних воспитательных учреждений и всмотреться в те совершенно инородные и чужеродные организации, которые, быть может, признает нужными уже следующее за нами или третье поколение. В то время как усилия нынешних воспитателей направлены на создание либо ученого, либо чиновника, либо приобретателя, либо филистера образования, либо, наконец и чаще всего, смеси из них всех, эти еще неоткрытые учреждения будущего преследовали бы более трудную задачу, - впрочем, не более трудную по существу, так как это - более естественная и постольку и более легкая задача; и что, например, труднее, чем насильственно изготовлять из юноши ученого, как это теперь делается? Но трудность лежит для человека в том, чтобы переучиваться и ставить себе новую цель; и потребуются невыразимые усилия, чтобы заменить новой идеей основы нашего нынешнего воспитания, корни которого лежат в средневековье и которому, как цель законченного образования, преподносится собственно тип

средневекового ученого. Пора уже ясно представить себе эти противоречия; ибо какое-нибудь поколение должно же начать борьбу, в которой суждено победить позднему поколению. Уже теперь отдельный человек, поняв эту новую основную идею культуры, стоит на распутьи: если он пойдет по одному пути, он будет любезен своему времени, оно не поскупится на венки и награды для него, могущественные партии будут его поддерживать, за его спиной будет стоять столько же единомыслящих, сколько стоит впереди него; и когда первый в ряду произносит лозунг, его подхватывают во всех рядах. Здесь первая обязанность - сражаться рука об руку, вторая же - считать врагами всех, кто не хочет стоять в одном ряду с другими. Другой путь сводит его с более редкими попутчиками, он труднее, сложнее и круче; идущие по первому пути высмеивают того, кто следует по второму пути, как более трудному и опасному, и пытаются переманить его к себе. Когда оба пути где-либо скрещиваются, то его обижают, оттесняют или оставляют в одиночестве, пугливо сторонясь его. Что же означает для этих разнородных путников обоих путей организация культуры? Та огромная толпа, которая теснится на первом пути к своей цели, понимает под ней учреждения и законы, которые вносят порядок в ее жизнь и движение и изгоняют всех строптивых и одиноких, всех стремящихся к более высоким и отдаленным целям. С точки зрения этой последней, меньшей группы, организация культуры, конечно, должна преследовать совсем иную цель: она хотела бы, опираясь на прочную организацию, предупредить, чтобы огромная толпа не разогнала ее в разные стороны и не затопила, чтобы составляющие ее личности не погибали от преждевременного истощения и не отвлекались от их великой задачи. Эти личности должны осуществить свое дело - в этом смысл их единения; и все, участвующие в организации, должны стараться путем взаимопомощи и непрерывного очищения своей жизни подготавливать рождение гения и созревание его дела. Немало людей, даже из числа второстепенных и третьестепенных дарований, предназначены для такого содействия, и лишь подчиняясь этому назначению, получают сознание, что живут ради обязанностей и что их жизнь имеет цель и значение. Теперь же соблазнительный голос нынешней модной "культуры" отвлекает именно эти дарования с их пути и заглушает их инстинкт: это искушение обращается к их своекорыстным побуждениям, к их слабостям и тщеславию, и дух времени шепчет им с лживым усердием: "Следуйте за мной и не идите туда! Ибо там вы - лишь слуги, помощники, орудие, там вы теряетесь в свете высших натур, не пользуетесь своим своеобразием, там вас тянут за нити и заключают в оковы, как рабов и даже как автоматов: здесь, у меня, вы - господа, вы наслаждаетесь своей свободной личностью, ваши дарования могут блистать, вы сами будете стоять в передних рядах, огромная свита будет толпиться вокруг вас, и клич общественного мнения доставит вам, конечно, больше наслаждения, чем высокомерно-милостивое одобрение, исходящее от холодных эфирных высот гения". Таким соблазнам поддаются лучшие люди; и, в сущности, решающей здесь является не столько исключительность и сила дарования, сколько влияние некоторого общего героического настроения и степень внутреннего сродства и слияния с гением. Ибо есть люди, которые ощущают как свою нужду, когда видят мучительную борьбу гения и грозящую ему опасность саморазрушения, или когда его произведения равнодушно отстраняются близоруким эгоизмом государства, плоскомыслием приобретателей, сухим самодовольством ученых; и потому я надеюсь также, что найдутся люди, которые поймут, что я хотел сказать, изображая судьбу Шопенгауэра, и куда, по моему мнению, должен нас вести Шопенгауэр как воспитатель.

7

Но оставим в стороне все мысли о далеком будущем и о возможном перевороте в деле воспитания; спрашивается, что нужно в настоящее время желать и, в случае надобности, доставлять тому, кто готовится быть философом, чтобы он вообще мог передохнуть и чтобы ему было обеспечено, конечно, не легкое, но все же возможное существование Шопенгауэра? Что, кроме того, нужно было бы изобрести, чтобы сделать более вероятным его воздействие на современников? И какие препятствия должны быть устранены, чтобы прежде всего сделать действительно влиятельным его пример, чтобы философ мог воспитывать философов? Здесь наши размышления входят в область практического и щекотливого.

Природа всегда хочет быть общепользой, но она не всегда умеет найти для этой цели лучшие и удобнейшие средства и приемы; в этом - ее великое страдание, поэтому она грустна. Что созданием философа и художника она хотела сделать человеку бытие понятным и значительным - это ясно из ее собственного влечения к искуплению; но как неверно, как слабо и бледно действие, которое она в большинстве случаев достигает с помощью философов и художников! Как редко это действие вообще имеет место! Особенно большие затруднения доставляет ей общепользное применение философа; она подвигается здесь как бы на ощупь и с помощью случайных догадок, так что ее намерения бесчисленное множество раз не удаются и большинство философов не становятся общепользными. Поведение природы кажется расточительностью, но это расточительность не от буйной роскоши, а от неопытности; можно предполагать, что, будь она человеком, ее досада на себя и на свою неумелость была бы безгранична. Природа пускает философа, как стрелу, в людей; она не целится, но надеется, что стрела куда-нибудь попадет. При этом она множество раз ошибается и испытывает огорчение. В области культуры она столь же расточительна, как когда сажает и сеет. Своих целей она достигает на один общий и тяжеловесный лад; и при этом она растрчивает слишком много сил. Отношение между художником, с одной стороны, и знатоками и любителями его искусства - с другой, таково же, как отношение между тяжелой артиллерией и несколькими воробьями. Это есть образ действия, свойственный наивному усердию: катить лавину, чтобы сдвинуть немного снега, убить человека, чтобы согнать муху с его носа.

Художник и философ свидетельствуют против целесообразности средств природы, хотя они представляют блестящее доказательство мудрости ее целей. Они действуют лишь на немногих, а должны действовать на всех; и даже в этих немногих философ и художник попадают не с той силой, с какой они посылают свой заряд. Печально, что приходится столь различно оценивать искусство как причину и искусство как действие! Сколь грандиозно оно как причина и сколь слабо, наподобие тихого отголоска, в своем действии! Нет сомнения, художник созидает свое творение согласно воле природы, для блага других людей; и тем не менее он знает, что никогда уже никто из этих других людей не будет понимать и любить его творение так, как он сам понимает и любит его. Итак, эта высокая и единственная степень любви и понимания, в силу неумелого распоряжения природы, необходима для того, чтобы возникла низшая степень того и другого; более высокое и благородное употреблено как средство для возникновения более ничтожного и низменного. Природа хозяйствует неразумно, ее расходы значительно превышают достигаемый ею доход; при всем своем богатстве она когда-нибудь должна разориться. Она устроилась бы разумнее, если бы руководилась хозяйственным правилом: мало издержек и стократный доход; если бы, например, существовало лишь немного художников, и притом сравнительно несильных, но зато множество воспринимающих и наслаждающихся искусством, и если бы последние имели более сильную и могущественную натуру, чем сами художники, - так, чтобы действие художественного произведения было в сто раз сильнее его самого. Или, по меньшей мере, можно было бы ожидать, что причина и действие будут равносильными; но как мало природа удовлетворяет это ожидание! Часто похоже, что художник, а тем более философ, случай для своей эпохи, что они отшельники или заблудившиеся путники в чужом обществе. Попробуйте только прочувствовать всей душой, всецело и до конца, как велик Шопенгауэр и как мало, как бессмысленно его влияние! Ничто не может быть постыднее именно для честных людей нашей эпохи, чем видеть, сколь случайным является в ней Шопенгауэр и какие силы и препятствия ослабили его влияние. Сначала и долго ему препятствовало отсутствие читателей - к вечному позору для нашего литературного периода; затем, когда читатели пришли, - неумеренность его первых публичных свидетелей; еще более, мне кажется, отупение всех современных людей в отношении книг, которые они решительно отказываются брать всерьез: постепенно сюда присоединилась еще одна опасность, возникшая из многочисленных попыток приспособить Шопенгауэра к слабосильной эпохе или потреблять его как чужеродную и заманчивую пряность, как своего рода метафизический перец. Правда, он постепенно стал известен и знаменит, и я думаю, что уже теперь его имя знает большее число людей, чем имя Гегеля; и все же он еще отшельник, все же его действие еще не обнаружилось! Менее всего честь противодействия ему принадлежит его литературным противникам и хулителям, во-первых, потому, что каждого, кто на это способен, они непосредственно приводят к Шопенгауэру, ибо кого же может убедить погонщик ослов не ездить на прекрасном коне, как бы он ни расхваливал своего осла за счет коня?

Но кто понял неразумие в природе нашего времени, тот будет искать средства против него: его задачей будет ознакомить с Шопенгауэром свободные умы и всех, кто глубоко страдает от нашего времени, собрать их, создать из них течение, чтобы с помощью его преодолеть ту неумелость, которую природа обнаружила здесь, как и обычно, при употреблении философа. Такие люди усмотрят, что одни и те же препятствия мешают действию великой философии и преграждают путь созданию великого философа; поэтому они могут определить свою задачу как подготовку воссоздания Шопенгауэра, т. е. философского гения. Но то, что сопротивлялось с самого начала действию и распространению его учения и что стремится также всеми средствами загубить и это возрождение философа, есть, коротко говоря, вычурность современной человеческой натуры; поэтому все, кто на пути стать великими людьми, должны растратить невероятную силу, чтобы только спасти себя самих от этой вычурности. Мир, в который они теперь вступают, опутан сетью уловок; это - отнюдь не обязательно религиозные догматы, но и такие скользкие понятия, как "прогресс", "общее образование", "национальность", "современное государство", "борьба за культуру"; можно даже сказать, что все общие слова носят теперь на себе искусственное и неестественное одеяние, и поэтому более светлая позднейшая эпоха признает наше время в высшей степени уродливым и искаженным, как бы громко мы ни кичились нашим "здоровьем". Красота античных сосудов, говорит Шопенгауэр, лежит в том, что они так наивно выражают то, для чего они предназначены; и то же применимо ко всей остальной утвари древних: чувствуешь, что если бы природа сама создала вазы, амфоры, лампы, столы, стулья, шлемы, щиты, панцири и прочее, они имели бы именно такой вид. Напротив: кто теперь смотрит, как почти каждый возится с искусством, государством, религией, культурой, - по многим основаниям мы умалчиваем о наших "сосудах", - тот находит у людей некоторую варварскую произвольность и чрезмерность выражений, и развивающемуся гению более всего мешает то, что в его время в ходу такие чудные понятия и такие капризные потребности; это та свинцовая тяжесть, которая столь часто незаметно и необъяснимо лежит на его руке, когда он ведет свой плуг: и даже величайшие его произведения, насильственно освобождаясь от этого давления, должны до известной степени нести на себе признаки этой насильственности.

Отыскивая условия, с помощью которых в счастливейшем случае прирожденный философ не будет по крайней мере задавлен этой современной вычурностью, я замечаю нечто знаменательное: это - отчасти именно те условия, в которых, в общем и целом, вырос сам Шопенгауэр. Правда, не было недостатка и в противодействующих условиях: так, в лице его тщеславной и изысканной матери ему угрожала близость этой вычурности нашего времени. Но гордый и республикански свободный характер его отца как бы спас его от матери и дал ему первое,

что необходимо философу: непоколебимую и суровую мужественность. Отец его не был ни чиновником, ни ученым: он часто путешествовал с юношей по чужим странам - условие, благоприятствующее тому, кто хочет знать не книги, а людей, и почитать не правительство, а истину. Своевременно он стал нечувствительным к национальным ограничениям или научился остро сознавать их; он жил в Англии, Франции и Италии, как на родине, и чувствовал немалую симпатию к испанскому духу. В общем он не почитал за особую честь быть рожденным именно среди немцев; и я даже не знаю, переменял ли бы он свое мнение при новых политических условиях. О государстве он, как известно, полагал, что его единственная цель - давать охрану внешнюю, охрану внутреннюю и охрану против охранителей и что, когда ему приписывают еще иные цели, помимо охраны, это легко может угрожать его истинной цели: поэтому он, к ужасу так называемых либералов, завещал свое имущество вдовам и сиротам тех прусских солдат, которые в 1848 году пали в борьбе за порядок. Вероятно, отныне все более будет признаком духовного превосходства, если кто умеет просто смотреть на государство и его обязанности: ибо у кого есть в душе *furor philosophicus*, у того уже не будет времени для *furor politicus*; и такой человек мудро остережется читать каждый день газеты, а тем более служить какой-либо партии; хотя он ни на мгновение не поколеблется в случае действительной нужды своего отечества быть на своем посту. Все государства, в которых о политике должны заботиться, кроме государственных деятелей, еще другие люди, плохо устроены и заслуживают того, чтобы погибнуть от этого множества политиков.

Другое весьма благоприятное для Шопенгауэра условие состояло в том, что он не сразу был предназначен и воспитан для ученой карьеры, но некоторое время, хотя и с отвращением, работал в купеческой конторе и во всяком случае всю свою юность вдыхал более свежую атмосферу крупного торгового дома. Ученый никогда не может стать философом; даже Кант не смог стать им, а, несмотря на врожденное влечение своего гения, до конца оставался как бы в состоянии неразвернувшейся куколки. Кто думает, что в этих словах я несправедлив к Канту, тот не знает, что такое философ: ибо философ - не только великий мыслитель, но и настоящий человек; а когда же ученый мог стать настоящим человеком? Кто между собою и вещами ставит понятия, мнения, прошедшие времена и книги, т. е. кто в широчайшем смысле слова рожден для истории, тот никогда не увидит вещи впервые и никогда не будет сам такой впервые виданной вещью; у философа же то и другое стоит в связи, так как наибольшее поучение он приобретает из себя самого и так как он служит самому себе копией и сокращенным выражением всего мира. Если же кто созерцает себя в свете чужих мнений, то не удивительно, что он и в себе не видит ничего, кроме - чужих мнений! И таковы ученые, так они живут и созерцают. Напротив, Шопенгауэр имел неопишемое счастье видеть гения вблизи - не только в себе, но и вне себя, в Гете; это двойное отражение основательно научило и умудрило его относительно всех ученых целей и культур. Благодаря этому опыту он знал, каким должен быть свободный и сильный человек, к которому стремится всякая художественная культура; мог ли он после того, что он видел, иметь много охоты заниматься так называемым "искусством" по ученой или сверхкритической манере современных людей? Ведь он видел даже нечто еще более высокое: страшную небесную картину суда, в которой вся жизнь, даже высшая и совершенная, была взвешена и найдена слишком легкой; он видел святого, как судью бытия. Невозможно определить, как рано Шопенгауэр узрел эту картину жизни, и притом именно в той форме, в какой он позднее пытался передать ее во всех своих произведениях; можно доказать, что уже юноша - и хотелось бы верить, что уже ребенок - имел это страшное видение. Все, что он позднее усваивал из жизни и книг, из всех областей науки, служило ему почти лишь краской и средством изображения; даже философией Канта он воспользовался прежде всего как исключительным риторическим орудием, с помощью которого, как ему казалось, он мог еще отчетливее высказаться об этой картине; и той же цели у него по временам служила буддистская и христианская мифология. Для него существовала только одна задача и сотни тысяч средств, чтобы разрешить ее; один смысл и бесчисленные иероглифы, чтобы его выразить.

К прекрасным условиям его существования принадлежало то, что он действительно мог жить для такой задачи, согласно его девизу: *vitam impendere vero*, и что его не пригибала никакая подлость, связанная с жизненной нуждой; известно, как горячо он благодарил своего отца именно за это; тогда как в Германии теоретический человек по большей части осуществляет свое научное назначение за счет чистоты своего характера, как "бесцеремонный пройдоха", ищущий мест и почестей, осторожный, гибкий и льстивый в отношении влиятельных лиц и начальников. К сожалению, Шопенгауэр ничем не обидел многочисленных ученых более, чем своим несходством с ними.

8

Этим указаны некоторые условия, при которых философский гений в наше время может по крайней мере возникнуть, несмотря на вредные противодействия: свободная мужественность характера, раннее знание людей, отсутствие ученого воспитания, патриотической узости, нужды зарабатывать хлеб и связи с государством, - словом, свобода и опять свобода: та дивная и опасная стихия, в которой дано было возрости греческим философам. Кто захочет упрекнуть его в том, в чем Нибур упрекал Платона, - именно, что он был плохим гражданином, тот пусть упрекает; он будет прав, - и Платон также. Другой увидит в этой великой свободе самопревознесение; он также будет прав, ибо он сам не мог бы ничего поделать с такой свободой, и несомненно весьма превознес бы себя, если бы желал ее для себя. Эта свобода есть действительно великая вина; и лишь великими делами ее можно искупить. Поистине, всякий средний сын земли имеет право смотреть с озлоблением

на такое привилегированное существо; пусть только сохранит его Бог от этой привилегии, которая равносильна ужасной обязанности. Ведь он бы тотчас же погиб от своей свободы и своего одиночества и стал бы глупцом, - злостным глупцом от скуки.

Быть может, тот или иной отец будет в состоянии научиться чему-либо из вышесказанного и сделать какое-либо практическое применение в отношении домашнего воспитания своего сына; хотя, поистине, нельзя ожидать, чтобы отцы захотели иметь сыновьями непременно философов. Вероятно, во все времена отцы восставали против философствования своих сыновей, как против величайшей причуды; как известно, Сократ пал жертвой гнева отцов за "развращение юношества", и Платон по тем же основаниям считал необходимым создание совершенно нового государства, чтобы не ставить возникновение философов в зависимость от неразумия отцов. И почти похоже на то, как будто Платон действительно чего-то достиг. Ибо современное государство причисляет содействие философии к своим задачам и стремится во всякое время осчастливить известное число людей той "свободой", в которой мы видим самое существенное условие для возникновения философа. Но с Платоном в истории приключилось странное несчастье: как только когда-либо возникало создание, которое в существенных чертах соответствовало его предложениям, оно оказывалось при ближайшем рассмотрении подмененным детенышем кобальда, безобразным подкидышем - каким было, например, средневековое жреческое государство по сравнению с тем владычеством "сыновей богов", о котором мечтал Платон. Современное государство, правда, бесконечно далеко от мысли сделать властителями именно философов - и слава Богу! прибавит каждый христианин; но нужно наконец рассмотреть, соответствует ли даже содействие философии, как оно его понимает, Платоновскому духу, я хочу сказать: настолько ли это содействие серьезно и искренно, как если бы его целью было созидание новых Платонов. Если обычно философ кажется случайным в своей эпохе, то действительно ли государство ставит себе теперь задачу сознательно превратить эту случайность в необходимость, т. е. и в этом отношении помочь природе?

К сожалению, опыт свидетельствует нам об ином; он говорит, что ничто так не препятствует созиданию и размножению великих философов милостью природы, как плохие философы милостью государства. Щекотливая тема, не правда ли? - та самая тема, на которую, как известно, впервые обратил внимание Шопенгауэр в своем знаменитом трактате об университетской философии. Я возвращаюсь к этому предмету, ибо надо заставить людей относиться к нему серьезно, т. е. действительно реагировать на него, и я считаю бесполезным каждое написанное слово, за которым не стоит такой призыв к действию; во всяком случае полезно снова демонстрировать вечно справедливые суждения Шопенгауэра, и притом прямо в отношении к нашим ближайшим современникам, ибо добродушные люди могут подумать, что со времени его тяжких обвинений все в Германии переменялось к лучшему. Его дело не доведено до конца даже и в этом пункте, как бы ничтожен он не был.

При ближайшем рассмотрении эта "свобода", которой государство ныне, как я сказал, хочет осчастливить некоторых людей ко благу философии, оказывается вообще не свободой, а должностью, которая кормит приставленного к ней человека. Содействие философии состоит, следовательно, лишь в том, что государство в настоящее время дает возможность по крайней мере нескольким людям жить с помощью их философии, благодаря тому, что они могут делать из нее хлебный заработок; тогда как старые мудрецы Греции не состояли на жаловании у государства, а разве только получали от него в почетный дар, как Зенон, золотой венец и гробницу на Керамике. Полезно ли для истины, когда указывают путь, на котором она может служить источником дохода, на это я не могу дать общего ответа, ибо здесь все зависит от свойств и годности отдельного человека, которому открывают этот путь. Я легко могу себе представить такую степень гордости и самоуважения, при которой человек говорит своим ближним: заботьтесь вы обо мне, - у меня есть более существенное дело - именно забота о вас. У Платона и Шопенгауэра такая высота настроения и его выражения не удивила бы нас; и потому именно они могли бы быть даже университетскими философами (Платон и бывал временами придворным философом), не унижая достоинства философии. Но уже Кант был, как обычно бывает наш брат ученый, осторожным, покорным и лишенным величия в своем отношении к государству; так что он во всяком случае не мог бы оправдать университетскую философию, если бы она когда-либо была обвинена. Но если есть натуры, которые могли бы ее оправдать, - именно натуры в роде Шопенгауэра и Платона, - то я боюсь одного: они никогда не будут иметь повода к тому, ибо никогда государство не осмелится покровительствовать таким людям и принимать их на такие должности. Почему именно? Потому что каждое государство боится их и всегда будет покровительствовать лишь тем философам, которых оно не боится. Дело в том, что иногда государство вообще боится философии, и именно в этом случае оно тем более будет стремиться привлекать к себе философов, чтобы иметь вид, как будто на его стороне философия, так как на его стороне эти люди, которые носят ее имя, и все же совсем не страшны. Но если бы нашелся человек, который действительно обнаружил бы намерение подходить с ножом истины ко всему, и в том числе к государству, то государство, так как оно прежде всего заботится о своем существовании, в праве освободиться от такого человека и относиться к нему как к своему врагу; подобно тому, как оно исключает и гонит религию, которая ставит себя выше его и хочет быть его судьей. Итак, если кто согласен быть философом милостью государства, то он должен также согласиться, чтобы на него смотрели, как будто он отказался выслеживать истину во всех потаенных уголках. По крайней мере пока ему покровительствуют и он занимает должность, он должен признавать над истиной еще

нечто высшее, - именно государство; и не одно лишь государство, а вместе с тем и все, что нужно для блага государства: например, известную форму религии, общественного устройства, военной службы - на всех таких вещах написано "не тронь меня". Уяснил ли себе когда-либо университетский философ весь объем своего обязательства и самоограничения? Я не знаю этого; но если он уяснил себе это и все же остался чиновником, то он во всяком случае был плохим другом истины; если же он никогда не уяснил себе этого, - ну, я думаю, и тогда его нельзя назвать другом истины.

Таково наиболее общее сомнение: впрочем, будучи наиболее общим, оно для современных людей - наиболее слабое и безразличное. Большинство удовлетворится пожиманием плеч и словами: "Как будто что-либо великое и чистое вообще могло существовать и укрепиться на этом свете, не делая уступок человеческой низости! Или вы хотите, чтобы государство лучше преследовало философов, чем вознаграждало их и брало в услужение?" Не отвечая сейчас на этот последний вопрос, я прибавляю еще, что уступки, которые философия делает государству, идут в настоящее время весьма далеко. Во-первых: государство выбирает себе своих философских слуг, и притом столько, сколько ему нужно для его учебных заведений; оно ведет себя, следовательно, так, как будто может различать между хорошими и плохими философами, более того, оно предполагает, что всегда должно быть достаточно хороших, чтобы занять все его кафедры. Не только в отношении достоинства философов, но и в отношении необходимого числа их государство есть теперь авторитет. Во-вторых: оно принуждает тех, кого оно избрало, жить в определенном месте, среди определенных людей и заниматься определенной деятельностью: они должны обучать каждого юношу-студента, который имеет к тому охоту, и притом ежедневно в назначенные часы. Я спрашиваю: может ли философ добросовестно обязаться иметь ежедневно что-либо, чему он мог бы учить? И притом учить каждого, кто хочет слушать? Не должен ли он в таком случае напускать на себя вид, будто знает больше, чем он действительно знает? Не должен ли он говорить перед неизвестной аудиторией о вещах, о которых он мог бы безопасно говорить только с ближайшими друзьями? И вообще, не лишает ли он себя тем своей высшей свободы, - возможности следовать за своим гением, когда и куда он его зовет, - обязанный в определенные часы публично мыслить о наперед назначенных темах? И это - перед юношами! Разве подобное мышление, так сказать, не оскотинено уже заранее? А что, если он в один прекрасный день почувствует: сегодня я не могу мыслить, мне не приходит в голову ничего умного? - и все-таки он должен был бы идти и симулировать мысль!

Но - возражат на это - он ведь совсем не должен быть мыслителем, а в лучшем случае лишь размышляющим и обдумывающим человеком, и прежде всего ученым знатоком всех прежних мыслителей; о них-то он всегда сможет рассказать что-нибудь, чего не знают его ученики. Это есть третья, в высшей степени опасная уступка государству со стороны философии, когда она обязывается выступать по преимуществу и главным образом как ученость. Прежде всего, как знание истории философии; тогда как для гения, который с чистотой и любовью взирает на вещи, подобно поэту, и не может вложить себя в них достаточно глубоко, рыться в многочисленных чужих и извращенных мнениях есть едва ли не самое отвратительное и неуместное занятие. Ученое историческое знание прошлого никогда не было делом подлинных философов, ни в Индии, ни в Греции; и если профессор философии занимается подобной работой, он должен примириться с тем, что о нем, в лучшем случае, скажут: он - дельный филолог, антикварий, лингвист, историк, - но никогда не скажут: он - философ. Да и первое, повторяю, лишь в лучшем случае: ибо в отношении большинства ученых работ, которые делают университетские философы, филолог испытывает чувство, что они сделаны плохо, без научной строгости и в большинстве случаев отвратительно скучно. Кто освободит, например, историю греческих философов от того усыпительного тумана, который в ней распространили ученые, но не слишком научные и, к сожалению, слишком скучные работы Риттера, Брандиса и Целлера? Я, по крайней мере, читаю Лаэртция Диогена охотнее, чем Целлера, ибо в первом, по крайней мере, живет дух древних философов, в последнем же ни этот дух, ни какой-либо иной. И, наконец, самое главное: к чему нашим юношам история философии? Должен ли хаос мнений лишить их мужества иметь мнения? Или их нужно обучить участвовать в хоре, прославляющем торжество прогресса в наше время? Или, наконец, они должны научиться ненавидеть или презирать философию? Можно почти допустить последнее, когда знаешь, как студенты должны терзать себя из-за философских экзаменов, чтобы втиснуть в свой бедный мозг, наряду с величайшими и труднейшими идеями человеческого духа, нелепейшие и самые путанные выдумки. Единственная критика философии, которая возможна и которая действительно что-либо доказывает, - именно попытаться, можно ли жить согласно ее учению, - никогда не преподается в университетах, а всегда лишь словесная критика слов. И теперь представьте себе юношескую голову, не имеющую большого жизненного опыта, в которой сохраняются одновременно и в беспорядке пятьдесят словесных систем и пятьдесят их критик, - какое опустошение, какое одичание, какая насмешка над философским воспитанием! И действительно, в университетах, как это всем признано, готовят не к философии, а к философскому экзамену, и обычный, знакомый результат его сводится к тому, что испытуемый - увы! слишком испытуемый - со вздохом признается: "Слава Богу, что я не философ, а христианин и гражданин своего государства!"

А что, если этот вздох и есть цель государства, и "философское воспитание" есть не что иное, как отвлечение от философии? Подумайте об этом! - Но если бы это было так, то надо бояться лишь одного: что юношество наконец когда-нибудь догадается, для чего здесь собственно эксплуатируется философия. Высшая цель, создание философского гения есть только предлог? А цель, может быть, именно предупредить его

возникновение? Идеальный смысл превращен в свою противоположность? Ну, тогда - горе всему этому миру государственной и профессорской мудрости!

И, может быть, что-либо подобное уже чувствуется? Я не знаю; во всяком случае университетская философия стала предметом всеобщего презрения и недоверия. Последнее стоит отчасти в связи с тем, что как раз теперь на кафедрах господствует слабая порода; и если бы Шопенгауэр теперь писал свой трактат об университетской философии, он обошелся бы без дубины, а мог бы победить легкой тростью. Это - наследники и потомки тех уродливых мыслителей, по бестолковым головам которых он бил: они кажутся младенцами и карликами и напоминают об индийском изречении: "По своим делам рождаются люди, - немые, глухими, глупыми и безобразными". Эти отцы заслуживали такого потомства своими "делами", как говорит изречение. Поэтому нет никакого сомнения, что учащаяся молодежь скоро сумеет обходиться без философии, которая преподается в университетах, и что люди, не причастные к университету, уже теперь обходятся без нее. Вспомните только о своем собственном студенческом времени; я по крайней мере был совершенно равнодушен к университетским философам; они казались мне людьми, которые составляют для себя какую-то мешанину из плодов других наук, а в свободные часы читают газеты и посещают концерты; впрочем, даже их академические сотоварищи относились к ним с любезно замаскированным презрением. Предполагалось, что они мало знают и что у них всегда под рукой затемняющий оборот, чтобы скрыть этот недостаток знания. Поэтому они охотно сосредоточивались на таких туманных местах, в которых не может долго находиться человек с ясным взором. Один возражал против естественных наук: ни одна из них не может мне объяснить простейшего становления, какое же мне дело до них всех? Другой говорил об истории: у кого есть идеи, тому она не дает ничего нового, словом они всегда находили основания, по которым более соответствует философскому достоинству ничего не знать, чем учиться чему-либо. Если они принимались за учение, то их тайным намерением при этом было убежать от наук и основать темное царство в какой-либо неисследованной и неосвещенной их области. Таким образом они шли впереди наук лишь в том смысле, в каком дичь идет впереди преследующих ее охотников. В последнее время они забавляются утверждением, что они собственно суть лишь пограничная стража и надзиратели наук; здесь они пользуются главным образом учением Канта; из последнего они стремятся сделать ленивый скептицизм, о котором скоро никто не будет беспокоиться. Лишь изредка кое-кто из них подымается на высоту маленькой метафизики, с обычными последствиями в виде головокружения, головной боли и кровотечения из носа. После того, как им столь часто не удавалось это путешествие в туманы и облака, после того, как какой-либо грубый и твердоголовый питомец истинных наук не раз хватал их за косу и стягивал назад, их лицо приобретает постоянное выражение жеманства и раскаяния во лжи. Они совершенно потеряли радостное доверие к философии, так что никто из них не сделает и шагу в жизни в угоду своей философии. Некогда иные из них мечтали открыть новые религии или заменить старые религии своими системами; теперь у них исчезла такая самонадеянность, они по большей части благочестивые, робкие и туманные люди; никогда они не бывают храбры подобно Лукрецию, не чувствуют ненависти к бремени, которое лежало на людях. И логическому мышлению у них нельзя более научиться; обычные прежде упражнения в диспутах они прекратили, исходя из естественной оценки своих сил. Несомненно, в настоящее время представители специальных наук логичнее, осторожнее, скромнее, изобретательнее, - словом, ведут себя более философски, чем так называемые философы: так что каждый согласится с беспристрастным англичанином Бэдждотом, когда он говорит о нынешних строителях систем: "Кто не убежден заранее, что их послышки содержат удивительное смешение истины и заблуждения и что поэтому не стоит труда размышлять об их выводах? Готовое и законченное в этих системах, быть может, привлекает юношей и производит впечатление на неопытных, но развитые люди не дают себя ослепить этим. Они всегда готовы благоприятно принять намеки и предложения, и даже самая незначительная истина им любезна, - но большая книга, наполненная дедуктивной философией, возбуждает в них подозрения. Бесчисленные недоказанные отвлеченные принципы спешно собраны сангвиническими людьми и тщательно растянуты в книгах и теориях, чтобы объяснить с помощью их весь мир. Но мир не заботится об этих абстракциях, и это неудивительно, ибо они противоречат друг другу". Если некогда философы, в особенности в Германии, были погружены в столь глубокое размышление, что им грозила постоянная опасность удариться головой о каждое бревно, то теперь, как Свифт передает это о лапутиях, к ним приставлена целая толпа трещетников, которые при случае наносят им легкий удар по глазам или еще куда-нибудь. Эти удары бывают иногда слишком сильными, и тогда отрешенные от земли философы забываются и сами ударяют - что всегда кончается их посрамлением. Не видишь ты бревна, что ли, тупая башка! говорит тогда трещетник, - и действительно философ часто видит бревно и становится снова покорным. Эти трещетники суть естественные науки и история; постепенно они так укротили это царство грез и умозрения в Германии, которое долгое время выдавалось за философию, что упомянутые господа умозрения были бы охотно готовы прекратить попытку идти самостоятельно; но когда они неожиданно бросаются в объятия наук или хотят прицепиться к ним, чтобы идти у них на поводу, то последние начинают тотчас же трещать как можно страшнее, - как будто хотят сказать: "Этого только не доставало, чтобы такой умозрительный господин портил нам естественные науки или историю! Долой его!" И они опять возвращаются назад, к собственной непрочности и беспомощности; им непременно нужно иметь под руками немножко естествознания, например, в виде эмпирической психологии, как у гербартианцев, а также немножко истории тогда они по крайней мере могут официально изображать из себя людей,

занимающихся наукой, хотя в душе они посылают к черту всякую философию и всякую науку.

Но признаем, что эта толпа плохих философов смехотворна - и кто же не признает этого? - спрашивается, в какой мере она также вредна? Я отвечаю коротко: она вредна, тем, что делает философию смехотворной. Пока будет существовать эта признанная государством карикатура на мышление, всякое великое действие истинной философии будет уничтожаться или по крайней мере задерживаться, и притом именно этим проклятием смешного, которое навлекли на себя представители великого дела, но которое переносится и на само дело.

Поэтому я считаю содействием культуре, если философия будет лишена всякой государственной и академической санкции и если государство и университет вообще будут освобождены от непосильной для них задачи различать между истинной и мнимой философией. Оставьте философов расти в диком виде, лишите их всякой надежды на получение мест и включение в гражданские профессии, перестаньте щекотать их жалованием, более того - преследуйте их, будьте к ним немилостивыми - и вы увидите чудеса! Тогда они разбегутся во все стороны и будут всюду искать себе кровли, эти бедные мнимые мыслители; для них откроется то место пастора, то должность школьного учителя; иной запрячется в редакцию газеты, другой начнет писать учебники для женских гимназий; разумнейший из них возьмется за плуг, а самый тщеславный пойдет ко двору. Внезапно все разлетится, и гнездо опустеет, ибо нет ничего легче, чем освободиться от плохих философов - стоит только перестать покровительствовать им. И это во всяком случае целесообразнее, чем официальное государственное покровительство какой-либо философии, какова бы она ни была.

Государству вовсе не важна истина вообще, а исключительно лишь полезная ему истина, или, говоря еще точнее лишь все, что ему полезно, будь то истина, полуистина или ложь. Союз между государством и философией имеет, следовательно, смысл лишь в том случае, если философия может обещать быть всегда полезной государству, т. е. ставит государственную пользу выше, чем истину. Правда, для государства было бы великолепно иметь и истину в услужении и на жаловании у себя; но только оно само хорошо знает, что к природе истины принадлежит не оказывать никаких услуг и не состоять ни на чьем жаловании. Поэтому в том, что оно имеет, оно имеет лишь ложную "истину", существо с личиной; а последнее, к сожалению, не может дать ему того, чего оно так жаждет от подлинной истины, - именно его собственного оправдания и освящения. Когда средневековый властитель хотел, чтобы его короновал папа, но не мог от него добиться этого, он избирал себе другого папу, который и оказывал ему эту услугу. Это до некоторой степени еще удавалось; но современному государству нет удачи, когда оно назначает свою собственную философию, чтобы быть легитимированным ею; ибо оно по-прежнему имеет против себя философию, и притом еще более, чем раньше. Я думаю совершенно серьезно: для него полезнее совсем не заниматься ею, ничего не искать у нее и, насколько возможно, игнорировать ее, как нечто безразличное. Если этот нейтралитет не удержится, если она станет опасной и угрожающей ему, то пусть оно ее преследует. Так как государство интересуется университетом лишь в том отношении, что может с его помощью воспитывать преданных и полезных граждан, то оно должно было бы поколебаться подвергать опасности эту преданность и пользу, требуя от молодых людей экзамена по философии; правда, сделать из философии экзаменное пугало может быть в отношении ленивых и неспособных голов верным средством вообще отпугнуть их от ее изучения; но эта выгода не возместит ущерба, который может получиться от этого же насильственного изучения философии дерзновенными и беспокойными юношами: они знакомятся с запрещенными книгами, начинают критиковать своих учителей и наконец даже подмечают цель университетской философии и этих экзаменов, - не говоря уже о тех сомнениях, которые при таких условиях могут напасть на молодых богословов и в результате которых богословы начинают вымирать в Германии, как каменные бараны в Тироли. Я, конечно, знаю, что государство могло возразить против всего этого размышления, пока еще на всех полях росло прекрасное зеленое гегельянство; но после того, как эта жатва была побита градом и не исполнилось ни одного из возлагавшихся на нее ожиданий, все житницы остались пустыми - тут уж лучше ничего не возражать, а просто отвернуться от философии. Теперь государственное могущество уже достигнуто; тогда, во времена Гегеля, его стремились достигнуть - в этом большая разница. Государство не нуждается более в санкции философии, и потому она стала излишней для него. Если оно перестанет содержать ее профессуры, или, как я предвижу это для ближайшего времени, будет содержать их лишь небрежно и на показ, то это принесет ему пользу; но мне представляется более важным, чтобы и университет усмотрел в этом выгоду для себя. По крайней мере мне думается, что приют истинной науки должен считать благоприятным для себя обстоятельством возможность освободиться от общения с полунаукой и четвертьнаукой. Кроме того, с репутацией университетов дело обстоит слишком неблагоприятно, чтобы не было надобности принципиально желать исключения дисциплин, которые низко ценятся самими академическими деятелями. Ибо стоящие вне университета люди имеют серьезные основания вообще пренебрежительно относиться к университетам: они упрекают их в трусости, в том, что маленькие из них боятся больших, а большие общественного мнения; что во всех вопросах высшей культуры они не идут впереди, а медленно и поздно ковыляют сзади; что подлинный дух некоторых выдающихся наук совсем не соблюдается в них. Так, например, лингвистика изучается усерднее, чем когда-либо, но для себя самих считают ненужной строгую школу письма и речи. Индийская древность открывает свои ворота, а знатоки ее имеют вряд ли иное отношение к самым непреходящим творениям индусов, к их философским творениям, чем зверь - к лире; хотя уже Шопенгауэр считает знакомство с индийской философией одним из величайших преимуществ нашего века перед прежними. Классическая древность уже перестала

отличаться от всякой иной древности и не влияет более, как нечто классическое и образцовое, - как это показывают ее питомцы, которые уже наверно не суть образцовые люди. Куда девался дух Фридриха-Августа Вольфа, о котором Франц Пассов мог сказать, что он кажется ему истинно патриотическим, истинно гуманным духом, достаточно сильным, чтобы зажечь и привести в брожение целую часть света, - куда девался этот дух? В противоположность этому, в университеты все более вторгается журнализм, и нередко под именем философии; гадкая, прикрашенная манера чтения, Фауст и Натан мудрый всегда на устах, речь и взгляды наших противных литературных газет, в последнее время еще болтовня о нашей святой немецкой музыке, даже требование кафедр для Шиллера и Гете, - все эти признаки говорят о том, что университетский дух начинает смешивать себя с духом времени. И тут мне кажется в высшей степени важным, чтобы вне университетов возник более высокий трибунал, который наблюдал бы и за университетами и оценивал бы то образование, которое дают эти учреждения; и как только философия выделится из университетов и тем очистится от всяких недостойных соображений и затемнений, она неизбежно станет таким трибуналом; без государственной власти, без жалования и почестей, она сумеет исполнять свое дело, освобожденная и от духа времени, и от страха перед ним, - словом, живя наподобие Шопенгауэра, как судья окружающей ее так называемой культуры. Таким способом философ может принести пользу и университету, не сливаясь с ним, а наоборот, созерцая его из некоторого достойного отдаления.

Но в конце концов, что значит существование государства, польза университетов, когда ведь дело идет прежде всего о существовании философии на земле или - чтобы не оставить ни малейшего сомнения в том, что я разумею, - когда бесконечно важнее, чтобы на свете возник философ, чем чтобы продолжали существовать какое-либо государство или университет! По мере того, как увеличивается рабство перед общественным мнением и опасность для свободы, достоинство философии может возрасти; оно стояло выше всего среди катастроф погибавшей римской республики и во времена империи, когда ее имя, как и имя истории, стали *ingrata principibus nomina*. Брут больше свидетельствует о ее достоинствах, чем Платон; это - эпохи, в которых этика перестает иметь общие места. Если философия теперь мало почитается, то нужно задать себе вопрос, почему ее не исповедует теперь ни один великий полководец и государственный деятель? Конечно, лишь потому, что в ту пору, когда он искал ее, он встречался под именем философии с бессильным фантомом - с ученой мудростью и осторожностью, проповедуемой с кафедр, - словом, потому, что философия давно уже успела стать смешным делом. Однако она должна была бы быть страшным делом; и люди, которые призваны искать могущества, должны были бы знать, какой источник героизма течет в ней. Пусть скажет им американец, какое значение имеет великий мыслитель, приходящий на эту землю, в качестве нового средоточия огромных сил. "Смотрите, что бывает, - говорит Эмерсон, - когда великий Бог посылает на нашу планету мыслителя. Тогда все в опасности, как когда пожар охватывает большой город и никто не знает, прочно ли еще что-нибудь и чем все это кончится. Тогда нет ничего в науке, чего нельзя было бы завтра поставить вверх дном, и ничего не значит более ни литературные репутации, ни так называемые вечные знаменитости; все вещи, которые в настоящую минуту дороги и ценны людям, обязаны своим значением лишь идеям, поднявшимся над их духовным горизонтом и обуславливающим современный порядок вещей так же, как плоды определены деревом. Новый уровень культуры мгновенно внес бы переворот во всю систему человеческих стремлений". Да, если подобные мыслители опасны, то, конечно, ясно, почему наши академические мыслители неопасны; ибо их мысли растут так мирно в привычном строе, как плод растет на дереве; они не пугают, не выбрасывают из колеи; и о всех их мыслях и мечтах можно было бы сказать то, что имел возразить Диоген, когда при нем хвалили некоего философа: "Чем же он может гордиться, если он так давно занимается философией и еще никого не огорчил". Да, так должна была бы гласить надгробная надпись университетской философии: "она никого не огорчила". Но это, конечно, скорее похвала старой женщине, чем богини мудрости, и неудивительно, если те, кто знает эту богиню лишь в образе старой женщины, сами весьма мало походят на мужчин и потому вполне по своим заслугам уже не обращают на себя внимания людей силы.

Но если дело обстоит так в наше время, то достоинство философии повергнуто в прах; кажется, что она сама стала чем-то смешным или безразличным; поэтому все истинные ее друзья обязаны свидетельствовать против этого смешения и по меньшей мере показать, что смешны или безразличны лишь ложные служители и недостойные сановники философии. Еще лучше, если они сами покажут на деле, что любовь к истине есть нечто страшное и могучее.

То и другое доказал Шопенгауэр - и будет со дня на день доказывать все яснее.

Несвоевременные размышления - 'О пользе и вреде истории для жизни'

Ницше Фридрих Вильгельм

Несвоевременные размышления - 'О пользе и вреде истории для жизни'

Фридрих Ницше

Несвоевременные размышления: "О пользе и вреде истории для жизни"

Friedrich Nietzsche

"Vom Nutzen und Vorteil der Historie für das Leben"

Это сочинение является вторым по счету в замысленной Ницше сразу по выходе в свет "Рождения трагедии" серии культуркритических эссе, объединенных общим названием "Несвоевременные размышления".

Первоначальный замысел Ницше охватывает двадцать тем или, точнее, двадцать вариаций на единую культуркритическую тему. Со временем этот план то сокращался (до тринадцати), то увеличивался (до двадцати четырех).

Из замысленного ряда удалось осуществить лишь четыре очерка: "Давид Штраус, исповедник и писатель" (1873), "О пользе и вреде истории для жизни" (1874), "Шопенгауэр как воспитатель" (1874), "Рихард Вагнер в Байрейте" (1875-1876).

Произведение публикуется по изданию: Фридрих Ницше, сочинения в 2-х томах, том 1, издательство "Мысль", Москва 1990.

Перевод - Я. Бермана.

ПРЕДИСЛОВИЕ

"Мне, во всяком случае, ненавистно все, что только поучает меня, не расширяя и непосредственно не оживляя моей деятельности". Эти слова Гете, это его задушевное *ceterum censeo* могло бы служить вступлением к нашему рассуждению о положительной или отрицательной ценности истории. Ибо в этом рассуждении мы намерены показать, почему поучение без оживления, почему знание, сопряженное с ослаблением деятельности, почему история, как драгоценный избыток знания и роскошь, нам должны быть, по выражению Гете, серьезно ненавистны, - а именно потому, что мы нуждаемся еще в самом необходимом, и потому, что все излишнее есть враг необходимого. Конечно, нам нужна история, но мы нуждаемся в ней иначе, чем избалованный и праздный любитель в саду знания, с каким бы высокомерным пренебрежением последний ни смотрел на наши грубые и неизящные потребности и нужды. Это значит, что она нужна нам для жизни и деятельности, а не для удобного уклонения от жизни и деятельности или тем менее для оправдания себялюбивой жизни и трусливой и дурной деятельности. Лишь поскольку история служит жизни, постольку мы сами согласны ей служить; а между тем существует такой способ служения истории и такая оценка ее, которые ведут к захирению и вырождению жизни: явление, исследовать которое в связи с выдающимися симптомами нашего времени теперь настолько же необходимо, насколько, может быть, это и тягостно.

Я стремился изобразить чувство, которое неоднократно меня мучило; моей мезью ему пусть будет то, что я его теперь предаю гласности. Может быть, это изображение побудит кого-нибудь заявить мне, что и он тоже испытал это чувство, но что мне оно известно не в его чистом, первоначальном виде и что я выразил его далеко не с подобающей уверенностью и зрелостью понимания. Таково, может быть, мнение некоторых; большинство же скажет мне, что это совершенно извращенное, неестественное, отвратительное и просто непозволительное чувство или даже что я показал себя в нем недостойным того могущественного тяготения нашего времени к истории, которое, как известно, ясно обнаружилось за последние два поколения, в особенности среди немцев. Но во всяком случае тем, что я беру на себя смелость дать точное описание природы моего чувства, я скорее способствую охране господствующих приличий, чем подрываю их, ибо я таким образом доставляю возможность многим рассыпаться в комплиментах перед подобным направлением времени. Я же приобретаю для себя еще нечто, что для меня гораздо дороже, чем общественное благоприличие, именно, возможность получить публичное поучение и строгое наставление насчет смысла нашего времени.

Несвоевременным я считаю также и это рассуждение, ибо я делаю в нем попытку объяснить нечто, чем наше время не без основания гордится, именно, его историческое образование, как зло, недуг и недостаток, свойственные времени, ибо я думаю даже, что мы все страдаем изнурительной исторической лихорадкой и должны были бы по крайней мере сознаться в том, что мы страдаем ею. Если же Гете был прав, когда утверждал, что, культивируя наши добродетели, мы культивируем также и наши пороки, и если, как это известно всем, гипертрофированная добродетель - каковой представляется мне историческое чувство нашего времени - может сделаться столь же губительной для народа, как и гипертрофированный порок, - то почему бы не дать мне возможности сказать то, что я думаю? К моему оправданию, не умолчу также и о том, что наблюдения, вызвавшие во мне упомянутые выше мучительные ощущения, сделаны мною в значительной части над самим собою и только в целях сравнения над другими и что я, оставаясь сыном своего времени, пришел к столь несвоевременным выводам лишь в той мере, в какой я вместе с тем являюсь питомцем прежних эпох, особенно греческой. Некоторое право на это дает мне, как мне думается, также и моя специальность классического филолога: ибо я не знаю, какой еще смысл могла бы иметь классическая филология в наше время, как не тот, чтобы действовать несвоеременно, т. е. вразрез с нашим временем, и благодаря этому влиять на него, - нужно надеяться, в интересах грядущей эпохи.

1

Погляди на стадо, которое пасется около тебя: оно не знает, что такое вчера, что такое сегодня, оно скачет, жует траву, отдыхает, переваривает пищу, снова скачет, и так с утра до ночи и изо дня в день, тесно привязанное в своей радости и в своем страдании к столбу мгновения и потому не зная ни меланхолии, ни пресыщения.

Зрелище это для человека очень тягостно, так как он гордится перед животным тем, что он человек, и в то же время ревнивым оком смотрит на его счастье - ибо он, подобно животному, желает только одного: жить, не зная ни пресыщения, ни боли, но стремится к этому безуспешно, ибо желает он этого не так, как животное. Человек может, пожалуй, спросить животное: "Почему ты мне ничего не говоришь о твоём счастье, а только смотришь на меня?" Животное не прочь ответить и сказать: "Это происходит потому, что я сейчас же забываю то, что хочу сказать", - но тут же оно забывает и этот ответ и молчит, что немало удивляет человека.

Но человек удивляется также и самому себе, тому, что он не может научиться забвению и что он навсегда прикован к прошлому; как бы далеко и как бы быстро он ни бежал, цепь бежит вместе с ним. Не чудо ли, что мгновение, которое столь же быстролетно появляется, как и исчезает, которое возникает из ничего и превращается в ничто, что это мгновение тем не менее возвращается снова, как призрак, и нарушает покой другого, позднейшего мгновения. Непрерывно от свитка времени отделяются отдельные листы, выпадают и улетают прочь, чтобы внезапно снова упасть в самого человека. Тогда человек говорит: "Я вспоминаю" - и завидует животному, которое сейчас же забывает и для которого каждое мгновение действительно умирает, погружаясь в туман и ночь и угасая навсегда. Столь неисторически живет животное: оно растворяется в настоящем, как целое число, не оставляя по себе никаких странных дробей, оно не умеет притворяться, ничего не скрывает и в каждый данный момент является вполне тем, что оно есть, и потому не может не быть честным. Человек же, напротив, должен всячески упираться против громадной, все увеличивающейся тяжести прошлого; последняя или пригибает его вниз, или отклоняет его в сторону, она затрудняет его движение, как невидимая и темная ноша, от которой он для виду готов иногда отречься, как это он слишком охотно и делает в обществе равных себе, чтобы возбудить в них зависть. Поэтому-то его волнует, как воспоминание об утраченном рае, зрелище пасущегося стада или более знакомое зрелище ребенка, которому еще нет надобности отрекаться от какого-либо прошлого и который в блаженном неведении играет между гранями прошедшего и будущего. И все же играм ребенка также наступает конец: слишком рано отнимается у него способность забвения. Тогда научается он понимать значение слова "было", того рокового слова, которое, знаменуя для человека борьбу, страдание и пресыщение, напоминает ему, что его существование, в корне, есть никогда не завершающееся Imperfectum. Когда же смерть приносит наконец желанное забвение, то она похищает одновременно и настоящее вместе с жизнью человека и этим прикладывает свою печать к той истине, что наше существование есть непрерывный уход в прошлое, т. е. вещь, которая живет постоянным самоотрицанием, самопожиранием и самопротиворечием.

Если счастье, если погоня за новым счастьем в каком бы то ни было смысле есть то, что привязывает живущего к жизни и побуждает его жить дальше, то может быть циник ближе к истине, чем всякий другой философ, ибо счастье животного, как самого совершенного циника, служит живым доказательством истинности цинизма. Самое крошечное счастье, если только оно непрерывно и делает человека счастливым, конечно, есть несравненно большее счастье, чем величайшее счастье, которое появляется только как эпизод или, так сказать, как мимолетное настроение, как безумный каприз среди постоянных страданий, страстей и лишений. Но как для самого маленького, так и для самого большого счастья существует только одно условие, которое делает счастье счастьем: способность забвения, или, выражаясь более научно, способность в течение того времени, пока длится это счастье, чувствовать неисторически. Кто не может замереть на пороге мгновения, забыв все прошлое, кто не может без головокружения и страха стоять на одной точке, подобно богине победы, тот никогда не будет знать, что такое счастье, или, еще хуже: он никогда не сумеет совершить того, что делает счастливыми других.

Представьте себе как крайний пример человека, который был бы совершенно лишен способности забывать, который был бы осужден видеть повсюду только становление: такой человек потерял бы веру в свое собственное бытие, в себя самого, для такого человека все расплылось бы в ряд движущихся точек, и он затерялся бы в этом потоке становления: подобно верному ученику Гераклита, он в конце концов не нашел бы в себе мужества пошевелить пальцем. Всякая деятельность нуждается в забвении, подобно тому как всякая органическая жизнь нуждается не только в свете, но и в темноте. Человек, который пожелал бы переживать все только исторически, был бы похож на того, кто вынужден воздерживаться от сна, или же на животное, осужденное жить только все новым и новым пережевыванием одной и той же жвачки. Таким образом, жить почти без воспоминаний, и даже счастливо жить без них, вполне возможно, как показывает пример животного; но совершенно и безусловно немислимо жить без возможности забвения вообще. Или, чтобы еще проще выразить мою мысль: существует такая степень бессонницы, постоянного пережевывания жвачки, такая степень развития исторического чувства, которая влечет за собой громадный ущерб для всего живого и в конце концов приводит его к гибели, будет ли то отдельный человек, или народ, или культура.

Чтобы найти эту степень и при помощи ее определить границу, за пределами которой прошедшее подлежит забвению, если мы не желаем, чтобы оно стало могильщиком настоящего, необходимо знать в точности, как велика пластическая сила человека, народа или культуры; я разумею силу своеобразно расти из себя самого, претворять и поглощать прошедшее и чужое и излечивать раны, возмещать утраченное и восстанавливать из себя самого разбитые формы. Существуют люди, которые обладают этой силой в столь незначительной степени, что они исходят безнадежно кровью от одного какого-нибудь переживания, от одного какого-либо страдания, часто даже от одной какой-нибудь легкой несправедливости, как от совершенно незаметной кровавой ранки; с другой

же стороны, есть и такие, которых самые нелепые и самые ужасные невзгоды или даже их собственные злые деяния столь мало трогают, что они даже среди всего этого или вскоре после этого достигают сравнительного благополучия и некоторого спокойствия совести. Чем глубже у данного человека заложены корни его внутренней природы, тем большую часть прошлого способен он усвоить себе или переработать по-своему; и если бы мы пожелали представить себе наиболее могучую и наиболее необузданную натуру, то мы могли бы узнать ее по тому, что для нее историческое чувство не имело бы никакой границы, за которой оно могло бы оказывать вредное или разрушительное влияние; она все прошедшее, принадлежи это последнее ей или будь оно совершенно ей чуждо, привлекала бы к себе, усвояла и претворяла бы, так сказать, в свою кровь. То, чего такая натура не может подчинить себе, она сумела бы забыть; оно бы не существовало для нее, горизонт ее был бы замкнут и закончен, и ничто не могло бы напомнить ей, что по ту сторону этого горизонта существуют люди, страсти, учения, цели. И это всеобщий закон: все живое может стать здоровым, сильным и плодотворным только внутри известного горизонта; если же оно не способно ограничить себя известным горизонтом и в то же время слишком себялюбиво, чтобы проникнуть взором в пределы чужого, то оно истощается, медленно ослабевая, или порывисто идет к преждевременной гибели. Веселость, спокойная совесть, радостная деятельность, доверие к грядущему - все это зависит как у отдельного человека, так и у народа от того, существует ли для него линия, которая отделяет доступное зрению и светлое от непроницаемого для света и темного, зависит от того, умеет ли он одинаково хорошо вовремя забывать, как и вовремя вспоминать, от способности здравого инстинкта определять, когда нужно ощущать исторически и когда - неисторически. Отсюда положение, к рассмотрению которого я приглашаю читателя: историческое и неисторическое одинаково необходимы для здоровья отдельного человека, народа и культуры.

Относительно сказанного каждый ближайшим образом может сделать следующее наблюдение: исторические знание и чувство известного человека могут быть весьма ограничены, его горизонт может быть так же сужен, как горизонт обитателя альпийской долины, в каждое суждение он может вкладывать какую-нибудь несправедливость, в каждый опыт - ложное убеждение, что он первый его сделал, - и, несмотря на всю свою несправедливость и все свои ошибки, он будет стоять перед нами в своем неискоренимом здоровье и полной силе и радовать все взоры, в то время как рядом с ним несравненно более справедливый и образованный человек болеет и падает вследствие того, что линии его горизонта постоянно беспокойно передвигаются и что он поэтому никак не может выпутаться из несравненно более тонкой сети своей справедливости и истины, чтобы снова вернуться к непосредственным желаниям и влечениям. С другой стороны, мы видели животное, которое, будучи совершенно лишено исторического чувства и заключено внутри горизонта, сводящегося чуть ли не к одной точке, наслаждается тем не менее известным счастьем или по крайней мере живет, не зная пресыщения и притворства; поэтому мы должны считать способность чувствовать в известных пределах неисторически более важной и более первоначальной, поскольку она является фундаментом, на котором только вообще и может быть построено нечто правильное, здоровое и великое, нечто подлинно человеческое. Неисторическое подобно окутывающей атмосфере, в которой жизнь создается лишь с тем, чтобы исчезнуть вновь с уничтожением этой атмосферы. Правда, только благодаря тому, что человек может ввести в границы этот неисторический элемент при помощи мысли, передумывания, сравнения, отделения и соединения, только благодаря тому, что это обволакивающее, ограничивающее туманное облако прорезывается ярким, молниеносным лучом света, - т. е. только благодаря способности использовать прошедшее для жизни и бывшее вновь превращать в историю, человек делается человеком; но в избытке истории человек снова перестает быть человеком, а без упомянутой оболочки неисторического он никогда бы не начал и не отважился бы начать человеческого существования. Где мы найдем те деяния, которые человек мог бы совершить, не войдя предварительно в туманную полосу неисторического? Или, оставляя в стороне образы и прибегая для иллюстрации этой мысли к примеру, представим себе человека, которого бросает во все стороны и влечет какая-нибудь сильная страсть к женщине или к великой идее: как изменяется для него его мир! Оглядываясь назад, он чувствует себя слепым; когда он прислушивается к чему-нибудь со стороны, все чужое кажется ему глухим шумом, лишенным всякого значения; все же, что он вообще способен теперь воспринимать, никогда он еще не воспринимал столь ощутительно близким, столь красочным, звучащим, освещенным, как бы действующим на все его чувства одновременно. Все его оценки подверглись изменению или потеряли прежнее значение; многого он совсем не может более ценить, ибо почти вовсе не ощущает его: он спрашивает себя, неужели он так долго был рабом чужих слов, чужих мнений; он удивляется тому, что его память неумоимо вращается все в том же круге и в то же время слишком слаба и утомлена, чтобы хоть раз решиться сделать скачок за пределы этого круга. Это самое несправедливое на свете состояние, ограниченное, неблагодарное к прошлому, слепое к опасностям, глухое к предупреждениям, маленький живой водоворот в мертвом море ночи и забвения; и все-таки это состояние - будучи глубоко неисторическим и антиисторическим - является лоном, порождающим не только несправедливое, но, скорее, всякое действительное деяние, и ни один художник никогда не напишет своей картины, ни один полководец не одержит победы, ни один народ не завоеует свободы, если все они в подобном неисторическом состоянии предварительно не жаждали этой цели и не стремились к ней. Как всякий деятель, по выражению Гете, всегда бессовестен, так же он и чужд знанию, он забывает все остальное, чтобы достигнуть одного, он несправедлив к тому, что лежит позади его, и знает только одно право - право того, что в данную минуту должно совершиться.

Поэтому каждый деятель любит свое деяние в бесконечно большей степени, чем оно этого заслуживает; и лучшие деяния совершаются при таком избытке любви, которого они во всяком случае не могут заслуживать, как бы неизмеримо велика ни была вообще их ценность.

Если бы кто получил возможность в целом ряде случаев проникнуть в ту неисторическую атмосферу, в которой возникает каждое великое историческое событие, и подышать ею некоторое время, то такой человек сумел бы, может быть, как познающее существо, возвыситься до над-исторической точки зрения, на которую Нибул однажды указал как на возможный результат исторических размышлений. "Для одной цели, по крайней мере, - говорит он, - пригодна история, ясно и основательно понятая: она показывает, что даже величайшие и гениальнейшие представители нашего человеческого рода не сознают, насколько случайно их глаз принял ту форму, через которую они не только сами смотрят, но и насильственно заставляют смотреть всех других, - насильственно потому, что интенсивность их сознания необыкновенно велика. Кто не знает и не понял этого совершенно определенно и на основании целого ряда случаев, того поработает явление могучего духа, вкладывающего в данную форму высшее напряжение страсти". Над-исторической мы могли бы назвать эту точку зрения потому, что тот, кто стоит на ней, мог бы навсегда потерять охоту жить дольше и участвовать в исторической работе, постигнув с полной ясностью важнейшее условие всякой деятельности, именно ту слепоту и ту несправедливость, которые царствуют в душе каждого деятеля; он был бы даже излечен от чрезмерного уважения к истории: ведь он научился бы по поводу каждого человека, по поводу каждого события греческой или турецкой истории времен первого или девятнадцатого столетия давать себе ответ на вопрос, как и для чего мы живем. Тот, кто вздумал бы спросить своих знакомых, желали бы они еще раз пережить последние десять или двадцать лет, мог бы легко подметить, кто из них имеет задатки для той над-исторической точки зрения, о которой мы упоминали выше; правда, что они все ответили бы, вероятно, на этот вопрос: "нет", но они указали бы различные основания для этого "нет". Одни, может быть, для своего утешения скажут: "Следующие двадцать будут лучше". Это те, о которых Дэвид Юм насмешливо замечает:

And from the dregs of life hope to receive,
What the first sprightly running could not give.

Таких людей мы назовем историческими; всякое обращение к прошлому вызывает в них стремление к будущему, распаляет в них решимость продолжать жизненную борьбу, воспламеняет в них надежду на то, что нужное еще придет, что счастье скрывается за той горой, к которой они направляют свой путь. Эти исторические люди верят, что смысл существования будет все более раскрываться в течение процесса существования, они оглядываются назад только затем, чтобы путем изучения предшествующих стадий процесса понять его настоящее и научиться энергичнее желать будущего; они не знают вовсе, насколько неисторически они мыслят и действуют, несмотря на весь свой историзм, и в какой степени их занятия историей являются служением не чистому познанию, но жизни.

Но тот же вопрос, на который мы получили первый ответ, может вызвать иногда и другой ответ. Правда, и этот ответ сведется к тому же "нет!" - но к иначе обоснованному "нет", именно к "нет" над-исторического человека, который видит спасение не в процессе, но для которого мир в каждое отдельное мгновение представляется как бы остановившимся и законченным. Чему, в самом деле, могли бы еще научить новые десять лет такого человека, если это не удалось сделать предыдущим десяти годам!

Заключается ли смысл исторического поучения в счастье или в резиньции, в добродетели или в покаянии, в этом над-исторические люди никогда не были согласны между собой; но, в противоположность всем историческим точкам зрения на прошлое, все они с полным единодушием приходят к одному выводу: прошлое и настоящее - это одно и то же, именно нечто, при всем видимом разнообразии типически одинаковое и, как постоянное повторение непреходящих типов, представляющее собой неподвижный образ неизменной ценности и вечно одинакового значения. Сотни различных языков соответствуют тем же типически прочным потребностям человека, так что тот, кто понял бы сущность этих потребностей, не мог бы из всех этих языков узнать ничего нового; точно так же над-исторический мыслитель освещает себе изнутри всю историю народов и отдельных личностей, восстанавливая в своем ясновидении первоначальный смысл различных исторических иероглифов и постепенно даже уклоняясь от утомляющего притока все новых и новых писем: ибо бесконечный преизбыток развертывающихся пред ним событий не может не вызывать в нем в конце концов чувства сытости, пресыщения и даже отвращения! Поэтому даже самый смелый между ними в конечном счете, может быть, готов сказать своему сердцу вместе с Джакомо Леопарди: "Среди живущего нет ничего, что было бы достойно твоего сочувствия, и земля не стоит твоего вздоха. Наше существование есть страдание и скука, а мир не что иное как грязь. Успокойся".

Но оставим над-историческим людям их отвращение и их мудрость: давайте лучше радоваться сегодня от всего сердца нашему неразумию и приветствовать в лице себя тех, кто деятельно идет вперед и поклоняется процессу. Пусть наша оценка исторического есть только предрассудок Запада - лишь бы мы в пределах этих предубеждений шли вперед, а не стояли на месте! Если бы только мы могли постоянно делать успехи в одном - именно в изучении истории для целей жизни! Мы охотно будем тогда готовы признать, что над-исторические люди обладают большим запасом мудрости, чем мы, если только мы могли бы быть уверены, что у нас больше жизни, чем у них: ибо тогда наше неразумие имеет во всяком случае больше будущности, чем их мудрость. И

чтобы не оставить никаких сомнений в значении этой противоположности между жизнью и мудростью, я, пользуясь издавна известным и применявшимся всегда с успехом приемом, прямо выставлю несколько тезисов. Историческое явление, всесторонне познанное в его чистом виде и претворенное в познавательный феномен, представляется для того, кто познал его, мертвым: ибо он узнал в нем заблуждение, несправедливость, слепую страсть и вообще весь темный земной горизонт этого явления и вместе с тем научился видеть именно в этом его историческую силу. Эта сила сделалась теперь бессильной для него, как познавшего, но, может быть, еще не сделалась таковой для него, как живущего.

История понимается как чистая наука и, ставшая самодержавной, представляет собой для человечества род окончательного расчета с жизнью. Историческое образование может считаться целительным и обеспечивающим будущее, только когда оно сопровождается новым могучим жизненным течением, например нарождающейся культурой, т. е. когда оно находится во власти и в распоряжении какой-нибудь высшей силы, а не владеет и распоряжается самостоятельно.

История, поскольку она сама состоит на службе у жизни, подчинена неисторической власти и потому не может и не должна стать, ввиду такого своего подчиненного положения, чистой наукой вроде, например, математики. Вопрос же, в какой степени жизнь вообще нуждается в услугах истории, есть один из важнейших вопросов, связанных с заботой о здоровье человека, народа и культуры. Ибо при некотором избытке истории жизнь разрушается и вырождается, а вслед за нею вырождается под конец и сама история.

2

Что тем не менее жизнь нуждается в услугах истории, это должно быть понято с той же ясностью, как и другое положение, которое будет доказано дальше, именно, что избыток истории вредит жизни. История принадлежит живущему в тройном отношении: как существу деятельному и стремящемуся, как существу охраняющему и почитающему и, наконец, как существу страждущему и нуждающемуся в освобождении. Этой тройственности отношений соответствует тройственность родов истории, поскольку можно различать монументальный, антикварный и критический род истории.

История принадлежит прежде всего деятельному и мощному, тому, кто ведет великую борьбу, кто нуждается в образцах, учителях, утешителях и не может найти таковых между своими современниками и в настоящем. Так принадлежала история Шиллеру: ибо наше время, по словам Гете, так худо, что поэт не встречает более в окружающей его жизни нужной ему натуры. Имея в виду деятельные натуры, Полибий, например, называет политическую историю действительной школой для подготовки к управлению государством и превосходным учителем, который помогает нам мужественно выносить смены счастья, напоминая о несчастьях других. Кто научился осматривать именно в этом смысл истории, тому должно быть крайне досадно видеть, как любопытные путешественники или педантичные микрологи карабкаются по пирамидам великих эпох прошлого; там, где он находит стимулы к подражанию и усовершенствованию, ему противно встретить жадного до развлечений и сенсации туриста, который фланирует среди исторических событий, как среди накопленных сокровищ картинной галереи. Деятельная натура, чтобы не потерять окончательно мужества и не почувствовать отвращения среди дряблых и безнадежных празднолюбцев, среди мнимо деятельных, в действительности же только волнующихся и барахтающихся современников, оглаживается назад и прерывает свой стремительный бег к поставленной цели, чтобы немного перевести дух. Целью же своей деятель всегда избирает какое-либо счастье, если не свое собственное, то счастье целого народа или всего человечества; он бежит от резиньции и пользуется историей как средством против резиньции. Большею частью его не ждет никакая награда, а разве только слава, т. е. право на почетное место в храме истории, где он может, в свою очередь, быть для следующих поколений учителем, утешителем и предостерегателем. Ибо его заповедь гласит: то, что однажды помогло развернуть и наполнить еще более прекрасным содержанием понятие "человек", то должно быть сохранено навеки, чтобы вечно выполнять это назначение. Что великие моменты в борьбе единиц образуют одну цепь, что эти моменты, соединяясь в одно целое, знаменуют подъем человечества на вершины развития в ходе тысячелетий, что для меня вершина подобного давно минувшего момента сохраняется во всей своей живости, яркости и величии, - в этом именно и находит свое выражение основная мысль той веры в человечество, которая вызывает требование монументальной истории. Но именно вокруг требования, чтобы великое было вечным, и разгорается наиболее ожесточенная борьба. Ибо все остальное, что живет, громко протестует против этого. Монументальное не должно появляться - вот обратный лозунг. Тупая привычка, все мелкое и низкое, заполняющее все уголки мира и окутывающее тяжелым земным туманом все великое, становится поперек пути, которым шествует это великое к бессмертию, воздвигая всяческие препятствия, наводя на ложный след и выделяя удушливые испарения. Путь же этот идет через мозг людей, через головы затравленных и скоропреходящих животных, которые снова и снова появляются на поверхности жизни для тех же бед и с трудом поддерживают некоторое время свое существование. Ибо они прежде всего хотят одного: жить во что бы то ни стало. Кто мог бы предположить, что между ними происходит то упорное состязание в беге с факелами, устраиваемое монументальной историей, которым только и может жить дальше великое! И все-таки снова и снова просыпаются единицы, которые, оглядываясь на прошлое величие и подкрепленные созерцанием его, испытывают такое блаженство, словно человеческая жизнь - великолепное дело, а самым прекрасным плодом этого горького растения является сознание, что некогда люди, совершая круг своего существования, кто - гордо и мощно, кто - глубокомысленно,

кто - полный сострадания и готовности помочь другим, - все завещали потомству одно учение: наиболее прекрасна жизнь того, кто не печется о ней. Тогда как обыкновенный человек относится к отведенному ему сроку существования с глубочайшей серьезностью и страстностью, те, о которых мы только что говорили, сумели, напротив, подняться в своем шествии к бессмертию и монументальной истории до олимпийского смеха или, по крайней мере, до снисходительного презрения; они нередко сходили в могилу с иронической улыбкой, ибо, в самом деле, что могло быть в них похоронено! Разве только то, что всегда угнетало их, как нечистый нарост тщеславия и животных инстинктов, и что осуждено теперь на забвение, будучи уже давно заклеено их собственным презрением. Но одно будет жить - это монограмма их сокровеннейшего существа, их произведения, их деяния, редкие проблески их вдохновения, их творения; это будет жить, ибо ни одно из позднейших поколений не может обойтись без него. В этом просветленном виде слава является все-таки чем-то большим, чем простым лакомым блюдом нашего себялюбия, как ее характеризовал Шопенгауэр, ибо она есть вера в тесную связь и непрерывность великого всех эпох, она есть протест против непрестанной смены поколений и изменчивости вещей.

Чем же, в таком случае, может быть полезно современному человеку монументальное воззрение на прошлое, т. е. изучение того, что является классическим и редким в прежних эпохах? Тем, что он научается понимать, что то великое, которое некогда существовало, было, во всяком случае, хоть раз возможно, и что поэтому оно может стать возможным когда-нибудь еще раз; он совершает свой путь с большим мужеством, ибо теперь сомнения в осуществимости его желаний, овладевающие им в минуты слабости, лишаются всякой почвы. Предположим, что кто-нибудь поверил, что для основательного искоренения вошедшей ныне в моду в Германии образованности достаточно сотни продуктивных, воспитанных в новом духе и деятельных людей - как сильно может ободрить его тот факт, что культура эпохи Возрождения была вынесена на плечах такой же кучкой в сто умов.

И все-таки - чтобы на основании этого примера получить сейчас же некоторые новые выводы - насколько расплывчато и неустойчиво, насколько неточно было бы такое уподобление, сколь многое приходится игнорировать в целях этого укрепляющего действия! К какому насилию приходится прибегать, чтобы втиснуть индивидуальность прошлого в одну общую форму и в целях полного соответствия обломать все ее острые углы и линии! В сущности, то, что было возможно однажды, могло бы снова сделаться возможным во второй раз лишь в том случае, если справедливо убеждение пифагорейцев, что при одинаковой констелляции небесных тел должны повторяться на земле одинаковые положения вещей вплоть до отдельных, незначительных мелочей; так что всякий раз, как звезды занимали бы известное положение, стоик соединялся бы с эпикурейцем для того, чтобы убить Цезаря, а при другом положении Колумб открывал бы Америку. Только в том случае, если бы земля каждый раз разыгрывала сызнова свою пьесу после пятого акта, если бы с точностью установлено было, что будут возвращаться снова через определенные промежутки времени то же сплетение мотивов, тот же *deus ex machina*, та же катастрофа, могучий человек мог бы пожелать этой монументальной истории в ее полной иконической истинности, т. е. каждого факта в его точно установленной особенности и индивидуальности; вероятно, поэтому не прежде, чем астрономы снова превратятся в астрологов. Но до наступления этого момента монументальная история не может нуждаться в такой полной истинности: она всегда будет сближать разнородные элементы, обобщать и, наконец, отождествлять их; она всегда будет смягчать различия мотивов и побуждений, чтобы за счет *causae* представить *effectus* в монументальном виде, именно как нечто типичное и достойное подражания; ввиду того что она по возможности игнорирует причины, ее можно было бы назвать почти без преувеличения собранием "эффектов в себе", т. е. таких событий, которые будут всегда и везде производить эффект. То, что празднует народ в своих празднествах или во время религиозных или военных годовщин, и есть, в сущности, такой "эффект в себе"; именно он не дает спать честолюбивым людям, его, как амулет, носят на сердце предприимчивые натур, а вовсе не действительное историческое сплетение причин и следствий, которое, всесторонне исследованное, могло бы служить только доказательством того, что в азартной игре будущего и случая никогда не повторяется вполне одинаковая комбинация.

До тех пор пока душа исторического описания будет заключаться в тех великих побуждениях, которые почерпает из него могучая личность, пока прошлое будет изображаться как нечто достойное подражания и как доступное подражанию и могущее повториться еще раз, - до тех пор истории, конечно, грозит опасность подвергнуться некоторому искажению, приукрашиванию и в силу этого сближению со свободным вымыслом; мало того, были эпохи, которые совершенно не могли провести границу между монументальным прошлым и мифического характера фикцией; ибо как из того, так и из другого мира могут быть извлечены одинаковые стимулы. Если поэтому монументалистское изображение прошлого господствует над остальными способами исторического описания, т. е. над антикварным и критическим, то от этого страдает прежде всего само прошлое: целые значительные отделы прошлого предаются забвению и пренебрежению и образуют как бы серый, однообразный поток, среди которого возвышаются, как острова, отдельные разукрашенные факты; в редких личностях, которые выделяются на этом фоне, бросается в глаза нечто неестественное и чудесное вроде золотого бедра, которое ученики Пифагора мнили видеть у своего учителя. Монументальная история вводит в заблуждение при помощи аналогий: мужественных она путем соблазнительных параллелей воодушевляет на подвиги отчаянной смелости, а одушевление превращает в фанатизм; когда такого рода история западает в головы способных эгоистов и мечтательных злодеев, то в результате подвергаются разрушению царства,

убиваются властители, возникают войны и революции, и число исторических "эффектов в себе", т. е. следствий без достаточных причин, снова увеличивается. До сих пор шла речь о бедах, которые может натворить монументальная история в среде могучих и деятельных натур, безразлично, будут ли эти последние добрыми или злыми; но можно себе представить, каким окажется ее влияние, если ею завладеют и постараются ее использовать бессильные и малодеятельные натуры!

Возьмем самый простой и наиболее часто встречающийся пример. Представим себе нехудожественные и малохудожественные натуры во всеоружии средств, которые может дать монументальная история искусства. Против кого они обратят теперь свое оружие? Против своих наследственных врагов, против людей с сильно выраженной художественной индивидуальностью, т. е. против тех, которые одни были бы в состоянии у этого рода истории действительно научиться, т. е. научиться тому, что нужно для жизни, и могли бы претворить воспринятое в более высокую практику. Но им-то и преграждают путь, им-то и заслоняют свет, кружась с необыкновенным усердием в какой-то идолопоклоннической пляске вокруг плохо понятого монумента какого-нибудь великого прошлого и как бы желая тем сказать им: "Смотрите, вот истинное и настоящее искусство; не обращайтесь никакого внимания на тех, кто чего-то ищет, к чему-то стремится!" По-видимому, эта пляшущая толпа присвоила себе даже привилегию "хорошего вкуса": ибо всегда творческие натуры оттеснялись теми, кто были только зрителями и сами не прикладывали рук к делу, точно так же как во все эпохи политические болтуны казались умнее, справедливее и рассудительнее, чем стоявшие во главе правительства государственные люди. Если же мы перенесем в область искусства обычаи всенародного голосования и преобладание численного большинства и заставим художника защищать свое дело как бы перед трибуналом эстетических бездельников, то можно заранее поклясться, что он будет осужден, и осужден не вопреки, а именно благодаря тому, что судьи его торжественно провозгласили канон монументального искусства (т. е. того искусства, которое, в согласии с предыдущим объяснением, во все времена "производило эффект"): ведь у них нет ни потребности, ни бескорыстной склонности к современному искусству, т. е. к еще не успевшему сделаться монументальным и не освященному для них авторитетом истории искусству. Напротив, их инстинкт подсказывает им, что искусство может быть убито искусством же: монументальное не должно ни в каком случае вновь возникать, а для этой цели именно пригодно то, что однажды уже заручилось в прошлом авторитетом монументального. Таким образом, они - ценители искусства потому, что они вообще хотели бы упразднить искусство; они выдают себя за врачей, тогда как они в сущности задаются целью отравить искусство; они совершенствуют свой язык и свой вкус только для того, чтобы в своей изощренности найти оправдание упорному отказу от предлагаемых им питательных художественных блюд. Ибо они вовсе не хотят, чтобы было создано что-нибудь великое: средством для них служит фраза: "Смотрите, великое уже существует!" В действительности их так же мало трогает то великое, которое уже существует, как и то, которое возникает; об этом свидетельствует вся их жизнь. Монументальная история есть то маскарадное платье, под которым их ненависть к могучим и великим личностям их эпохи выдает себя за удовлетворенное преклонение пред великими и могучими личностями прошедших времен; этот маскарад нужен также для того, чтобы истинный смысл этого способа исторического рассмотрения подменить противоположным: сознают ли они это ясно или нет, но во всяком случае действуют они так, как будто девиз их был: "Пусть мертвые погребают живых".

Каждый из существующих трех типов истории может законно развиваться лишь на известной почве и в известном климате, на всякой другой почве он вырождается в сорную траву, заглушающую здоровые побеги. Если человек, желающий создать нечто великое, вообще нуждается в прошлом, то он овладевает им при помощи монументальной истории; кто, напротив, желает оставаться в пределах привычного и освященного преданием, тот смотрит на прошлое глазами историка-антиквария, и только тот, чью грудь теснит забота о нуждах настоящего и кто задался целью сбросить с себя какую бы то ни было ценою угнетающую его тягость, чувствует потребность в критической, т. е. судящей и осуждающей, истории. Бесцельное пересаживание растений порождает немало зла: критик помимо нужды, антикварий без пиетета, знаток великого без способности к великому суть именно такие заросшие сорной травой, оторванные от родной почвы и поэтому выродившиеся растения.

3

Итак, история, во вторую очередь, принадлежит тому, кто охраняет и почитает прошлое, кто с верностью и любовью обращает свой взор туда, откуда он появился, где он стал тем, что он есть; этим благоговейным отношением он как бы погашает долг благодарности за самый факт своего существования. Заботливой рукой оберегая издавна существующее, он стремится сохранить в неприкосновенности условия, среди которых он развился, для тех, которые должны прийти после него, - и в этом выражается его служение жизни. В такой душе домашняя обстановка предков получает совершенно иной смысл: если предки владели ею, то теперь она владеет этой душой. Все мелкое, ограниченное, подгнившее и устарелое приобретает свою особую, независимую ценность и право на неприкосновенность вследствие того, что консервативная и благочестивая душа антикварного человека как бы переселяется в эти вещи и устраивается в них, как в уютном гнезде. История родного города становится его собственной историей; городские стены, башни на городских воротах, постановления городской думы, народные празднества ему так же знакомы и близки, как украшенный картинками дневник его юности; он открывает самого себя во всем этом, свою силу, свое усердие, свои

удовольствия, свои суждения, свою глупость и свои причуды. Здесь жилось недурно, говорит он, ибо и сейчас живется недурно; здесь можно будет жить недурно и в будущем, ибо мы достаточно упорны и с нами не так-то легко справиться. При помощи этого "мы" он поднимается над уровнем преходящего загадочного индивидуального существования и представляется самому себе гением своего дома, рода и города. По временам он даже за длинным рядом затемняющих и затрудняющих понимание столетий приветствует душу своего народа, как свою собственную душу; способность проникать в сокровенный смысл событий, предчувствовать этот смысл, способность идти по почти стершимся следам, инстинктивное умение правильно читать закрывающие друг друга письма прошлого, быстрое расшифровывание палимпсестов и даже полипсестов - вот его таланты и добродетели. Во всеоружии последних стоял некогда Гете пред памятником Эрвина фон Штейнбаха; в буре овладевших его душой чувств порвалась историческая туманная завеса, отделявшая его от той эпохи; он в первый раз снова увидел создание немецкого духа, "выросшее из сильной и суровой немецкой души". Такой же инстинкт и такие же чутье и влечение руководили итальянцами эпохи Возрождения и пробудили в их поэтах античный гений Италии к новой жизни, к "чудесному новому звону древней музыки струн", как выразился Якоб Буркхардт. Но наивысшую ценность имеет такой исторически-антикварный инстинкт благоговения там, где он озаряет скромные, суровые и даже убогие условия, в которых живет отдельный человек или народность, светом простого, трогательного чувства удовлетворения и довольства; Нибур, например, с искренней прямоотой сознается в том, что он чувствует себя прекрасно среди степей и болот, у свободных крестьян, создавших свою историю, и нисколько не страдает от отсутствия искусства. Чем могла бы история лучше служить жизни, как не тем, что она привязывает даже и менее избалованные судьбой поколения и народности к их родине и родным обычаям, делает их более оседлыми и удерживает от стремления искать счастья на чужбине и бороться за него с другими? По временам кажется даже, что только упрямство и неразумие могут как бы пригвождать отдельную личность к этому обществу, к этой обстановке, к этому исполненному лишений привычному существованию, к этим голым утесам; но в действительности это - спасительное и в высшей степени полезное с точки зрения интереса общества неразумие, как это хорошо известно каждому, кто ясно представляет себе ужасные последствия страсти к переселениям, в особенности когда она овладевает целыми группами народов, или кто наблюдал вблизи состояние народа, потерявшего преданность своему прошлому и ставшего жертвой неутомимых космополитических поисков новых форм. Противоположное этому чувство, чувство благополучия дерева, пустившего прочные корни, счастье, связанное с сознанием, что твое существование не есть дело случайности и произвола, но есть наследство, цвет и плод известного прошлого и что оно в этом находит свое извинение и даже оправдание, -- вот что теперь предпочитают называть истинным историческим чувством.

Разумеется, это не есть то состояние, в котором человек наиболее способен переработать прошлое в чистое знание, так что мы и тут можем наблюдать то же, что мы наблюдали и в области монументальной истории: само прошлое неизбежно подвергается искажению, пока история призвана служить жизни и пока она подчинена власти жизненных инстинктов. Или, прибегая к несколько вольному сравнению: дерево скорее чувствует свои корни, чем видит их, сила же этого чувства измеряется для него величиной и мощью видимых для него ветвей. Разумеется, дерево при этом очень часто становится жертвой ошибки, но можно себе представить, как велики ошибки дерева, когда дело идет об окружающем его лесе, о котором оно знает и присутствие которого ощущает, лишь поскольку этот лес задерживает его собственный рост или способствует ему - но и только. Антикварное чувство отдельной личности, городской общины или целого народа ограничено очень тесными горизонтами; многого они вовсе не замечают, а то немногое, что входит в круг их зрения, они видят слишком близко и слишком изолированно; они не находят подходящего масштаба для последнего, считают поэтому все одинаково важным и тем придают слишком большое значение каждому отдельному явлению. В отношении фактов прошлого в этом случае не существует никаких различий в ценности и пропорции, которые были бы вполне пригодны для сравнения этих фактов друг с другом, но всегда лишь меры и пропорции, определяющие отношения этих фактов к личности или народам, изучающим прошлое с антикварной точки зрения.

Но тут всегда близка одна опасность: в конце концов все старое и прошлое, раз оно только попадает в круг нашего зрения, объявляется без дальнейших рассуждений равно достойным уважения, а все, что не соглашается преклониться перед этим старым, т. е. все новое и возникающее, заподозревается и отклоняется. Так, даже греки мирились с существованием иератического стиля в их изобразительном искусстве наряду с существованием свободного и великого стиля, а впоследствии они не только мирились с острыми носами и ледяной улыбкой, но даже усматривали в них особую изысканность вкуса. Когда чувства народа делаются настолько грубыми, когда история служит минувшей жизни так, что подрывает дальнейшую жизнь и в особенности высшие ее формы, когда историческое чувство народа не сохраняет, а бальзамирует жизнь, - тогда дерево умирает, и притом, вразрез с естественным порядком вещей, умирает постепенно, начиная от вершины и кончая корнями, которые обыкновенно также в конце концов погибают. Сама антикварная история вырождается, когда живая современная жизнь перестает ее одухотворять и одушевлять. Тогда умирает благоговейное отношение к истории, остается только известный ученый навык, эгоистически самодовольно вращающийся вокруг своего центра. Тут-то нашим взорам открывается отвратительное зрелище слепой страсти к собиранию фактов, неутомимого накопления всего, что когда-либо существовало. Человек окружает себя атмосферой затхлости; ему удается благодаря антикварной манере низвести даже более выдающиеся способности и более благородную потребность на уровень

ненасытного любопытства к новому или, точнее, любопытства к старому и всезнания; часто же он падает так низко, что под конец довольствуется всякой пищей и с удовольствием глотает даже пыль библиографических мелочей.

Но даже когда такое вырождение не наблюдается, когда антикварная история не теряет из-под ног почвы, на которой она только и может произрастать на благо жизни, все-таки опасность еще не может считаться совершенно устраненной, именно если антикварная история развивается слишком пышно и своим ростом заглушает развитие других методов изучения прошлого. Ведь она способна только сохранять жизнь, а не порождать ее, поэтому она всегда приуменьшает значение нарождающегося, не обладая для правильной оценки его тем чутким инстинктом, каким располагает, например, монументальная история. Благодаря этому она задерживает энергичную решимость на новое, парализует силы деятеля, который в качестве такового всегда будет и должен оскорблять некоторые святыни. Самый факт, что известная вещь успела состариться, порождает теперь требование признать за ней право на бессмертие: ибо если подсчитать все, что такой обломок старины - старый обычай отцов, религиозное верование, унаследованная политическая привилегия - переиспытал в течение своего существования, если подсчитать сумму благоговения и поклонения, которыми он окружался со стороны отдельных лиц или поколений, то представляется большой дерзостью или даже кощунством требовать замены подобной старины какой-либо новизной, а такому громадному скоплению благоговения и поклонения противопоставлять единицы нового и современного.

Не ясно ли теперь, насколько необходим подчас человеку наряду с монументальным и антикварным способами изучения прошлого также третий способ - критический, но и в этом случае только в целях служения жизни. Человек должен обладать и от времени до времени пользоваться силой разбивать и разрушать прошлое, чтобы иметь возможность жить дальше; этой цели достигает он тем, что привлекает прошлое на суд истории, подвергает последнее самому тщательному допросу и, наконец, выносит ему приговор; но всякое прошлое достойно того, чтобы быть осужденным - ибо таковы уж все человеческие дела: всегда в них мощно сказывались человеческая сила и человеческая слабость. Не справедливость здесь творит суд и не милость диктует приговор, но только жизнь как некая темная, влекущая, ненасытно и страстно сама себя ищущая сила. Ее приговоры всегда немилостивы, всегда пристрастны, ибо они никогда не проистекают из чистого источника познания; но если бы даже приговоры были продиктованы самой справедливостью, то в громадном большинстве случаев они не были бы иными. "Ибо все, что возникает, достойно гибели. Поэтому было бы лучше, если бы ничто не возникало". Нужно очень много силы, чтобы быть в состоянии жить и забывать, в какой мере жить и быть несправедливым есть одно и то же. Даже Лютер выразился однажды, что мир обязан своим возникновением забывчивости Бога: дело в том, что если бы Бог вспомнил о "дальнобойном оружии", то он не сотворил бы мира. Но по временам та же самая жизнь, которая нуждается в забвении, требует временного прекращения способности забвения; это происходит, когда необходимо пролить свет на то, сколько несправедливости заключается в существовании какой-нибудь вещи, например известной привилегии, известной касты, известной династии, и насколько эта самая вещь достойна гибели. Тогда прошлое ее подвергается критическому рассмотрению, тогда подступают с ножом к ее корням, тогда жестоко попираются все святыни. Но это всегда очень опасная операция, опасная именно для самой жизни, а те люди или эпохи, которые служат жизни этим способом, т. е. привлекая прошлое на суд и разрушая его, суть опасные и сами подвергающиеся опасности люди и эпохи. Ибо так как мы непременно должны быть продуктами прежних поколений, то мы являемся в то же время продуктами и их заблуждений, страстей и ошибок и даже преступлений, и невозможно совершенно оторваться от этой цепи. Если даже мы осуждаем эти заблуждения и считаем себя от них свободными, то тем самым не устраняется факт, что мы связаны с ним нашим происхождением. В лучшем случае мы приходим к конфликту между унаследованными нами, прирожденными нам свойствами и нашим познанием, может быть, к борьбе между новой, суровой дисциплиной и усвоенным воспитанием и врожденными навыками, мы стараемся вырастить в себе известную новую привычку, новый инстинкт, вторую натуру, чтобы таким образом искоренить первую натуру. Это как бы попытка создать себе а posteriori такое прошлое, от которого мы желали бы происходить в противоположность тому прошлому, от которого мы действительно исходим, - попытка всегда опасная, так как очень нелегко найти надлежащую границу в отрицании прошлого и так как вторая натура по большей части слабее первой. Очень часто дело ограничивается одним пониманием того, что хорошо, без осуществления его на деле, ибо мы иногда знаем то, что является лучшим, не будучи в состоянии перейти от этого сознания к делу. Но от времени до времени победа все-таки удастся, а для борющихся, для тех, кто пользуется критической историей для целей жизни, остается даже своеобразное утешение: знать, что та первая природа также некогда была второй природой и что каждая вторая природа, одерживающая верх в борьбе, становится первой.

4

Таковы услуги, которые может оказать жизни история; каждый человек и каждый народ нуждается, смотря по его целям, силам и потребностям, в известном знакомстве с прошлым, в форме то монументальной, то антикварной, то критической истории, но нуждается в этом не как сборище чистых мыслителей, ограничивающихся одним созерцанием жизни, и даже не как отдельные единицы, которые в жажде познания могут удовлетвориться только познанием и для которых расширение этого последнего является самоцелью, но всегда в виду жизни, а следовательно, всегда под властью и верховным руководством этой жизни. Что таково

естественное отношение известной эпохи, известной культуры, известного народа к истории - вызываемое голодом, регулируемое степенью потребности, удерживаемое в известных границах внутренней пластической силой, - что, далее, знание прошлого во все времена признавалось желательным только в интересах будущего и настоящего, а не для ослабления современности, не для подрывания устоев жизнеспособной будущности, - это все очень просто, как проста сама истина, и ясно до очевидности и для того, кто не считает необходимым требовать и по этому поводу исторических доказательств.

А теперь попробуем бросить беглый взгляд на наше время! Мы испуганы, мы готовы бежать прочь: куда исчезла вся ясность, вся естественность и чистота упомянутого отношения жизни к истории, сколь запутанной, сколь непомерно раздутой, сколь беспокойно колеблющейся является теперь эта проблема нашему взору! Быть может, в этом виноваты мы - исследователи? Или на самом деле конstellляция жизни и истории изменилась благодаря тому, что между ними встала какая-то могучая и враждебная звезда? Пусть другие доказывают, что наше зрение обманывает нас; мы расскажем то, что мы видим. Такая звезда, звезда сверкающая и великолепная, действительно встала между жизнью и историей, конstellляция действительно изменилась, и изменилась благодаря науке, благодаря требованию, чтобы история сделалась наукой. Теперь не одна жизнь царствует и подчиняет себе знание прошлого - нет, пограничные столбы сброшены, и все, что когда-либо было, обрушивается на человека. Все перспективы отодвигаются назад, к началу всякого развития, т. е. в бесконечность. Ни перед одним поколением не открывалось еще такого необозримого зрелища, какое разворачивает перед нами теперь наука о всеобщем развитии - история; правда, она руководится при этом весьма смелым, но опасным девизом: *fiat veritas, pereat vita*.

Попробуем теперь составить себе представление о том духовном процессе, который возникает при этом в душе современного человека.словно из неиссякаемого источника, изливаются на человека все новые и новые потоки исторического знания, чуждое и лишенное связи надвигается на него, память широко отворяет свои двери, все же не будучи в состоянии вместить всего, природа прилагает все усилия, чтобы достойным образом принять, разместить и почтить чужестранных гостей, но эти последние враждуют между собой, и, по-видимому, она должна одолеть и подчинить себе всех их, чтобы не погибнуть самой в их столкновении. Привычка к такому беспорядочному, бурному и воинственному хозяйничанью становится постепенно второй натурой, хотя уже с самого начала ясно, что эта вторая натура гораздо слабее, гораздо беспокойнее и во всех отношениях менее здорова, чем первая. Современный человек вынужден под конец всюду таскать с собой невероятное количество неудобоваримых камней знаний, которые впоследствии при случае могут, как говорится в сказке, "изрядно стучать в желудке". Эта стукотня выдает существенное свойство современного человека - удивительное противоречие между внутренней сущностью, которой не соответствует ничто внешнее, и внешностью, которой не соответствует никакая внутренняя сущность, противоречие, которого не знали древние народы. Знание, поглощаемое в избытке не ради утоления голода и даже сверх потребности, перестает действовать в качестве мотива, преобразующего и побуждающего проявиться вовне, и остается скрытым в недрах некоего хаотического внутреннего мира, который современный человек со странной гордостью считает свойственной ему лично "духовностью". В таких случаях обыкновенно говорят: содержание у нас есть, нам не хватает только формы; но для всего живого это совершенно недопустимое противоречие. Наша современная культура именно потому и имеет характер чего-то неживого, что ее совершенно нельзя понять вне этого противоречия, или, говоря иначе, она, в сущности, и не может вовсе считаться настоящей культурой; она не идет дальше некоторого знания о культуре, это мысль о культуре, чувство культуры, она не претворяется в культуру-реальность. То же, что на самом деле действует как мотив, проявляясь в поступке, то является часто не более как безразличной условностью, жалким подражанием или даже грубой гримасой. Внутреннее чувство в этом случае покоится, подобно той змее, которая, проглотив целого кролика, спокойно укладывается на солнце, избегая всяких движений, кроме самых необходимых. Внутренний процесс становится теперь самоцелью: он и есть истинная "культура". Такая культура может вызвать у каждого наблюдателя со стороны лишь одно пожелание - чтобы она не погибла от неудобоваримости своего содержания. Если мы представим себе, что в роли такого наблюдателя является грек, то последний, наверно, пришел бы к заключению, что для новых людей понятия "образованный" и "исторически образованный" переплелись так тесно между собой, как будто бы они были тождественны и отличались друг от друга только числом слов. Если бы он далее к этому прибавил еще, что можно быть очень образованным и не иметь в то же время никакого исторического образования, то многие подумали бы, что они ослышались, и, наверно, в ответ на это только покачали бы головой. Одна довольно известная небольшая народность не очень отдаленного прошлого - я разумею греков - в период своего величайшего могущества сумела упорно сохранить присущее ей неисторическое чувство; если бы современный человек каким-нибудь чудом был перенесен в эту атмосферу, он, по всей вероятности, нашел бы греков очень "необразованными", чем, правда, была бы раскрыта и отдана на всеобщее посмеище столь тщательно скрываемая тайна современного образования, ибо мы, современные, ничего не имеем своего; только благодаря тому, что мы нагружаем и перегружаем себя чужими эпохами, нравами, искусствами, философскими учениями, религиями, знаниями, мы становимся чем-то достойным внимания, а именно, ходячими энциклопедиями, за которые, может быть, нас и принял бы древний эллин, перенесенный в нашу эпоху. Ценность же энциклопедий заключена только в их содержании, т. е. в том, что в них написано, а не в том, что напечатано на обложке, не во внешней оболочке, не в

переплете; точно так же и сущность всего современного образования заключается в его содержимом; на обложке же его переплетчик напечатал что-то вроде: "руководство по внутреннему образованию для варваров по внешности". Мало того, это противоречие между внешним и внутренним делает внешнее еще более варварским, чем оно было бы, если бы дело шло о каком-нибудь некультурном народе, развивающемся только из себя сообразно своим грубым потребностям. Ибо, в самом деле, какое средство остается природе, чтобы одолеть массу с излишком притекающего материала? Конечно, только одно - воспринимать этот материал насколько можно легче, чтобы потом тем скорее снова устранить его и от него отделаться. Отсюда возникает привычка относиться к действительным вещам несерьезно; на этой почве образуется "слабая личность", вследствие чего действительное, существующее производит только незначительное впечатление; по внешности люди становятся все более пассивными и индифферентными, причем опасная пропасть между содержанием и формой все расширяется до тех пор, пока человек не сделается совершенно нечувствительным к проявлениям варварства, при условии, однако, чтобы память постоянно возбуждалась, чтобы не прекращался приток новых интересных явлений, которые могли бы быть опрятно разложены по ящикам этой памяти. Культура известного народа, взятая в ее противоположности варварству, была однажды определена не без некоторого основания как единство художественного стиля во всех проявлениях жизни этого народа; определение это, однако, не должно быть понимаемо в том смысле, что здесь имеется в виду противоположность между варварством и прекрасным стилем; народ, за которым признается право на известную культуру, должен только представлять собой в действительности известное живое единство и не распадаться столь безобразно на внешнюю и внутреннюю стороны, на содержание и форму. Кто стремится к развитию культуры известного народа или желает содействовать ей, тот должен стремиться к этому высшему единству и содействовать ему, работая над вытеснением современной образованности истинным образованием; он должен иметь смелость поставить себе ясно вопрос, каким образом может быть восстановлено подорванное историей здоровье народа и как последнему снова обрести свои инстинкты и вместе с ними свою честность.

Я имею в виду при этом главным образом нас, современных немцев, страдающих, более чем какой-либо другой народ, упомянутой слабостью личности и противоречием между содержанием и формой. Форма в глазах наших является лишь простой условностью, как некоторая маска или притворство, и потому она если не внушает прямой ненависти, то, во всяком случае, не пользуется любовью. Еще правильнее было бы сказать, что мы испытываем какой-то необыкновенный страх перед словом "условность", да и перед самим фактом условности. Из-за этого страха немец ушел из школы французов: ибо он хотел стать более естественным и, следовательно, более немцем. Но, по-видимому, он просчитался в этом "следовательно": освободившись от школы условности, он побрел, как и куда ему казалось более приятным, а проделывал теперь, в сущности неряшливо и безалаберно и как бы спроне, то же, чему он прежде столь старательно и часто безуспешно подражал. Так живем мы, по сравнению с прежними временами, и поныне еще среди какой-то развязно-некорректной французской условности, как об этом свидетельствует вся наша манера ходить, стоять, беседовать, одеваться и жить. Думая возвратиться назад, к естественности, мы, в сущности, усвоили себе какую-то халатность, распушенность, желание как можно меньше утруждать себя. Стоит только пройтись по улицам немецкого города, чтобы увидеть, что вся наша условность, в сравнении с национальными особенностями иностранных городов, сказывается только на отрицательной стороне дела - все бесцветно, затаскано, плохо скопировано, небрежно. Каждый действует в силу своего собственного усмотрения, но не в силу мощного продуманного усмотрения, а по правилам, подсказанным прежде всего всеобщей торопливостью и затем всеобщим стремлением не очень обременять себя. Какая-нибудь одежда, изобретение которой не требует особых усилий мысли, а надевание - особенной затраты времени, другими словами, одежда, заимствованная у иностранцев и сшитая по их образцу возможно небрежно, у немцев сейчас же сходит за дополнение к немецкому национальному костюму. Чувство формы отрицается немцами чуть ли не с насмешкой - ибо ведь у них есть чувство содержания: недаром они славятся как народ внутренней содержательности.

Но эта внутренняя содержательность связана и с одной очень известной опасностью: само содержание, которое, согласно предположению, не проявляется ни в чем вовне, может при случае совершенно улетучиться, а между тем снаружи отсутствие его совершенно не было бы заметно, как незаметно было раньше его присутствие. Но допустим, что немецкий народ очень далек от этой опасности; все-таки иностранцы всегда до известной степени правы, когда они упрекают нас в том, что наша внутренняя содержательность слишком слаба и неупорядоченна, чтобы проявить себя вовне и вылиться в определенную форму. Тем не менее этот внутренний мир может отличаться в высокой степени тонкой восприимчивостью, серьезностью, глубиной, искренностью, добротой и, быть может, более богат, чем у других народов; но как целое он остается слабым, ибо все эти прекрасные отдельные волокна не сплетаются в один мощный узел; поэтому видимое внешнее действие не может считаться проявлением и откровением целого внутреннего мира, а только слабой или грубой попыткой одного такого отдельного волокна выдать себя за целое. Поэтому о немце совершенно нельзя судить по одному его поступку, и индивидуальность его может и после этого поступка оставаться совершенно скрытой. Как известно, немца нужно судить по его мыслям и чувствам, а эти последние высказываются им в настоящее время в его книгах. Если бы только эти самые книги не возбуждали за последнее время, более чем когда-либо, сомнения, продолжает ли действительно эта знаменитая внутренняя содержательность гнездиться в своем недоступном маленьком храме;

а то возможна ужасная мысль, что эта внутренняя содержательность в один прекрасный день исчезла и что осталась только одна внешность - та высокомерно неуклюжая и униженно развязная внешность, которая составляет характерную особенность немца. Это было бы почти столь же ужасно, как если бы внутренний мир незаметно был в своем храме подменен другим, поддельным, подкрашенным и покрашенным, и превратился бы в комедианта, если не во что-либо еще худшее; так склонен был, например, думать на основании своего театрално-драматического опыта Грильпарцер, этот созерцательно-спокойный сторонний наблюдатель. "Мы ощущаем с помощью абстракций, - говорит он, - и мы едва ли можем себе представить, как выражается ощущение у наших современников; мы заставляем его проделывать скачки, которых оно теперь само не делает. Шекспир испортил всех нас, новейших писателей".

Это - единичный и, может быть, слишком быстро обобщенный факт; но как ужасно было бы, если бы мы действительно имели право обобщить его, если бы единичные факты такого рода слишком часто попадались на глаза наблюдателю, каким отчаянием тогда звучал бы вывод: мы, немцы, ощущаем с помощью абстракции, мы все испорчены историей, - вывод, который мог бы подорвать в самом корне всякую надежду на грядущую национальную культуру: ибо всякая подобная надежда является продуктом веры в неподдельность и непосредственность немецкого чувства, веры в нетронутость внутреннего мира. К чему еще надеяться, к чему верить, когда самый источник веры и надежды замутился; когда наша внутренняя природа научилась делать скачки, плясать, румяниться, проявлять себя в абстрактной форме и с известным расчетом, постепенно утрачивая способность находить самое себя! И как может великий продуктивный ум долго выдержать среди народа, который не уверен больше в единстве своего внутреннего мира и который распался на две половины: на образованных с искаженным и запутанным внутренним миром и на необразованных с недоступным внутренним миром! Как может он это выдержать, когда единство народного чувства утрачено, когда он кроме того, знает, что именно чувства той части народа, которая называет себя образованной и заявляет претензии на представительство национального художественного духа, поддельны и подкрашены. Пусть даже в отдельных случаях суждение и вкус единиц сделались более утонченными и изощренными, - это не может его вознаградить: не мучительно ли для него чувствовать, что ему приходится говорить как бы для какой-то кучки сектантов и что он более не нужен в среде своего народа. Может быть, ему было бы приятнее теперь закопать в землю свои сокровища, ибо ему противно высокомерное покровительство секты в то время, когда его сердце полно любви ко всем. Инстинкт народа уже больше не идет ему навстречу; бесполезно раскрывать ему со страстной надеждой свои объятия. Что остается ему теперь делать, как не направить всю силу своей ненависти против этого связывающего его заклания, против препятствий, воздвигаемых на его пути так называемой культурой его народа, чтобы заклеить, по крайней мере в качестве судьи, то, что для него, живого и творящего жизнь, означает разрушение и осквернение: таким образом он вынужден променять божественную радость творчества и содействия на глубокое сознание неотвратимости своей судьбы и окончить свое существование, как одинокий мыслитель и пресыщенный знаниями мудрец. Это - тягостнейшее из всех зрелищ: в каждом наблюдателе оно пробуждает чувство священной обязанности; он скажет себе: здесь нужна твоя помощь, ибо то высшее единство в природе и душе народа должно быть восстановлено и разрыв между внутренним и внешним должен исчезнуть под ударами молота нужды. К каким же средствам он должен теперь обратиться? Что ему остается опять-таки, кроме глубокого понимания? Высказывая свое убеждение, распространяя его, сея его щедрой рукой, он надеется взрастить известную потребность, а сильная потребность когда-нибудь породит мощное дело. И чтобы не было никаких сомнений, в чем я вижу эту нужду, эту потребность, это познание, о котором я говорил только что, - я удостоверяю здесь определенно, что то единство, к которому мы стремимся, и стремимся с большей страстностью, чем к политическому объединению, есть немецкое единство, единство немецкого духа и жизни, основанное на устранении противоположности между формой и содержанием, внутренним миром и условностью.

5

В пяти отношениях представляется мне опасным и вредным для жизни перенасыщение известной эпохи историей: избытком истории порождается описанный выше контраст между внешним и внутренним и ослабляется тем самым личность; этот избыток создает для известной эпохи иллюзию, будто она в большей степени, чем всякая другая, обладает редчайшей из всех добродетелей - справедливостью: избытком этим нарушаются инстинкты народа, задерживается созревание как отдельных личностей, так и целого; на почве этого избытка вырастает вредная при всех условиях вера в старость человечества - вера в то, что наше поколение есть запоздалое поколение эпигонов: благодаря тому же избытку известная эпоха усваивает себе опасное настроение иронии к самой себе, которое в свою очередь влечет за собой еще более опасное настроение цинизма, а это последнее способствует все большему развитию расчетливой эгоистической практики, парализующей и в конце концов подрывающей жизненные силы.

А теперь возвратимся к нашему первоначальному положению: современный человек страдает ослаблением личности. Римлянин императорского периода, зная, что к услугам его целый мир, перестал быть римлянином и среди нахлынувшего на него потока чуждых ему элементов утратил способность быть самим собой и вырождился под влиянием космополитического карнавала религий, нравов и искусств; эта же участь, очевидно, ждет и современного человека, который устраивает себе при помощи художников истории непрерывный праздник

всемирной выставки; он превратился в наслаждающегося и бродячего зрителя и переживает такое состояние, из которого даже великие войны и революции могут вывести его разве только на одно мгновение. Война еще не кончилась, а ее уже успели сто тысяч раз переработать в печатную бумагу, она уже предлагается как новейшее средство для возбуждения испорченного аппетита обжиралам истории. И кажется почти невозможным извлечь сильный и полный тон даже при помощи сильнейшего удара по струнам: он сейчас же слабеет и в следующее же мгновение звучит исторически-нежно и в бессилии замирает. Выражаясь на языке морали, вы не умеете удержаться на почве возвышенного, ваши деяния суть внезапные удары, а не раскаты грома. Даже если вам удастся совершить нечто грандиозное и удивительное - оно все же без песни и без звуков нисходит в Орк. Ибо искусство сейчас же обращается в бегство, как только вы приступаете к возведению исторического шатра над вашими подвигами. Тот, кто стремится в один миг понять, рассчитать и постигнуть там, где он, глубоко потрясенный, должен был бы стараться удержать непонятное, ибо оно возвышенно, может быть назван рассудительным, но только в том смысле, в котором Шиллер говорит о рассудке рассудительных; он не видит кое-чего, что видит ребенок, он не слышит кое-чего, что слышит ребенок; но это кое-что и есть именно самое важное; а так как оно ему не понятно, то его понимание оказывается более ребячливым, чем ребенок, и более нескладным, чем нескладность, - несмотря на все хитрые складки в пергаментных чертах его лица и виртуозное искусство, обнаруживаемое его пальцами в деле распутывания запутанного. Это значит: он уничтожил и утратил свой инстинкт, он не может по-прежнему, отпустив поводья, ввериться "божественному зверю" в тех случаях, когда разум ему изменяет, а путь идет через пустыни. От этого индивид делается робким, нерешительным и не смеет больше рассчитывать на самого себя. Он погружается в самого себя, в свой внутренний мир, т. е. в беспорядочную грудку накопленного знания, которое не проявляет себя ничем вовне, и образования, которое не претворяется в жизнь. Если мы обратим внимание на внешнее, то мы заметим, что подавление инстинктов историей превратило людей почти в сплошные abstractis и тени: никто не осмеливается проявить свою личность, но каждый носит маску или образованного человека, или ученого, или поэта, или политика. Когда же кто-нибудь вздумает напасть на эти маски в полной уверенности, что это не шутовская комедия, а серьезное дело, - ибо все они выставляют на вид свою серьезность, - то в руках у него внезапно оказываются только лохмотья и пестрые лоскутья. Поэтому не следует поддаваться обману, но нужно прикрикнуть: "Или снимите ваши маскарадные уборы, или будьте тем, чем вы кажетесь". Каждый по природе серьезный человек не должен делаться Дон-Кихотом, ибо у него есть лучшее занятие, чем борьба с такими мнимыми реальностями. Во всяком случае он должен зорко вглядываться в окружающее, при виде замаскированных людей он должен кричать: "Стой, кто тут?" - и срывать с них личины. Странно! История должна была бы прежде всего сообщать людям мужество быть честными, хотя бы даже честными глупцами; и таково было действительно всегда ее влияние, но только не теперь! Мы видим одновременное господство исторического образования и универсального буржуазного сютука. Между тем еще никогда не говорилось с таким пафосом о "свободной личности", как теперь, мы не видим не только свободных, но даже просто личностей, а только боязливо закутанных универсальных людей. Индивид притаился в своем внутреннем мире: снаружи его совершенно незаметно, причем позволительно усомниться, могут ли вообще существовать причины без следствий. Или, может быть, необходимо поколение евнухов для охраны великого всемирно-исторического гарема? Им, конечно, чистая объективность очень к лицу. Дело похоже на то, что задача сводится к охране истории, с тем чтобы из нее получались лишь разные "истории", а не действительные события, и к предотвращению возможности для личности сделаться при посредстве истории "свободной", т. е. правдивой в отношении себя самой, правдивой в отношении других, и притом не только на словах, но и на деле. Только благодаря такой правдивости обнаружатся убожество и внутренняя нищета современного человека, а на место тщательно все прикрывающей условности и маскарада могут появиться в качестве истинных спасителей искусство и религия, чтобы общими силами создать такую культуру, которая отвечала бы истинным потребностям человека и которая не учила бы нас только, подобно современному общему образованию, обманывать самих себя относительно этих потребностей и превращаться таким образом в ходячую ложь.

В какие неестественные, искусственные и во всяком случае недостойные положения приходится попадать в эпоху, страдающую недугом общего образования, правдивейшей из всех наук, честной, нагой Богине Философии! В этом мире вынужденного, внешнего однообразия она остается лишь ученым монологом одинокого скитальца, случайной добычей отдельного охотника, скрытой кабинетной тайной или неопасной болтовней между академическими старцами и детьми. Никто не осмеливается применить к самому себе закон философии, никто не решается жить как философ, обнаруживая ту простую верность мужа, которая заставляла античного мыслителя вести себя, как приличествовало стоику, где бы он ни находился и что бы ни делал, если только он однажды присягнул на верность стоической философии. Все же современное философствование носит политический и полицейский характер и осуждено правительствами, церковью, академиями, нравами и людской трусостью на роль только ученой внешности; оно ограничивается или вздохом: "о, если бы...", или же сознанием: "это было некогда". Философия теряет свой смысл при историческом образовании, если только она хочет быть чем-то большим, чем задержанным внутри человека знанием без внешнего действия: если бы современный человек вообще мог быть мужественным и решительным, если бы он не был даже в своих антипатиях существом исключительно внутренним, он отрекся бы от такой философии; теперь же он довольствуется тем, что стыдливо

прикрывает ее наготу. Да, можно думать, писать, говорить, учить философски, - все это еще, пожалуй, разрешается; только в области действия, в так называемой жизни, дело обстоит иначе: тут позволено только что-нибудь одно, а все остальное просто невозможно; так угодно историческому образованию. Да и люди ли это действительно, спрашиваешь себя тогда, или, может быть, только думающие, пишущие и говорящие машины?

Гете говорит где-то о Шекспире: "Никто не ставил так низко материального наряда, как он; он отлично знал внутренний человеческий наряд, а в этой области все похожи друг на друга. Говорят, что он хорошо изобразил римлян; я этого не нахожу, его римляне - все кровные англичане, но они, конечно, люди, люди до мозга костей, и, как таковым, им может быть впору и римская тога". Теперь я спрашиваю, мыслимо ли изобразить наших теперешних литераторов, представителей народа, чиновников и политиков в виде римлян: это безусловно недостижимо, ибо они не люди, а только воплощенные учебники и, так сказать, конкретные абстракции. Если даже у них имеются характер и своеобразность, то они запрятаны настолько глубоко, что их невозможно извлечь на свет Божий: если они и могут считаться людьми, то только для того, кто "испытует утробы". Для всякого другого они нечто другое: не люди, не боги, не животные, а продукты исторического образования, одно сплошное образование, образ, форма без сколько-нибудь заметного содержания, и, к сожалению, лишь плохая форма, к тому же еще и униформа. И в этом смысле должно быть понято и оценено мое положение: историю могут вынести только сильные личности, слабых же она совершенно подавляет. Причина лежит в том, что она сбивает с толку наши чувства и ощущения в тех случаях, когда эти последние недостаточно мощны, чтобы помериться с прошлым. Тот, кто не осмеливается больше полагаться на самого себя, но невольно для определения своего чувства обращается к истории за советом: "как мне в этом случае ощущать?", тот из трусости постепенно превращается в актера и играет какую-нибудь роль, большей частью даже несколько ролей, и потому играет каждую из них так плохо и так плоско. Постепенно исчезает всякое соответствие между человеком и областью его исторических изысканий; мы видим, что мелкие самоуверенные юнцы обращаются с римлянами запанибрата, они копаются, роются в останках греческих поэтов так, как будто и эти соgroга сохранились только для их хирургических операций и были бы *vilia*, подобно их собственным литературным соgroга. Если, положим, кто-нибудь занимается изучением Демокрита, то мне всегда хочется спросить: почему именно Демокритом? почему не Гераклитом? или Филоном? или Бэконом? или Декартом? и так дальше по усмотрению. И далее: почему именно философом? почему не поэтом, не оратором? И почему вообще греком, почему не англичанином, турком? Разве прошлое не достаточно обширно, чтобы в нем не нашлось и для вас чего-нибудь, что не делало бы ваш выбор столь случайным и смешным? Но как уже сказано, это - поколение евнухов: ибо для евнухов все женщины одинаковы, для них женщина есть женщина вообще, женщина в себе, вечно недоступное - и потому совершенно безразлично, чем бы вы ни занимались, лишь бы только история могла сохранить свою прекрасную "объективность", именно благодаря усилиям тех, кто никогда бы не мог сам делать историю. И так как вас икогда не будет притягивать к себе вечно-женственное, то вы его низводите до себя и, будучи сами среднего рода, трактуете историю как нечто среднего рода. Но чтобы кто-нибудь не подумал, что я всерьез сравниваю историю с вечно-женственным, считаю нужным подчеркнуть, что я рассматриваю историю скорее как нечто вечно-мужественное; для тех же, кто насквозь пропитан "историческим образованием", довольно безразлично, должна ли история рассматриваться как первое или второе; ведь они сами и не женщины, и не мужчины, и даже не *communia*, а всегда только средний род, или, выражаясь на языке "образованных", только вечно объективное.

А раз личности выветрились описанным выше путем до полной бессубъективности, или, как говорят, объективности, то уже ничто больше не может на них действовать; пусть совершается что-либо благое и полезное в области практики, поэзии или музыки, такой выхолощенный носитель образования сейчас же, не обращая внимания на самое дело, начинает интересоваться только историей автора. Если последний успел уже создать что-нибудь раньше, то критик стремится сейчас же уяснить себе как прежний, так и вероятный будущий ход его развития, сейчас же автор сопоставляется с другими авторами в целях сравнения, анатомируется в отношении выбора материала и способа его трактования, разрывается на части, которые потом мудро вновь соединяются в целое, а вообще автор получает наставление и наставляется на путь истинный. Какие бы изумительные вещи не совершались, всегда появляется толпа исторически нейтральных людей, готовых уже издали обозреть автора. И сейчас же эхо дает свой ответ, но всегда только как "критика", хотя еще за минуту до того критику и не снилась даже самая возможность совершающегося. Но нигде в этих случаях мы не видим практических результатов, а всегда только одну "критику"; и сама критика не производит какого-нибудь практического действия, а порождает опять только критику. При этом вошло в обычай рассматривать обилие критики как успех, а незначительное число ее или отсутствие - как неуспех. В сущности же все остается даже при наличии такого "успеха" по-старому: поболтают, правда, некоторое время о чем-то новом, а затем опять о другом новом, но продолжают делать тем временем то же, что всегда делалось раньше. Историческое образование наших критиков совершенно не допускает более, чтобы получился какой-нибудь практический результат в действительном значении этого слова, именно, в смысле известного воздействия на жизнь и деятельность людей: на самое четкое черным по белому они тотчас накладывают свою промокательную бумагу, самый изящный рисунок они пачкают жирными штрихами своей кисти, которые выдают за поправки, - и дело сделано. Но их критическое перо никогда не прекращает своей работы, ибо они утратили власть над ним: скорее

оно владеет ими, чем они им. Как раз в этой безудержности их критических излияний, в отсутствии способности владеть собой, в том, что римляне называли *impotentia*, и сказывается слабость современной личности.

6

Но оставим эту слабость. Обратимся лучше к одной из прославленных способностей современного человека с вопросом, правда несколько щекотливым: дает ли ему его знаменитая историческая "объективность" право называться сильным, точнее, справедливым, и справедливым в большей степени, чем люди других эпох? Верно ли, что эта объективность имеет своим источником повышенную потребность в справедливости и стремление к ней? Или же она, будучи действием совсем других причин, только по внешности производит такое впечатление, как будто справедливость служит истинной причиной этого действия? Не создает ли она, быть может, вредный предрассудок о превосходстве современного человека, вредный в силу того, что он является слишком для него лестным? - Сократ считал болезнью, близкой к помешательству, уверенность человека в обладании такой добродетелью, которой у него в действительности нет; и на самом деле такая иллюзия опаснее, чем противоположное заблуждение, заключающееся в приписывании себе мнимых недостатков или пороков. Ибо при последнем заблуждении человек еще не лишен возможности сделаться лучше: упомянутая же выше иллюзия делает человека или известную эпоху с каждым днем все хуже и хуже, т. е. - в данном случае несправедливее.

Поистине, никто не имеет больших прав на наше уважение, чем тот, кто хочет и может быть справедливым. Ибо в справедливости совмещаются и скрываются высшие и редчайшие добродетели, как в море, принимающем и поглощающем в своей неизведанной глубине впадающие в него со всех сторон реки. Рука справедливого, управомоченного творить суд, уже не дрожит больше, когда ей приходится держать весы правосудия; неумолимый к самому себе, кладет он гирию за гирей, взор его не омрачается, когда чаша весов поднимается и опускается, а голос его не звучит ни излишней суровостью, ни излишней мягкостью, когда он провозглашает приговор. Если бы он был просто холодным демоном познания, то он распространял бы вокруг себя ледяную атмосферу сверхчеловечески ужасного величия, которой мы должны были бы страшиться, а не почитать ее; но что он, оставаясь человеком, пытается от поверхностного сомнения подняться к строгой достоверности, от мягкой терпимости к императиву "ты должен", от редкой добродетели великодушия к редчайшей добродетели справедливости, - что он теперь имеет сходство с тем демоном, будучи, однако, с самого начала не чем иным, как слабым человеком, - и прежде всего что он в каждый отдельный момент должен искуплять в самом себе свою человечность и трагически изнемогать в стремлении к невозможной добродетели - все это возносит его на одинокую высоту как достойный уважения экземпляр человеческой породы: ибо истины желает он, но не как холодного, самодовлеющего познания, а как упорядочивающего и карающего судьи; он стремится к истине не как к эгоистическому предмету обладания для отдельного лица, но как к священному праву передвигать все грани эгоистических владений, - словом, к истине как к вселенскому суду, а отнюдь не как к пойманной добыче и радости одинокого охотника. Лишь поскольку правдивый человек обладает безусловной решимостью быть справедливым, постольку можно видеть нечто великое в столь бессмысленно всегда восхваляемом стремлении к истине; тогда как для более тупого взора с этим стремлением к истине, имеющим свои корни в справедливости, сливается обыкновенно целый ряд самых разнообразных инстинктов, как-то: любопытство, бегство от скуки, зависть, тщеславие, страсть к игре - инстинкты, которые не имеют ничего общего с истиной. Поэтому, хотя мир кажется переполненным людьми, которые "служат истине", тем не менее добродетель справедливости встречается очень редко, еще реже признается и почти всегда возбуждает смертельную ненависть к себе, между тем как толпа мнимых добродетелей всегда совершала свое шествие, окруженная почтением и блеском. Мало кто воистину служит истине, ибо лишь немногие обладают чистой волей быть справедливыми, и из числа последних лишь совсем немногие достаточно сильны, чтобы на деле быть справедливыми. Совершенно недостаточно обладать только волей к истине; и наиболее ужасные страдания выпадают на долю людей, обладающих стремлением к справедливости, но без достаточной силы суждения; поэтому интересы общего благосостояния требуют прежде всего самого широкого посева способности суждения, которая позволила бы нам отличить фанатика от судьи и слепую страсть творить суд от сознательной уверенности в праве судить. Но где найти средство для культивации такой способности суждения! Поэтому люди, когда им говорят об истине и справедливости, обречены испытывать вечно боязливую неуверенность в том, говорит ли с ними фанатик или судья. Ввиду этого им следует простить, если они всегда с особой благосклонностью приветствовали тех "служителей истины", которые не обладают ни волей, ни способностью судить и ограничиваются задачей найти "чистое, самодовлеющее" познание или, точнее, истину, ни к чему не приводящую. Существует масса безразличных истин; существуют проблемы, для правильного решения которых не нужно никакого усилия над собой, не говоря уже о самопожертвовании. В этой безвредной области безразличия человеку, пожалуй, и удастся иногда делаться холодным демоном познания; и все-таки, даже когда, в особенно счастливые эпохи, целые когорты ученых и исследователей превращаются в таких демонов, не исключена, к сожалению, возможность, что эта эпоха будет страдать недостатком строгой и возвышенной справедливости, короче - отсутствием благороднейшей сердцевины так называемого инстинкта истины.

Допустим теперь, что мы имеем перед собой исторического виртуоза современности; может ли он считаться справедливейшим человеком своего времени? Совершенно верно, что он выработал в себе такую тонкость и возбудимость ощущения, что ничто человеческое не остается ему чуждо; самые разнообразные эпохи и личности

находят себе немедленно отголосок в родственных звуках его лиры: он сделался пассивным эхом, которое своими отзвуками в свою очередь действует на другие подобные пассивные отголоски, пока наконец вся атмосфера данной эпохи не переполнится такими переплетающимися нежными и родственными отзвуками. Но мне кажется, что при этом мы слышим только как бы обертоны каждого оригинального исторического основного тона: крепость и мощь оригинала не находят себе выражения в этом небесно-прозрачном и остром звоне струн. Если основной тон вызывал в нас большей частью мысль о делах, нуждах, ужасах, то это эхо убаюкивает нас и превращает в изнеженных сибаритов; словно кто-то переложил героическую симфонию для двух флейт и приспособил ее к вкусам погруженных в свои грезы курильщиков опиума. Уже отсюда можно видеть, насколько эти виртуозы способны осуществить верховные притязания современного человека, именно притязания на более возвышенную и чистую справедливость, ибо эта последняя добродетель не знает мягких приемов и ей чужды нежные волнения; она сурова и ужасна. Как низко в сравнении с ней стоит на лестнице добродетели великодушные, великодушные, которое может считаться преимуществом лишь некоторых, и притом весьма редких, историков! Но большинству удается подняться лишь до терпимости, до признания того, что не может быть оспорено, до приспособления и умеренно-благосклонного приукрашивания; они исходят при этом из вполне основательного предположения, что когда прошлое излагается без суровых нот в голосе и без выражения ненависти, то для неопытного читателя это может сойти за добродетель справедливости. Но творить суд может только превосходящая сила, слабость должна быть терпимой, если она не хочет симулировать силу и превращать в комедию суд, творимый справедливостью. И вот же, остается еще одна ужасная разновидность историков; это - дельные, суровые и честные характеры, но - узкие головы; здесь имеются налицо как твердая решимость быть справедливым, так и пафос творящего суд; но все приговоры неправильны по той же приблизительно причине, по которой неправильны приговоры обыкновенных коллегий присяжных. Таким образом, мы видим, как мало вероятно частое появление исторических талантов. Мы не станем уже говорить здесь о замаскированных эгоистах и людях партий, которые стараются объективной миной прикрыть свою злую игру. Точно так же обойдем молчанием тех легкомысленных людей, которые пишут историю в наивной уверенности, что все общепринятые взгляды их эпохи правильны и что описывать события с точки зрения данной эпохи - значит вообще быть справедливым; это - та вера, в которой живет каждая религия и по поводу которой, поскольку речь идет о религиях, не стоит тратить много слов. Эти наивные историки понимают под "объективностью" оценку мнений и подвигов прошлого на основании ходячих суждений минуты: в них видят они канон всех истин; их труд есть приспособление прошлого к современной тривиальности. Наоборот, они называют "субъективным" всякое историческое описание, которое не считает эти ходячие мнения незыблемыми.

И разве не примешивается некоторая доля иллюзии даже к самому возвышенному пониманию слова "объективность"? Ведь под этим словом понимают такое душевное состояние историка, при котором он созерцает известное событие со всеми его мотивами и следствиями в такой чистоте, что оно не оказывает никакого влияния на его личность; при этом имеют в виду тот эстетический феномен, ту свободу от личного интереса, которую обнаруживает художник, созерцающий среди бурного ландшафта, под гром и молнию, или на море во время шторма свои внутренние образы и забывающий при этом о своей личности. На этом же основании к историку предъявляются требования художественной созерцательности и полнейшего погружения в событие; тем не менее было бы предрассудком полагать, что образ, который принимают вещи в душе настроенного таким образом человека, воспроизводит эмпирическую сущность вещей. Ведь не можем же мы думать, что в такие моменты вещи как бы самопроизвольно запечатлеваются, копируются, фотографируются душой в чисто пассивном состоянии.

Это, конечно, было бы мифологией, и притом весьма неудачной; кроме того, здесь упускалось бы из виду, что именно этот момент и есть момент наиболее энергичной и наиболее самостоятельной созидательной работы в душе художника, - момент наивысшего напряжения его творческой способности, результатом которого может быть только художественно правдивое, а не исторически верное изображение. Объективно мыслить историю - значит, с этой точки зрения, проделывать сосредоточенную работу драматурга, именно, мыслить все в известной связи, разрозненное сплести в целое, исходя всегда из предположения, что в вещи должно вложить некое единство плана, если его даже раньше в них не было. Так человек покрывает прошлое как бы сетью и подчиняет его себе, так выражается его художественный инстинкт, но не его инстинкт правды и справедливости.

Объективность и справедливость не имеют ничего общего между собой. Вполне мыслимо такое историческое описание, которое не заключало бы в себе ни одной йоты обыкновенной эмпирической истины и которое в то же время могло бы с полным основанием претендовать на эпитет объективного. А Грильпарцер имеет мужество даже заявить следующее: "Что такое история, как не способ, которым человеческое сознание воспринимает недоступное для него событие, соединяет в одно целое, что, Бог знает, находится ли в какой-либо связи, заменяет непонятное чем-либо понятным, приписывает свои понятия о внешней целесообразности некоторому целому, которому известна только внутренняя целесообразность, и предполагает наличность случая там, где действуют тысячи мелких причин? Каждый человек подчинен в то же время и своей индивидуальной необходимости, так что миллионы направлений идут параллельно друг другу в форме прямых или кривых линий, взаимно перекрещиваются, ускоряют или задерживают друг друга, стремятся вперед или назад и получают благодаря этому друг для друга значение случая, делая таким образом невозможным доказательство

существования всепроникающей, всеохватывающей необходимости событий, если даже и не считаться при этом с влиянием явлений природы". А между тем именно такая необходимость должна выясниться в конечном результате упомянутого "объективного" рассмотрения вещей! Это - предположение, которое, выставленное историком в качестве догмата, может принять только самую курьезную форму; Шиллер, правда, ничуть не заблуждался относительно настоящего, чисто субъективного характера этого предположения, когда говорил об историке: "Одно явление за другим начинает ускользать из-под власти слепой случайности и беспорядочной свободы и включаться как соответствующее звено в известное гармоническое целое - которое, правда, существует только в его воображении". Но что сказать о следующем утверждении одного знаменитого виртуоза истории, выставленном с полной верой, а на самом деле искусно держащемся на границе, отделяющей тавтологию от бессмыслицы: "Не подлежит никакому сомнению, что вся человеческая деятельность подчинена незаметному и часто ускользающему от наблюдения, но могучему и неудержимому ходу вещей". В такого рода утверждении чувствуется не столько загадочная мудрость, сколько отнюдь не загадочное недомыслие, как в изречении гетевского придворного садовника: "Природу можно форсировать, но нельзя принудить" - или в вывеске одной ярмарочной лавки, о которой рассказывает Свифт: "Здесь показывают величайшего в мире слона, за исключением его самого". Ибо какая, на самом деле, может быть противоположность между деятельностью людей и ходом вещей? И вообще, не странно ли, что историки, подобные тому, чье изречение мы цитировали выше, не могут быть поучительными, как скоро они переходят на общие темы и пытаются замаскировать сознание своей слабости разными неясностями. В других науках общие положения суть самое главное, поскольку они содержат в себе законы; если же такого рода положения, как вышеприведенное, должны считаться законами, то на это можно возразить, что тогда работа исторического исследователя потрачена даром, ибо то, что вообще в таких положениях, за вычетом темного, неразложимого остатка, о котором мы говорили, остается истинного, - должно считаться известным и даже тривиальным, это бросается в глаза каждому, как бы ни была мала сфера его опыта. Но беспокоить по данному поводу целые народы и затрачивать на это годы тяжелого труда не равносильно ли это нагромождению в естественных науках опытов, несмотря на то что искомый закон мог бы быть выведен на основании уже имеющегося запаса опытов; это бессмысленное излишество в экспериментировании и составляет, впрочем, согласно Цельнеру, слабую сторону современного естествознания. Если бы ценность драмы заключалась только в главной идее, выясняющейся к концу ее, то драма сама представлялась бы самым длинным, окольным и тяжелым путем к цели; поэтому я надеюсь, что история вправе усматривать свое значение не в общих идеях, выдаваемых за некоего рода цвет и плод, но что ценность ее в том и заключается, чтобы, взяв знакомую, может быть, обыкновенную тему, будничную мелодию, придать ей остроумную форму, поднять ее, повесить на степень всеохватывающего символа и таким способом дать почувствовать присутствие в первоначальной теме целого мира глубокомыслия, мощи и красоты.

Но для этого необходимы прежде всего большие художественные способности, творческое парение мысли, любовное погружение в эмпирические данные, поэтическая переработка типов - для этого нужна во всяком случае объективность, но как положительное свойство. Как часто, однако, объективность является простой фразой! Место сверкающего внутри, а извне неподвижного и темного спокойствия художественного взора заступает аффектированное спокойствие, совершенно так же, как недостаток пафоса и моральной силы обыкновенно выдает себя за острый холод анализа. А в известных случаях банальность мысли и ходячая мудрость, которые производят на первый взгляд впечатление чего-то спокойного и невозмутимого только благодаря окружающей их скуке, отваживаются даже выдавать себя за то состояние художественного творчества, во время которого смолкает и делается совершенно незаметным субъект. Тогда пускается в ход все, что вообще не волнует читателя, причем все излагается самыми сухими словами. В этом стремлении заходят даже так далеко, что призванным к изображению известного момента прошлого считается тот, кого этот момент несколько не затрагивает. Таково зачастую взаимное отношение филологов и древних греков: они ведь совершенно равнодушны друг к другу, и это называется тогда "объективностью"! Но в особенности возмутительны умышленное и торжественно выставляемое на вид беспристрастие и изысканные трезвенно-плоские приемы объяснения именно там, где дело идет об изображении наиболее возвышенных и наиболее редких моментов истории; это имеет место обыкновенно в тех случаях, когда равнодушие историка, старающегося казаться объективным, обуславливается его тщеславием. Вообще при оценке таких авторов следует исходить из принципа, что каждый человек именно настолько тщеславен, насколько ему не хватает ума. Нет, будьте по крайней мере честны! Не старайтесь придать себе вид художественной силы, которая действительно может быть названа объективностью, не старайтесь казаться справедливыми, если вы не рождены для ответственного призвания справедливых. Как будто задача каждой эпохи заключается в том, чтобы быть справедливой по отношению ко всему, что когда-нибудь имело место! В сущности, ни одна эпоха и ни одно поколение не имеют права считать себя судьями всех прежних эпох и поколений; эта столь тяжелая миссия выпадает всегда лишь на долю отдельных личностей, и притом крайне редких. Кто вас принуждает быть судьями? И далее, испытайте себя хорошенько, можете ли вы быть справедливыми, если бы вы этого и захотели! В качестве судей вы должны стоять выше того, кого вы судите, тогда как, в сущности, вы лишь явились позже на историческую арену. Гости, которые приходят последними на званый обед, должны, по справедливости, получить последние места; а вы хотите получить первые! Ну, тогда по крайней мере стремитесь совершить нечто

великое и возвышенное, и, может быть, вам тогда действительно уступят место, хотя бы вы и пришли последними.

В объяснении прошлого вы должны исходить из того, что составляет высшую силу современности. Только путем наивысшего напряжения ваших благороднейших свойств вы сумеете угадать в прошлом то, что в нем представляется стоящим познания и сохранения и что есть в нем великого. Равное познается только равным, иначе вы всегда буяете принижать прошлое до себя. Не верьте историческому труду, если он не является продуктом редчайших умов; а вы всегда сумеете заметить, какого качества ум историка, по тем случаям, когда ему приходится высказать какое-нибудь общее положение или повторять еще раз хорошо известные вещи: истинный историк должен обладать способностью перечеканивать общеизвестное в нечто неслыханное и провозглашать общее положение в такой простой и глубокой форме, что при этом простота не замечается из-за глубины и глубина из-за простоты. Никто не может быть одновременно великим историком, художественной натурой и плоским умом, но отсюда не следует, что можно относиться с пренебрежением к тем работникам, которые подвозят материал, складывают его в кучи и сортируют его, только потому, что они ни в каком случае не могут сделаться великими историками; их, разумеется, не следует смешивать с последними, но рассматривать как необходимых сотрудников и помощников на службе их хозяина-мастера: в таком же примерно смысле, в каком французы - с большей наивностью, чем это возможно у немцев, - обыкновенно говорят об *historiens de M. Thiers*. Эти работники, возможно, станут постепенно большими учеными, но все же никогда не смогут стать мастерами. Большая ученость и большое плоскоумие - эти свойства уже гораздо легче уживаются друг с другом в одной голове.

Итак, история пишется только испытанными и выдающимися умами. Кто не пережил некоторых вещей шире и глубже всех, тот не сумеет растолковать чего-либо из великого и возвышенного в прошлом. Заветы прошлого суть всегда изречения оракула: только в качестве строителей будущего и знатоков настоящего вы поймете их. Теперь принято объяснять необыкновенно глубокое и широкое влияние Дельфов главным образом тем, что дельфийские жрецы были удивительными знатоками прошлого; но пора уже понять, что только тот, кто строит будущее, имеет право быть судьей прошлого. Тем, что вы смотрите вперед, ставите себе великую цель, вы обуздываете в то же время ту страсть к анализу, которая своим пышным развитием теперь опустошает современность и делает почти невозможным всякое спокойствие, всякий мирный рост и созревание. Окружите себя частоколом великой и широко захватывающей надежды и полного упований стремления вперед. Творите в себе идеал, которому должно отвечать будущее, и отбросьте предрассудок, что вы эпигоны. Довольно с вас и того, что вы должны создавать и изобретать, устремив свой взор к будущей жизни; но не требуйте от истории, чтобы она ответила вам на вопросы: как и посредством чего? Если же вы, напротив, вживетесь в историю великих людей, то вам удастся извлечь оттуда верховную заповедь стремления к зрелости и освобождения себя от парализующего воспитательного гнета эпохи, которая видит свою выгоду в том, чтобы не позволить вам сделаться зрелыми, дабы властвовать над вашей незрелостью и эксплуатировать вас. И если вы интересуетесь биографиями, то требуйте не тех, в которых повторяется припев "имярек и его эпоха", но только таких, на заглавном листе которых должно значиться: "Борец против своего времени". Старайтесь насытить ваши души Плутархом и имейте мужество верить в самих себя, веря в его героев. Сотня таких воспитанных не в духе времени, т. е. достигших зрелости и привычных к героическому, людей может заставить замолчать навеки все крикливое лжеобразование нашей эпохи.

7

Историческое чувство, когда оно властвует безудержно и доходит до своих крайних выводов, подрывает будущее, разрушая иллюзии и отнимая у окружающих нас вещей их атмосферу, в которой они только и могут жить. Историческая справедливость даже тогда, когда она неподдельна и проистекает из чистого сердца, есть ужасная добродетель, потому что она постоянно подкапывается под живое и приводит его к гибели: суд ее всегда разрушителен. Когда исторический инстинкт не соединяется с инстинктом созидания, когда разрушают и расчищают место не для того, чтобы будущее, уже живущее в надежде, имело возможность возвести свое здание на освободившейся почве, когда властвует одна справедливость, тогда творческий инстинкт утрачивает свою мощь и мужество. Так, например, религия, которая под воздействием чистой справедливости способна претвориться в историческое знание, - религия, которая подлежит строго научному изучению, - осуждена в то же время на полное уничтожение в конце этого пути. Причина заключается в том, что исторической проверке обнаруживается каждый раз такая масса фальшивого, грубого, бесчеловечного, нелепого, насильственного, что та благоговейная атмосфера иллюзии, в которой только и может жить все, что хочет жить, необходимо должна рассеяться: только в любви, только осененный иллюзией любви может творить человек, т. е. только в безусловной вере в совершенство и правду. У каждого, кого лишают возможности любить безусловно, этим подрезываются в корне его силы: он должен увянуть, т. е. сделаться бесчестным. В этой области истории должно быть противопоставлено искусство; и только в том случае, если бы история могла быть претворена в художественное произведение, т. е. сделаться чистым созданием искусства, ей удалось бы, быть может, поддерживать или даже пробуждать инстинкты. Но такого рода понимание истории стало бы в полное противоречие с аналитическим и антихудожественным направлением нашего времени и ощущалось бы даже последним как подделка. История же, которая только разрушает, не руководясь при этом внутренним

стремлением к созиданию, делает в конце концов своих работников пресыщенными и неестественными, ибо такие люди разрушают иллюзии, а "того, кто разрушает иллюзию в себе или других, того природа наказывает, как самый жестокий тиран". Некоторое время, правда, можно заниматься историей в полной беспечности и беззаботности, без оглядки, как будто это такое же занятие, как всякое другое; в особенности это относится к новейшему богословию, которое, по-видимому, только благодаря своей полнейшей беспечности завязало сношения с историей и даже теперь не успело заметить, что оно тем самым, вероятно против своей воли, служит делу вольтеровского *escasez*. Пусть никто не ищет за этим каких-нибудь новых и сидных созидательных инстинктов, разве только если рассматривать так называемый союз протестантов как зародыш новой религии, а юриста Гольцендорфа (издателя и провозвестника так называемой библии протестантов) - как Иоанна Крестителя на берегах Иордана. Некоторое время укреплению такой беззаботности может способствовать еще продолжающая бродить в головах старшего поколения гегелевская философия, хотя бы в той форме, что различают между "идеями христианства" и разными несовершенными "формами проявления" ее и внушают себе мысль, что мы имеем дело здесь "с особой склонностью идеи" воплощаться все в более чистых формах и в последней инстанции в самую чистую, конечно, самую прозрачную и даже едва доступную наблюдению форму, которую она принимает в мозгу теперешнего *theologus liberalis vulgaris*. Если прислушаться к тому, как эти наиболее очищенные формы христианства оценивают предшествующие нечистые его формы, то на беспристрастного слушателя это зачастую производит впечатление, словно речь идет не о христианстве, а о... право, не знаю, о чем может идти речь, когда мы слышим, что "величайший богослов столетия" определяет христианство как религию, которая позволяет "ощутить сущность всех существующих и еще некоторых других пока только возможных религий", и когда "истинной церковью" должна считаться та, которая "превращается в текущую массу, где не заметно никаких твердых очертаний и каждая часть находится то там, то здесь и все мирно смешивается друг с другом". - Еще раз, о чем может идти в данном случае речь?

То, чему нас учит пример христианства, которое благодаря влиянию историзирующей обработки стало равнодушным и неестественным в ожидании того момента, пока доведенная до совершенства историческая, справедливая интерпретация не растворит его в чистое знание о христианстве и тем погубит его окончательно, мы могли бы наблюдать на всем, что обладает жизнью: именно, что оно перестает жить, раз его разрезали на части без остатка, и что оно влачит болезненное и мучительное существование, когда над ним начинают продельвать опыты исторического анатомирования. Существуют люди, которые верят в преодолевающее и преобразующее целительное влияние немецкой музыки на немцев. Они смотрят с негодованием, как на величайшую несправедливость, допускаемую по отношению к самым живым элементам нашей культуры, на то, что такие люди, как Моцарт и Бетховен, уже теперь оказываются почти засыпанными всем ученым хламом биографических работ и что они вынуждаются исторической критикой путем целой системы пыток давать ответ на тысячи назойливых вопросов. Разве мы не отбрасываем преждевременно в сторону или по крайней мере не обессиливаем то, что еще ни в коем случае не может считаться исчерпанным в его живых влияниях, когда мы сосредоточиваем нашу любознательность на бесчисленных мелочах жизни и произведений и ищем познавательные проблемы там, где следовало бы просто учиться жизни и забывать все проблемы? Представьте себе, что несколько таких современных биографов перенесено на родину христианства или лютеровской Реформации; их трезвая, прагматизирующая любознательность оказалась бы как раз достаточной, чтобы сделать невозможной всякую чудесную духовную *actio in distans* совершенно так же, как самое презренное животное путем поглощения желудей может помешать зарождению могучего дуба. Все живое нуждается в известной окружающей его атмосфере, в таинственной пелене тумана. Если мы отнимем у него эту оболочку, если мы заставим какую-нибудь религию, какое-нибудь искусство, какого-нибудь гения кружить в пространстве, подобно созвездию без атмосферы, то нам не следует удивляться их быстрому увяданию, засыханию и бесплодию. Так дело обстоит со всеми великими вещами, "которые никогда не удаются вне некоторого безумия", как говорит Ганс Сакс в "Мейстерзингерах".

Но каждый народ, даже каждый человек, который стремится сделаться зрелым, нуждается в подобном обволакивающем его безумии, в подобном предохранительном и закутывающем облаке; теперь же вообще ненавидят созерцание, так как чтут историю больше жизни. Теперь даже ликуют по поводу того, что "наука начинает господствовать над жизнью": нет ничего невозможного в том, что этого удастся достигнуть, но не подлежит сомнению, что такая покоренная жизнь не имеет большой ценности, потому что она в значительно меньшей мере является жизнью и в значительно меньшей степени обеспечивает жизнь в будущем, чем прежняя, управляемая не знанием, но инстинктами и могучими иллюзиями. Но наше время, скажут нам, и не стремится стать веком достижений законченности и зрелости, гармонически развитых личностей, а только веком общего и наиболее производительного труда. Последнее значило бы лишь: в соответствии с задачами эпохи люди должны быть выдрессированы так, чтобы как можно скорее принять участие в общей работе; они должны работать на фабрике общепользных вещей, прежде чем они созреют или, вернее, для того, чтобы они не могли созреть, ибо это было бы роскошью, которая отняла бы массу сил у "рынка труда". Некоторых птиц ослепляют, чтобы они лучше пели; я не верю, чтобы современные люди пели лучше, чем их предки, но знаю, что их заблаговременно ослепляют. Средством же, проклятым средством, к которому прибегают для того, чтобы их ослепить, служит слишком яркий, слишком внезапный, слишком быстро меняющийся свет. Молодежь как бы прогоняется сквозь

строй столетий: юноша, который не имеет никакого представления о войне, о дипломатических действиях, о торговой политике, признается тем не менее достойным введения в область политической истории. Совершенно так же, как юноша бегло знакомится с историей, так же мы, современные, на бегу осматриваем хранилища искусств и так же слушаем мы концерты. Мы чувствуем, конечно, что одно звучит так, другое иначе, что одно действует так, а другое иначе; но утрачивать все более и более это чувство различия и новизны, ничему более чрезмерно не удивляться и, наконец, примиряться со всем - вот что называют теперь историческим чувством, историческим образованием. Говоря без прикрас, масса притекающего так велика, чуждое, варварское и насильственное, "свернувшись в отвратительный клубок", с такой силой устремляется на юношескую душу, что она может сохранить себя только при помощи преднамеренной тупости чувств. Там же, где в основе лежит более утонченное и более здоровое сознание, на сцену является также и другое ощущение - отвращение. Юноша чувствует себя лишенным почвы и начинает сомневаться во всех нравственных устоях и понятиях. Теперь он твердо знает: в различные времена все было иначе, и потому совершенно не важно, каков ты сам. В меланхолическом равнодушии он перебирает мнение за мнением и научается понимать слова и настроение Гельдерлина при чтении сочинения Диогена Лаэртца о жизни и учении греческих философов: "Я снова испытал то, что уже раньше было знакомо мне, а именно что преходящее и изменчивое в человеческих идеях и системах действует на меня, пожалуй, более трагически, чем изменчивость судеб, которую обыкновенно считают единственно реальной". Нет, такое все затопляющее, оглушающее и насильственное историзирование, без сомнения, не нужно для юношества, как показывает пример древних, и даже в высшей степени опасно, как об этом свидетельствует новейшая история. Взгляните на студента, изучающего историю, этого наследника скороспелой, появляющейся чуть ли не в детские годы пресыщенности и разочарования. Теперь "метод" заменяет ему действительную работу, он усваивает себе сноровку и важный тон, манеру своего учителя; совершенно изолированный отрывок прошлого отдан на жертву его остроумию и усвоенному им методу; он уже успел нечто произвести на свет, или, употребляя более важный стиль, он нечто "создал", теперь он стал служителем истины на деле и является хозяином во всемирном царстве истории. Если он уже как мальчик считался "готовым", то теперь он сверхготов: стоит только его хорошенько потрясти, и на вас с треском посыплется его мудрость; но мудрость эта подгнила, и в каждом яблоке есть червоточина. Верьте мне, если люди принуждены работать на научной фабрике и приносить свою долю пользы прежде, чем они созреют, то науке грозит в ближайшем будущем такая же гибель, как и невольникам, слишком рано принужденным работать на этой фабрике. Я сожалею, что принужден прибегать к жаргону рабовладельцев и работодателей для описания таких отношений, которые, собственно, должны мыслиться свободными от всяких утилитарных соображений и жизненной нужды, но слова "фабрика", "рабочий рынок", "спрос", "утилизация" и тому подобные вспомогательные термины эгоизма невольно просятся на язык, когда приходится изображать молодое поколение ученых. Добросовестная посредственность становится все посредственнее, а наука в смысле экономическом все полезнее. Собственно говоря, новейшее поколение ученых мудро только в одном отношении и в этом отношении, пожалуй, мудрее, чем все люди прошлого, во всех же остальных отношениях оно только, мягко выражаясь, бесконечно отлично от ученых прежнего склада. Несмотря на это, они требуют себе почестей и выгод, как будто государство и общественное мнение были бы обязаны считать новые монеты столь же полновесными, как и старые. Ломовые извозчики заключили между собой рабочий договор и объявили гения излишним, признав печать его на себе самих, но позднейшее поколение, вероятно, сейчас же заметит, что их здание представляет собой груды свезенного в кучу материала, а не правильную постройку. Тем, кто неумоимо твердит современный боевой и жертвенный клич: "разделение труда! плечо к плечу!", нужно раз и навсегда коротко и ясно сказать: если вы хотите двинуть науку как можно быстрее вперед, то вы рискуете ее очень быстро погубить, подобно тому как у вас погибнет насадка, если вы вздумаете принуждать ее искусственными мерами нести как можно быстрее яйца. О, конечно, наука в последнее десятилетие изумительно быстро шагнула вперед, но взгляните на ваших ученых, этих истощенных насадок. Поистине, они не похожи на "гармонические" натуры; только кудахтать они умеют больше, чем когда-либо, так как они чаще несут яйца; правда, зато яйца делаются все меньше (хотя книги все толще). Последним и естественным результатом такого положения вещей является пользующаяся всеобщими симпатиями "популяризация науки" (наряду с ее "феминизацией" и "инфантизацией"), т. е. пресловутая кройка научного платья по фигуре "смешанной публики", чтобы отличить здесь портновскую деятельность отменно портновским немецким языком. Гете видел в этом злоупотребление и требовал, чтобы науки влияли на внешний мир только повышенной действительностью. Ученым старших поколений такое злоупотребление наукой представлялось, кроме того, по весьма веским причинам делом тяжелым и обременительным, и точно так же в силу весьма веских причин ученые младшего поколения относятся к этому вопросу весьма легко, ибо они сами, за исключением маленького уголка их знаний, представляют собой весьма смешанную публику, разделяющую также и потребности последней. Им стоит только удобно усесться, чтобы открыть этой популярной смеси потребности и любопытства доступ в скромную область их изысканий. И этот-то простой акт удобства они претенциозно характеризуют словами: "Ученый скромно снисходит к своему народу", в то время как в сущности ученый лишь снизошел к самому себе, поскольку он сам является не ученым, а чернью. Создайте себе истинную идею "народа": она никогда не может быть слишком благородной и возвышенной. Если бы вы в самом деле были высокого мнения о народе, то вы были бы милосердны к нему и

поостереглись бы, конечно, предлагать ему вашу историческую "царскую водку" в качестве подкрепляющего и жизненного напитка. Но вы в глубине души весьма невысокого мнения о нем, ибо не можете иметь истинного и прочно обоснованного уважения к его будущему; вы действуете как практические пессимисты, я хочу сказать, как люди, которыми руководит предчувствие гибели и которые вследствие этого сделались апатично-равнодушными к чужому благу и даже к своему собственному. Лишь бы земля нас носила! И если она не хочет нас больше носить, то и в этом случае невелика беда, - так чувствуют они и ведут свое ироническое существование.

8

Может показаться странным, но отнюдь не противоречивым, если я тем не менее приписываю той самой эпохе, которая имеет обыкновение в такой громкой и назойливой форме предаваться беззаботнейшему ликованию по поводу своего исторического образования, род иронического самосознания, некоторое носящееся в воздухе предчувствие того, что здесь нет места ликованию, и страх, что, может быть, близок конец всем наслаждениям исторического познания. Такого же рода загадку, но только относительно отдельных личностей поставил нам Гете в своей замечательной характеристике Ньютона: он находит в глубине (или, правильнее, на вершинах) существа Ньютона "смутное предчувствие его неправоты", как некоторое, заметное только в определенные моменты, проявление высшего контролирующего сознания, достигшего известного иронического обозрения необходимо присущей ему природы. Точно так же в более широко и высоко развитых исторических людях мы встречаем часто пониженное до уровня всеобщего скептицизма сознание, какая нелепость и предрассудок вера, что воспитание народа должно носить исторический по преимуществу характер, как это имеет место сейчас; ведь именно наиболее сильные народы, и притом сильные своими делами и подвигами, жили иначе, иначе воспитывали юношество. Но именно нам эта нелепость, этот предрассудок и приличествует, обыкновенно возражают скептики, нам, поздним пришельцам, нам, последним выцветшим отпрыскам могучих и жизнерадостных поколений, нам, к которым следует отнести пророчество Гесиода, что люди некогда будут рождаться с седыми волосами и что Зевс истребит это поколение, как только в нем ясно обозначится названный признак. Историческое образование должно действительно считаться родом прирожденного седовласия, и те, кто с детства носят на себе его печать, вынуждены в конце концов прийти к инстинктивной вере в старость человечества; а старости и приличествует теперь стариковское занятие, именно, заглядывание в прошлое, проверка счетов, подведение итогов, поиски утешения в прошлом в форме воспоминаний, короче - историческое образование. Но человеческий род крепок и устойчив и не желает, чтобы его рассматривали в его развитии вперед или назад по тысячелетиям или даже сотням тысяч лет; другими словами, он вовсе не желает, как целое, подвергаться рассмотрению со стороны бесконечно малого атома, точки - отдельного человека. Ибо что значат каких-нибудь несколько тысячелетий (или, выражаясь иначе, промежуток времени в 34 следующие друг за другом человеческие жизни, считая по 60 лет в каждой) и можно ли говорить в начале такого периода о "юности", а в конце его уже о "старости человечества"? Не скрывается ли скорее за этой парализующей верой в уже начавшееся увядание человечества некоторое недоразумение, выросшее на почве унаследованного от средних веков христианско-богословского представления или мысли о близком конце мира и о страшном суде? Не приняло ли это представление лишь новую форму под влиянием повышенной исторической потребности в суде, словно наша эпоха последняя из возможных и сама призвана организовать тот мировой суд над всем прошлым, который христианская догма ожидала отнюдь не от людей, а от "Сына Человеческого"? Раньше это *memento mori*, обращенное как к человечеству, так и к отдельным личностям, представляло вечно терзающее жало и как бы острую вершину средневекового знания и средневековой совести. Провозглашенный новейшей эпохой в виде протеста лозунг *memento vivere* звучит пока, говоря откровенно, довольно робко, произносится не полным голосом и едва ли не заключает в себе что-то неискреннее. Ибо человечество еще прочно сидит на *memento mori* и выдает это обстоятельство своей универсальной потребностью в истории: знание, несмотря на свой могучий размах, не сумело еще вырваться на волю, глубокое чувство безнадежности еще осталось и приняло ту историческую окраску, которая в настоящее время окутывает меланхолической дымкой все наше высшее образование и воспитание. Религия, для которой из всех часов человеческой жизни наиболее важным является последний, которая предсказывает прекращение земной жизни вообще и заставляет всех живущих жить, так сказать, в пятом акте трагедии, конечно, пробуждает глубочайшие и благороднейшие силы, но она враждебна всякому насаждению нового, всякому смелому опыту, всякому свободному желанию; она противится всякому полету в область неизвестного, так как там у нее нет ни привязанностей, ни надежд; она мирится с вновь возникающим, только скрепя сердце, чтобы при первом удобном случае отодвинуть его в сторону и принести в жертву, как соблазн к жизни, как ложь в оценке бытия. То же, что сделали флорентийцы, когда под впечатлением покаянных проповедей Савонаролы они устроили знаменитое аутодафе из картин, рукописей, зеркал и масок, готово сделать христианство с каждой культурой, которая побуждает к стремлению вперед и избирает своим девизом упомянутое *memento vivere*, и если оно не может добиться этого прямым путем, без околичностей, т. е. путем применения силы, то оно достигает все же этой своей цели, действуя в союзе с историческим образованием, по большей части даже без ведома последнего, и, говоря затем от его имени, пожимая плечами, отрицает все вновь возникающее, стараясь набросить на него оттенок чего-то крайне запоздалого и свойственного эпигонам, короче говоря, характер прирожденной седины. Проникнутые горечью и

глубокомысленно-серьезные размышления о тщете всего земного, о близости страшного суда приняли теперь более утонченную форму скептического сознания, в силу которого быть знакомым со всем, что происходило раньше, хорошо потому, что все равно уже слишком поздно, чтобы создать что-нибудь лучшее. Таким путем историческое чувство делает обладателей его пассивными и ретроспективными, и разве только в момент минутного самозабвения, когда именно это чувство временно перестает действовать, страдающий исторической лихорадкой человек становится активным, чтобы сейчас же по совершении какого-либо действия подвергнуть его анатомическому сечению, задержать при помощи аналитического рассмотрения дальнейшее его влияние и препарировать его как "историю". В этом смысле мы еще живем в средние века, а история продолжает оставаться замаскированной теологией, так же как и почтительность, с которой неученый профан относится к касте ученых, ведет свое происхождение от благоговения перед духовными лицами. То, что раньше воздавалось церкви, то воздается и теперь, хотя в более скромных размерах, науке; но факт этой жертвы вообще есть результат прежнего влияния церкви, а не современного духа, который при всех своих других достоинствах отличается, как известно, некоторой скаредностью и плохо знаком с благородной добродетелью щедрости.

Быть может, этот вывод не понравится и встретит так же мало сочувствия, как сделанная выше попытка вывести избыток истории из средневекового *memento mori*, а также из той безнадежности, с которой христианство в глубине своего сердца относится ко всем грядущим эпохам земного существования. Пусть попытаются подыскать на место приведенного объяснения, принятого мною также не совсем без колебаний, лучшие объяснения, ибо что касается происхождения исторического образования - и его внутреннего, во всех отношениях коренного противоречия духу "нового времени" и "современного сознания", - то это происхождение должно быть в свою очередь объяснено исторически, история должна сама разрешить проблему истории, знание должно обратить свое жало против самого себя - этот тройной долг и есть императив духа "нового времени", если действительно в последнем имеются элементы чего-то нового, могучего, жизнеспособного и изначального. Или же правы те, которые говорят, что мы, немцы, оставляя в стороне романские народы, во всех высших проявлениях культуры осуждены быть постоянно только "потомками" потому, что мы только и можем быть ими; это весьма спорное положение было высказано однажды Вильгельмом Вакернагелем в такой форме: "Мы, немцы, народ потомков, мы со всем нашим высшим знанием и даже с нашей верой только наследники античного мира; даже те, кто, будучи враждебно к этому настроенными, и не хотели бы этого, вдыхают непрерывно наряду с духом христианства также и бессмертный дух древнеклассического образования, и если бы кому-нибудь удалось исключить эти два элемента из жизненной атмосферы, окружающей внутреннего человека, то вряд ли от нее осталось бы даже столько, сколько необходимо для поддержания духовной жизни". Но если бы даже мы охотно успокоились на том, что наше призвание - быть наследниками древнего мира, если бы мы даже решились неуклонно рассматривать это наше призвание во всей его строгости и величии и в этой неуклонности видели бы наше почетное и единственное преимущество, то мы тем не менее были бы вынуждены спросить себя, действительно ли вечное наше назначение должно заключаться в том, чтобы быть питомцами древнего мира на его склоне: будет же нам когда-нибудь разрешено ставить себе шаг за шагом все более высокие и далекие цели, когда-нибудь будет же за нами признана та заслуга, что мы воспроизвели в себе дух александрийско-римской культуры - и это благодаря нашей склонности к универсальной истории - в таких плодотворных и грандиозных формах, что имеем право теперь, в качестве благороднейшей награды, поставить себе еще более грандиозную задачу - связать себя с миром, лежащим за и вместе с тем над александрийской эпохой, и смело направить свои поиски за идеалами в древнегреческий мир великого, естественного и человеческого. Но там мы видим реальность по существу неисторической культуры и вместе с тем, несмотря на это или скорее благодаря этому, культуры несказанно богатой и жизненной. Если бы даже мы, немцы, были не чем иным, как потомками, мы могли бы рассматривать такую культуру как наследство, которое мы должны усвоить себе, видеть наше величие и гордость именно в качестве потомков.

Этим мы хотим сказать одно, и только одно, что даже столь тягостное иногда представление о себе как об эпигонах может, при условии широкого его понимания, обусловить как для отдельных лиц, так и для целого народа весьма важные последствия и полное надежды влечение к будущему именно постольку, поскольку мы смотрим на себя как на наследников и потомков изумительных сил классического мира и поскольку мы в этом усматриваем нашу честь, наше отличие. Но мы никоим образом не должны смотреть на себя как на выцветших и захиревших последышей сильных поколений, - последышей, ведущих жалкое существование антиквариев и могильщиков этих поколений. Таким последышам действительно выпадает в удел ироническое существование: разрушение следует за ними по пятам на всем течении их убогого жизненного странствия; они содрогаются перед этим разрушением, наслаждаясь прошлым, ибо они представляют собой ходячую память, и в то же время их воспоминание без наследников не имеет никакой цены. Поэтому в их душе живет смутное чувство, что их жизнь есть несправедливость, ибо она не может быть оправдана никакой грядущей жизнью.

Представим себе, что эти последыши-антикварии внезапно решились бы заменить такое иронически-болезненное самоограничение беззастенчивостью; представим себе, что они зычным голосом возвестили бы: наше поколение на вершине своего развития, ибо только теперь оно обладает знанием о самом себе и только теперь оно само себе открылось, - и тогда мы имели бы зрелище, которое могло бы прекрасно проиллюстрировать загадочное значение для немецкого образования одной весьма знаменитой философской системы. Я думаю, что в истории немецкой

образованности за последнее столетие мы не найдем ни одного опасного колебания или уклонения, которое не стало еще опаснее благодаря громадному и продолжающемуся до настоящей минуты влиянию этой философии, именно гегелевской. Поистине парализует и удручает вера в то, что ты последыш времен, но ужасной и разрушительной представляется эта вера, когда в один прекрасный день она путем дерзкого поворота мыслей начинает обоготворять этого последыша как истинную цель и смысл всего предшествовавшего развития, а в ученом убожестве его видит завершение всемирной истории. Такой способ мышления приучил немцев говорить о "мировом процессе" и оправдывать свою эпоху как необходимый результат всемирного процесса; эта точка зрения поставила историю на место других духовных сил, искусства и религии, как единственную верховную силу, поскольку она является "реализующим самое себя понятием", "диалектикой духа народов" и "мировым судом".

Эту понятую на гегелевский лад историю в насмешку назвали земным шествием Бога, хотя названный Бог есть, в свою очередь, лишь продукт самой истории. Но этот Бог стал сам себе прозрачно ясным и понятным в недрах гегелевского мозга и успел пройти все диалектически возможные ступени своего развития, вплоть до упомянутого самооткровения, так что для Гегеля вершина и конечный пункт мирового процесса совпали в его собственном берлинском существовании. Мало того, ему бы следовало сказать, что все, что произойдет после него, в сущности должно рассматриваться только как музыкальная кода всемирно-исторического рондо или, еще точнее, как нечто совершенно ненужное и лишнее. Этого он не сказал, но зато он привил пропитанным его философской закваской поколениям то восхищение перед "властью истории", которое на практике постоянно вырождается в голое преклонение перед успехом и идолопоклонство перед фактом, для каковой цели теперь приспособили крайне мифологическое и, сверх того, весьма немецкое выражение "считаться с фактами". Но кто привык с самого начала гнуть спину и склонять голову перед "властью истории", тот под конец станет, подобно китайскому болванчику, механически поддакивать всякой власти, будет ли то правительство, общественное мнение или численное большинство, и двигать своими членами строго в такт с движениями нитки, за которую дергает какая-нибудь управляющая им "власть". Если каждый успех заключает в себе какую-нибудь разумную необходимость, если каждое событие есть победа логического или "идеи", тогда нам остается только стремительно преклонить колени и в этой позе пройти всю лестницу "успехов"! И после этого вы говорите, что время господства мифологии прошло или что религии находятся в состоянии вымирания? Взгляните только на религию исторического могущества, обратите внимание на священнослужителей мифологии идей и их израненные колена! И разве мы не видим, что даже сами добродетели шествуют в свите этой новой веры? Разве это не самоотречение, когда исторический человек позволяет превратить себя в объективное зеркало? Разве это не великодушие, когда он отрекается от всякой власти на небе и земле, преклоняясь в лице каждой власти перед властью в себе? Разве это не справедливость, когда он постоянно держит в руках весы, взвешивающие власти, зорко наблюдая, которая, как более могущественная и тяжелая, перевесит другую? А какой школой благоприличия является такое отношение к истории! Все рассматривать объективно, ни на что не гневаться, ничего не любить, все понимать - это делает человека столь кротким и гибким; и даже тогда, когда один из воспитанников названной школы начинает публично негодовать и раздражаться, этому только радуются, ибо все хорошо знают, что это нужно понимать в смысле артистическом и что это есть *ira* и *studium* и в то же время вполне *sine ira et studio*.

Какими устарелыми должны казаться мысли, которые вызывают в моей душе зрелище такого сочетания мифологии и добродетели! Но мне надо их как-нибудь высказать, и пусть их осмеивают, сколько хотят. Я бы сказал так: история постоянно твердит: "так было однажды", а мораль: "вы не должны" или "вы не должны были бы". С этой точки зрения история является в действительности компендиумом фактической безнравственности. В какую грубую ошибку впал бы тот, кто стал бы рассматривать историю в то же время и как судью этой фактической безнравственности! Так, например, тот факт, что Рафаэль должен был умереть, едва достигнув 36 лет, оскорбляет наше нравственное чувство: существо, подобное Рафаэлю, не должно умирать. Если же вы хотите прийти на помощь истории в качестве апологетов факта, вы скажете: он выразил все, что имел выразить, а если бы и продолжал жить, то мог бы постоянно создавать прекрасное, подобное прежнему, а не новую красоту и т. д. Но, идя этим путем, вы становитесь адвокатами дьявола и именно потому, что вы из успеха, из факта делаете себе идола, в то время как факт всегда глуп и во все времена походил скорее на тельца, чем на Бога. Но кроме того, вам, как апологетам истории, служит суфлером также и невежество: ибо только потому, что вы не знаете, что представляет собой такая *natura naturans*, как Рафаэль, вы можете оставаться равнодушным к тому, что он был и что его больше не будет. По поводу Гете нас недавно тоже кто-то хотел просветить, утверждая, что в свои 82 года он уже пережил себя; а я все-таки охотно променял бы целые возы свежих высокосовременных жизней на несколько лет "пережившего себя" Гете, чтобы быть еще участником таковых бесед, какие вел Гете с Эккерманом, и чтобы этим способом избавиться от всех современных поучений со стороны легионеров минуты. Сколь немногие из живущих имеют вообще право жить, когда такие люди умирают! Что живы многие и что тех немногих уже нет в живых, это - только грубая истина, т. е. непоправимая глупость, неуклюжее "так уж заведено", противопоставленное моральному "этого не должно было быть". Да, противопоставленное моральному! Ибо о какой бы добродетели мы ни говорили - о справедливости, о великодушии, о храбрости, о мудрости и сострадании человека, - везде он добродетелен потому, что он восстает против этой слепой власти

фактов, против тирании действительного и подчиняется при этом законам, которые не тождественны с законами исторических приливов и отливов. Он плывет всегда против исторического течения, борется ли он со своими страстями, как ближайшей к нему формой окружающей его нелепой действительности, или стремится быть честным, в то время как вокруг него ложь плетет свои блестящие сети. Если бы даже вообще история не представляла собой ничего, кроме "мировой системы страсти и заблуждения", то человек должен был бы так читать ее, как Гете некогда советовал читать "Вертера", т. е. слышать в ней зов: "Будь мужем и не следуй моему примеру!" К счастью, она сохраняет и память о великих борцах против истории, т. е. против слепой власти действительного, и приговора сама к позорному столбу тем, что выделяет в качестве подлинных исторических натур именно те натуры, которые, мало заботясь о "так оно есть", с радостной гордостью подчиняют свою деятельность принципу "так должно быть". Не хоронить свое собственное поколение, но создать новое поколение - вот цель, которая неустанно увлекает их вперед; и если даже сами они родились последышами - существует такой род жизни, который может заставить забыть это, - грядущее поколение будет знать их только как первенцев.

9

Не есть ли, быть может, наше время такой первенец? - И в самом деле, острота его исторического чувства так велика и выражается в столь универсальной и прямо безграничной форме, что по крайней мере в этом будущие эпохи признают его первенство - если вообще эти будущие эпохи в смысле культурном когда-либо наступят. Но именно в этом пункте остается возможность тяжелых сомнений. В современном человеке рядом с гордостью уживается ироническое отношение к самому себе, сознание, что ему приходится жить в историзирующем и как бы вечернем настроении, и страх, что он не сумеет ничего сохранить для будущего из своих юношеских надежд и юношеских сил. В некоторых отношениях идут еще дальше, вплоть до цинизма, оправдывая исторический ход вещей или даже всего мирового развития исключительно в интересах современного человека согласно циническому канону: именно так дело и должно было быть, как оно сейчас происходит, именно таким, а не другим должен был сделаться человек, какими являются теперь люди, против этой необходимости никто не должен восставать. Под спасительную сень такого рода цинизма спешит укрыться тот, кто не может выдержать состояния иронии; помимо этого последнее десятилетие предоставило в его распоряжение одно из своих лучших изобретений - именно громкую и закругленную фразу для выражения этого цинизма, характеризуя его своевременное и не знающее сомнений отношение к жизни как "полное растворение личности в мировом процессе". Личность и мировой процесс! Мировой процесс и личность земной блохи! Когда же мы наконец устанем вечно повторять эту гиперболу из гипербол, твердить это выражение: "Мир, мир, мир", в то время как по совести каждый из нас должен был бы лишь повторять: "Человек, человек, человек!" Наследники греков и римлян? христианства? Это в глазах циников не имеет никакой цены; но наследники мирового процесса! Вершины и мишени мирового процесса! Смысл и разгадка всех загадок становления, отлившиеся в форму современного человека, этого наиболее зрелого из всех плодов древа познания! - вот что я называю высокоразвитым самомнением; по этому признаку можно узнать первенцев всех эпох, если бы даже они и явились последними. Так далеко еще не заносилось никогда историческое созерцание, даже и тогда, когда оно видело сны; ибо теперь история человечества есть только продолжение истории животного и растительного царства; даже на дне морском исторический универсалист ухитряется находить свои следы в виде живой слизи. Если мы удивляемся громадности пути, пройденного уже человеком, как некоему чуду, то взор наш останавливается с головокружительным изумлением, как на еще более поразительном чуде, на современном человеке, который достиг того, что может мысленно проследить весь этот путь; он гордо стоит на вершине пирамиды мирового процесса; закладывая последний, замковый камень своего познания, он как бы хочет крикнуть прислушивающейся к его словам природе: "Мы у цели, мы - сама цель, мы - венец природы!" Надменный европеец девятнадцатого столетия, ты неистовствуешь! Твое знание не завершает природу, а, напротив, убивает твою собственную. Сопоставь хоть однажды высоту твоего познания с глубиной твоей немощи в действии. Цепляясь за солнечные лучи знания, ты, правда, поднимаешься все ближе к небу, но также и спускаешься в хаос. Твой способ передвижения, именно, карабкание вверх по лестнице знания, является для тебя роковым; основа и почва ускользают из-под твоих ног куда-то в неизвестное; жизнь твоя лишается всех точек опоры и держится только на паутинных нитях, которые рвутся при каждом новом усилии твоего познания. - Но не стоит больше тратить по этому поводу серьезных слов, когда можно сказать нечто веселое. Неистово-необдуманное раздробление и разрушение всех фундаментов, растворение их в непрерывно-текущее и расплывающееся становление, неустанное расщепление и историзирование всего прошлого современным человеком - этим большим пауком-крестовиком в центре всемирной паутины - пусть занимают и озабочивают моралиста, художника, верующего и даже государственного человека; нас же пусть сегодня позабавит все это, созерцаемое в блестящем волшебном зеркале философа-пародиста, в голове которого наше время дошло до иронического отношения к самому себе, и притом явно "до нечестивости" (говоря по-гетевски). Гегель где-то поучает нас, что "когда дух делает шаг вперед, то философы двигаются вместе с ним": наша эпоха сделала такой шаг вперед в направлении иронического самопознания и - гляди-ка! Эд. фон Гартман очутился тут как тут и создал свою знаменитую философию бессознательного или, говоря точнее, свою философию бессознательной иронии. Редко нам случалось встречать более забавную выдумку и более удачные образчики философского

плутовства, чем в сочинениях Гартмана; кто не уяснил себе процесса становления или не освободился внутренне от него благодаря Гартману, тот действительно созрел для прошедшего времени. Начало и цель мирового процесса, от первого недоумения сознания и до его обратного погружения в ничто, вместе с точно формулированной задачей нашего поколения по отношению к мировому процессу, все это изображено с точки зрения бессознательного, в котором столь остроумно найден источник вдохновения и которое освещено каким-то апокалиптическим светом, все подделано столь искусно и с такой искренней серьезностью, как будто это действительно серьезная философия, а не философия в шутку, и все это, взятое в целом, заставляет видеть в авторе первого философского пародиста всех времен; принесем ввиду этого жертву на его алтарь, пусть этой жертвой изобретателю истинного универсального лекарства будет локон - воспользуемся украденным у Шлейермахера выражением восхищения. Ибо, в самом деле, какое лекарство может быть действительно более эффективным против избытка исторического образования, как не гартмановская пародия на всемирную историю?

Если бы мы захотели выразить без прикрас то, что Гартман возвещает нам с высоты своего окутанного курениями треножника бессознательной иронии, то мы должны были бы сказать: он возвещает нам, что наше время именно таково, каким оно должно было быть, чтобы человечество вдруг почувствовало, что с него решительно довольно такого существования, чему мы от всего сердца верим. То ужасное заострение нашего времени, то беспокойное постукивание костями, которое Давид Штраус в своей наивности изобразил нам как прекраснейшую действительность, у Гартмана находит свое оправдание не только, так сказать, *ex causis efficientibus*, но даже и *ex causa finali*; этот шутник рассматривает нашу эпоху в свете дня страшного суда, причем оказывается, что она очень хороша именно для того, кто сам ищет возможно острых страданий от неудобоваримости жизни и кто ждет не дожидается наступления страшного суда. Правда, Гартман называет возраст, к которому теперь приближается человечество, "возрастом возмужалости", а таковым, с его точки зрения, должно считаться то счастливое состояние, когда господствует только одна "золотая посредственность" и когда искусство делается тем, чем примерно для "берлинского биржевика является вечером фарс", когда "нет спроса на гениев, потому что это равносильно было бы метанию бисера перед свиньями или же потому что наша эпоха шагнула через стадию, которой приличествовали гении, к более важной стадии", именно к той стадии социального развития, в которой каждый работник "благодаря рабочему времени, оставляющему ему достаточный досуг для его интеллектуальных запросов, может вести комфортабельное существование". Ах, шутник из шутников, ты высказываешь страстное желание современного человечества, но тебе в то же время известно, что за призрак угрожает человечеству в конце этого возраста его возмужалости как результат такого интеллектуального развития до золотой посредственности - именно отвращение. Совершенно ясно, что сейчас положение дел крайне неутешительно, но что в будущем будет еще хуже: "антихрист все шире и шире раскидывает свои сети", но так должно быть, так должно происходить и впредь, ибо тем самым мы находимся на вернейшем пути к отвращению от всего существующего. "Поэтому вперед по пути процесса жизни без колебаний, как работники в вертограде Господнем, ибо только один процесс сам по себе может нас привести к спасению!"

Вертоград Господа! Процесс! К спасению! Разве в этих словах не видно и не слышно голоса исторического образования, знающего только слово "становиться", умышленно замаскированного уродливой пародией и под прикрытием нелепой маски рассказывающего о себе самые невероятные небылицы! Ибо чего, в сущности, требует от работников в вертограде Господнем этот обращенный к ним лукавый призыв? К какой работе во имя неустанного движения вперед призывает их? Или, формулируя тот же вопрос иначе: что еще нужно сделать исторически образованному человеку, фанатику процесса, плывущему в потоке становления и уже захлебнувшемуся в нем, чтобы собрать жатву отвращения, этот драгоценнейший плод вертограда Господня? - Ему ничего не нужно предпринимать, а только продолжать жить, как он жил раньше, продолжать любить то, что он любил, продолжать ненавидеть то, что он ненавидел до сих пор, и продолжать читать газеты, которые он читал до сих пор; для него существует лишь один грех - жить иначе, чем он жил до сих пор. А как он жил до сих пор, об этом нам говорит с лапидарной ясностью та знаменитая страница с напечатанными крупным шрифтом тезисами, по поводу которых вся современная образованная чернь впала в слепой восторг и восторженное бешенство, ибо в этих тезисах она усмотрела оправдание своему собственному существованию, и притом оправдание с какой-то апокалиптической точки зрения. Ибо от каждой отдельной личности наш бессознательный пародист требовал "полного растворения личности в мировом процессе ради конечной цели последнего, т. е. спасения мира" - или, еще яснее и прозрачнее: "Утверждение воли к жизни провозглашается нами как единственно правильный предварительный принцип: ибо только путем полного слияния личности с жизнью и ее страданиями, а не путем малодушного самоотречения личности и удаления от света может быть что-нибудь сделано для мирового процесса"; "Стремление к отрицанию индивидуальной воли так же глупо и бесполезно, как самоубийство, или, может быть, даже еще глупее"; "Мыслящий читатель поймет и без дальнейших указаний, какую форму должна получить основанная на этих принципах практическая философия и то, что такая философия должна влечь за собой не разлад, а примирение с жизнью".

Мыслящий читатель поймет это; и как могли не понять Гартмана! И сколь бесконечно забавно, что его неправильно понимали! И находятся люди, которые говорят, что современные немцы очень проницательны? Один прямодушный англичанин констатирует у них отсутствие *delicacy of perception* и даже осмеливается

утверждать, что "in the German mind there does seem to be something splay, something blunt-edged, unhandy and infelicitous" согласился ли бы с этим великий немецкий пародист? Хотя, по его объяснению, мы и приближаемся к "тому идеальному состоянию, в котором человеческий род будет сознательно творить свою историю", но совершенно ясно, что мы довольно далеки от того еще более идеального состояния, когда человечество сможет вполне сознательно прочесть книгу Гартмана. Когда же такое время наступит, то ни один человек не сумеет произнести без улыбки слова "мировой процесс", ибо при этом он непременно вспомнит о том времени, когда евангелие-пародия Гартмана воспринималось, впитывалось, оспаривалось, почиталось, распространялось и канонизировалось со всей простоватостью упомянутого *german mind* или даже, по выражению Гете, с "гримасничающей серьезностью совы". Но мир должен идти вперед, а то идеальное состояние, о котором шла речь выше, не может быть создано грезами, оно может лишь быть добыто в борьбе и завоевано, и путь к спасению, к избавлению от мнимой совиной серьезности лежит через веселую жизнерадостность. Это будет такое время, когда люди станут благоразумно воздерживаться от всяких конструктивных предположений насчет мирового процесса или даже истории человечества, такое время, когда в центре внимания будут уже не массы, а снова отдельные личности, образующие род моста через необозримый поток становления. И эти личности не представляют собой звеньев какого-нибудь процесса, но живут как бы одновременно и вне времени благодаря истории, которая делает возможным такое сотрудничество; они составляют как бы республику гениальных людей, о которой где-то рассказывает Шопенгауэр: один великан окликает другого через пустынные промежутки времени, и эти беседы исполинов духа продолжаются, не нарушаемые резвой суетой шумного поколения карликов, которые копошатся у их ног. Задача истории заключается в том, чтобы служить посредницей между ними и этим путем снова и снова способствовать созданию великого и давать ему силы. Нет, цель человечества не может лежать в конце его, а только в его совершеннейших экземплярах.

На это, правда, наш комик со своей достойной удивления диалектикой, которая в такой же степени неподдельна, в какой ее поклонники заслуживают удивления, возражает нам: "Так же мало, как с понятием развития совместимо было бы допущение бесконечной продолжительности мирового процесса в прошлом, ибо в этом случае все мыслимые формы развития были бы уже осуществлены, чего мы, однако, не видим (каков хитрец!), столь же мало можем мы допустить бесконечное продолжение процесса в будущем; оба эти допущения были бы равносильны упразднению понятия развития в направлении к определенной цели (еще раз - каков хитрец!) и уподобили бы мировой процесс работе Данаид. Полная же победа логического над нелогическим (о, хитрец из хитрецов!) должна совпадать с окончанием мирового процесса во времени, т. е. с днем страшного суда!" Нет, ясный и насмешливый дух, пока нелогическое продолжает властвовать так же, как сейчас, пока, например, о "мировом процессе" можно при всеобщем одобрении рассуждать так, как ты рассуждаешь, день страшного суда еще далек: ибо на этой земле еще слишком светло и радостно, еще цветут некоторые иллюзии вроде, например, иллюзии твоих современников относительно тебя, мы еще недостаточно зрелы для того, чтобы быть снова низринутыми в твоё ничто: ибо мы верим в то, что здесь на земле станет еще веселее, как только начнут правильно понимать тебя, о непонятый Бессознательный. Если же все-таки отвращение с силой овладеет человечеством, как ты это предсказывал твоим читателям, если твоя характеристика современности и будущего окажется правильной - а никто ведь не относился к ним с таким презрением и отвращением, как ты, - то я готов голосовать вместе с большинством в предложенной тобой форме за то, чтобы твой мир погиб в ближайшую субботу в 12 часов ночи; и принятый нами закон пусть заканчивается такими словами: с завтрашнего дня время больше не существует и ни одна газета не будет больше выходить. Но может быть, ожидаемого действия не последует и наше голосование будет напрасно: ну, тогда у нас во всяком случае останется достаточно времени для следующего интересного эксперимента. Возьмем весы и положим на одну чашу гартмановское Бессознательное, а на другую - гартмановский Мировой процесс. Есть люди, которые полагают, что чаши весов будут в равновесии: ибо в каждой чаше мы имели бы по одному одинаково плохому слову и по одной удачной шутке. - Когда все поймут, что Гартман шутил, то уже никто не будет говорить о "мировом процессе" Гартмана иначе как только в шутку. И на самом деле, уже давно пора пустить в ход против излишеств исторического чувства, против чрезмерного увлечения процессом в ущерб бытию и жизни, против необдуманного отодвигания всех перспектив все имеющееся в нашем распоряжении оружие сатирической злости; а творцу философии бессознательного нужно поставить в неумирающую заслугу, что он первый живо почувствовал все то смешное, что связано с представлением "мирового процесса", а еще живее сумел дать это почувствовать своим читателям при помощи нарочитой серьезности своего изложения. Для чего существует "мир", для чего существует "человечество" - этим мы пока заниматься не станем, разве только мы бы вздумали немного позабавиться: ибо дерзость маленького червяка-человека не есть ли самое забавное и самое веселое из всего совершающегося на земной сцене; но для чего существует отдельный человек - вот что ты должен спросить у самого себя, и если бы никто не сумел тебе ответить на это, то ты должен попытаться найти оправдание своему существованию, как бы *a posteriori*, ставя себе самому известные задачи, известные цели, известное "ради", высокое и благородное "ради". Пусть тебя ждет на этом пути даже гибель - я не знаю лучшего жизненного жребия, как погибнуть от великого и невозможного, *animae magnae prodigium*. Если же, напротив, учения о верховности становления, о текучести всех понятий, типов и родов, об отсутствии серьезного различия между человеком и животным - учения, которые я считаю хотя и истинными, но смертоносными, - будут хотя бы в течение одного человеческого

века распространяться среди народных масс с обычным для нашего времени просветительским рвением, то никто не должен удивляться тому, что народ будет гибнуть благодаря эгоистической мелочности и эгоистическому ничтожеству, благодаря закостенению и себялюбию, предварительно расколовшись на части и перестав быть народом; на место последнего на арене будущего, может быть, появятся системы отдельных эгоизмов, будут образовываться братства в целях хищнической эксплуатации всех стоящих вне братств и тому подобные создания утилитарной пошлости. Чтобы расчистить почву для таких организаций, нужно только продолжать излагать историю с точки зрения масс и стараться открыть в истории такие законы, которые могут быть выведены из потребностей этих масс, т. е. законов движения низших слоев общества. Массы представляются мне достойными внимания только в трех отношениях: прежде всего, как плохие копии великих людей, изготовленные на плохой бумаге со стертых негативов, затем, как противодействие великим людям и, наконец, как орудие великих людей; в остальном же побори их черт и статистика! Как! Статистика, по вашему мнению, доказывает, что в истории есть законы? Законы? Да, она показывает нам, насколько пошла и до тошноты однообразна масса; но разве действие сил тяготения, глупости, рабского подражания, любви и голода можно называть законами? Хорошо, допустим это; но тогда мы должны признать правильность и такого положения: поскольку в истории действуют законы, постольку эти законы не имеют никакой цены, как не имеет никакой цены тогда и сама история. Но в настоящее время как раз и пользуется всеобщим признанием тот род истории, который видит в главных инстинктах масс наиболее важные и значительные факторы истории, а на всех великих людей смотрит как на наиболее яркое выражение их, как на род пузырьков, отражающихся на поверхности воды. При этом масса сама по себе должна порождать великое, а хаос - порядок; и в заключение, конечно, затягивают гимн в честь творческих способностей масс. "Великим" с этой точки зрения называют все то, что двигало в течение более или менее продолжительного времени такими массами и что представляло собой, как говорят, "историческую силу". Но не значило ли бы это умышленно смешивать количество и качество? Если грубой массе пришлось по душе какая-либо идея, например религиозная идея, если она упорно защищала ее и в течение веков цепко за нее держалась, то следует ли отсюда, что творец данной идеи должен считаться в силу этого и только в силу этого великим человеком? Но почему, собственно? Благороднейшее и высочайшее совершенно не действует на массы; исторический успех христианства, его историческая мощь, живучесть и прочность - все это, к счастью, ничего не говорит в пользу величия его основателя, ибо, в сущности, оно говорило бы против него; но между ним и тем историческим успехом христианства лежит весьма земной и темный слой страстей, ошибок, жажды власти и почестей, действующих и поныне сил *imperiū romanū*, т. е. тот слой, от которого христианство получило земной привкус и земной придаток, обусловившие возможность его существования в этом мире и как бы обеспечившие его устойчивость. Величие не должно зависеть от успеха; и Демосфен завоевал величие, хотя он и не имел успеха. Наиболее чистые и наиболее искренние из последователей христианства всегда относились скептически к его светским успехам, к его так называемому "историческому влиянию" и скорее старались парализовать их развитие, чем способствовать им; ибо они обыкновенно ставили себя вне "мира сего" и не заботились о "процессе христианской идеи"; благодаря этому они в большинстве случаев и остались совершенно неизвестными и безымянными в истории. Или, выражаясь по-христиански: владыкой мира и вершителем успеха и прогресса является дьявол; он есть истинная сила всех исторических сил и так будет, в сущности, всегда, хотя это, может быть, и покажется весьма обидным для эпохи, которая привыкла преклоняться перед успехом и исторической силой. Эта эпоха приобрела большой навык именно в искусстве давать вещам новые имена и даже дьявола ухитрилась окрестить наново. Несомненно, мы переживаем час великой опасности: человечество, по-видимому, весьма близко к открытию той истины, что рычагом исторических движений всегда служил эгоизм отдельных лиц, групп или масс; в то же время это открытие отнюдь не возбуждает ни в ком тревоги, напротив, оно возводится в степень закона: эгоизм да будет нашим богом. Опираясь на эту новую веру, мы собираемся с полнейшей сознательностью возвести здание будущей истории на фундаменте эгоизма, но только этот эгоизм должен быть эгоизмом разумным, т. е. таким, который сам на себя налагает известные ограничения, чтобы прочнее укрепиться в своих позициях, и который изучает историю именно с целью узнать, что представляет собой эгоизм неразумный. Такого рода занятие историей научило нас, что в образовавшейся мировой системе эгоизмов на долю государства выпадает особая миссия: оно должно стать покровителем всех разумных эгоизмов для того, чтобы оградить их при помощи своей военной и полицейской силы от ужасных взрывов неразумного эгоизма. Для той же цели неразумным и потому опасным народным и рабочим массам тщательно прививается история, и именно история животного царства и история человечества, ибо известно, что даже крупница исторического образования в состоянии сломить силу грубых и тупых инстинктов и страстей или направить их в русло утонченного эгоизма. In summa: современный человек, говоря словами Э. фон Гартмана, "озабочен устройством здесь, на своей земной родине, удобного и комфортабельного жилья, имеющего в виду будущее". Этот же самый писатель называет подобную эпоху "возрастом возмужалости человечества" как бы в насмешку над тем, что теперь называется "мужем", словно под этим последним словом понимается только "трезвый себялюбец"; совершенно так же он предсказывает, что за этим возрастом возмужалости наступит соответствующий возраст старости, также, очевидно, только для того, чтобы посмеяться над нашими современными старцами, ибо он не раз упоминает о той зрелой созерцательности, с которой они "оглядываются назад, на бурные тревожения прожитых годов, и понимают всю

тщету прежних ложных целей их стремлений". Нет, зрелому возрасту этого лукавого и исторически образованного эгоизма соответствует такой старческий возраст, который с отвратительной и унижительной жадностью цепляется за жизнь, а затем последний акт, которым "заканчивается эта странно изменчивая история, второе детство, полнейшее забвение, лишенное зрения, зубов, вкуса и всего".

Все равно, угрожает ли нашей жизни и нашей культуре опасность от этих беспутных, лишенных зубов и вкуса старцев или от так называемых мужей Гартмана, будем зубами отстаивать против тех и других права нашей молодости и неустанно защищать в нашей молодости будущее от покушений этих иконоборцев будущего. Но в этой борьбе нам предстоит сделать еще одно особенно неприятное наблюдение, а именно, что излишества исторического чувства, от которых страдает современность, умышленно поощряются и поддерживаются, с тем чтобы использовать их в известных целях.

Пользуются же ими как средством, чтобы привить юношеству этот столь тщательно повсюду насаждаемый эгоизм зрелого возраста; ими пользуются, чтобы побороть в юношестве естественное отвращение к этим излишества при помощи нарочитого научно-магического освещения, в котором изображается этот мужественный и в то же время недостойный мужчины эгоизм. Да, мы хорошо знаем, к каким результатам может привести чрезмерное преобладание истории, мы слишком хорошо это знаем; оно может в корне подрезать наиболее могучие инстинкты юности: юношеский огонь, юношеский задор, способность к самозабвению и к любви, охладить пыл присущего ей чувства справедливости, подавить или оттеснить на второй план упорное стремление к медленному созреванию, посредством противоположного стремления возможно скорее сделаться готовым, полезным и продуктивным, привить яд сомнения ее юношеской честности и смелости чувства; более того, история может лишить юность ее лучшего преимущества - ее способности проникаться глубокой верой в великую идею и претворять ее в недрах своего существа в еще более великую идею. Все это может натворить известный избыток истории, мы это видели; и именно тем, что она путем постоянного искажения горизонтов и перспектив и устранения предохранительной атмосферы не позволяет человеку чувствовать и действовать неисторически. От безграничных горизонтов он обращается тогда к самому себе, в свою узкую, эгоистическую сферу, в которой он неизбежно завянет и засохнет; может быть, ему удастся таким способом достигнуть благоразумия, но ни в коем случае мудрости. Он доступен убеждению, он умеет считаться с обстоятельствами и приспособляться к ним, хорошо владеет собой, смекает и умеет извлекать выгоду для себя и для своей партии из чужих выгод или невыгод; он утрачивает совершенно ненужную способность стыдиться и таким путем, шаг за шагом, превращается в гартмановского зрелого "мужа" и "старца". Но это и есть то, во что он должен превратиться, именно в этом и заключается смысл предъявляемого теперь с таким цинизмом требования "полного растворения личности в мировом процессе" - ради цели последнего, т. е. спасения мира, как нас уверяет шутник Э. фон Гартман. Ну, воля-то и цель этих гартмановских "мужей" и "старцев" едва ли заключается в спасении мира, но, несомненно, мир был бы ближе ко спасению, если бы ему удалось избавиться от этих мужей и старцев. Ибо тогда наступило бы царство юности.

10

Упомянувши здесь о юности, я готов воскликнуть: земля! земля! Довольно, слишком довольно этих страстных исканий и блуждания по чужим незнакомым морям! Теперь виднеется наконец вдали берег; каков бы ни был этот берег, мы должны к нему пристать, и наихудшая гавань лучше, чем блуждание и возвращение в безнадежную, скептическую бесконечность. Будем крепко держаться на обретенной земле, мы всегда сумеем найти потом хорошие гавани и облегчить потомству возможность пристать к ним.

Опасно и полно тревог было это плавание. Как далеки мы теперь от той спокойной созерцательности, с которой мы наблюдали начало плавания нашего корабля! Исследуя шаг за шагом опасности истории, мы увидели, что сами подвергнуты в наисильнейшей степени всем этим опасностям; мы носим на самих себе следы тех страданий, которые выпали на долю людей новейшего поколения вследствие избытка истории, и именно это исследование, чего я отнюдь не намерен скрывать от себя, носит вполне современный характер, характер слабовыраженной индивидуальности, проявляющейся в неумеренности его критики, в незрелости его человечности, в частом переходе от иронии к цинизму, от самоуверенности к скептицизму. И все-таки я полагаюсь на ту вдохновляющую силу, которая, как гений, направляет мой корабль. И все-таки я верю, что юность направила меня на истинный путь, заставив меня протестовать против исторического образования современного юношества и заставив меня требовать, чтобы человек прежде всего учился жить и чтобы, только научившись жить, пользовался историей - исключительно для целей жизни. Нужно быть юным, чтобы понимать этот протест, более того: при преждевременном седовласии нашего теперешнего юношества нельзя быть достаточно юным, чтобы почувствовать, против чего, в сущности, здесь направлен протест. Я прибегну к помощи примера. Не далее как столетие тому назад в известной части молодого поколения Германии пробудилось естественное тяготение к тому, что называют поэзией. Можно ли заключить отсюда, что поколения, жившие до этого времени и в это самое время, никогда не заикались об этом роде искусства, внутренне им чуждом и неестественном с их точки зрения? Напротив, мы знаем как раз обратное: что эти поколения по мере своих сил размышляли, писали, спорили о "поэзии" посредством слов о словах, словах, словах. Но такое наступающее пробуждение известного слова к жизни вовсе не влекло за собой исчезновения самих сочинителей слов; в известном смысле они живы еще и поныне; ибо если, как говорит Гиббон, не требуется ничего, кроме времени,

хотя и многого времени, для того чтобы погибла известная эпоха, то точно так же не нужно ничего, кроме времени, хотя и гораздо большего времени, чтобы в Германии, "этой стране постепенности", исчезло навсегда какое-либо ложное понятие. Во всяком случае понимающих поэзию людей теперь найдется, пожалуй, на сотню больше, чем столетие тому назад; может быть, через сто лет найдется еще сотня людей, которые за это время научатся понимать, что такое культура, а также и то, что у немцев нет до сих пор никакой культуры, как бы они ни распространялись и ни важничали на сей счет. Им столь распространенная ныне удовлетворенность немцев своим "образованием" будет казаться в такой же степени невероятной и такой же нелепой, как нам - некогда общепризнанная классичность Готшеда или возведение Рамлера в сан немецкого Пиндара. Они, может быть, придут к выводу, что это образование есть только известный вид знания об образовании, и к тому же совершенно ложного и поверхностного знания. Ложным же и поверхностным оно должно считаться именно потому, что противоречие между жизнью и знанием принималось всегда как нечто естественное и не замечалось наиболее характерное в образовании действительно культурных народов явление, а именно что культура может вырасти и развиваться лишь на почве жизни, в то время как она у немцев как бы прикрепляется к жизни вроде бумажного цветка к тарту или, подобно сахарной глазури, обливает снаружи торт и потому должна всегда оставаться лживой и бесплодной. Немецкое же воспитание юношества опирается именно на это ложное и бесплодное представление о культуре: конечной целью его, понимаемой в чистом и высоком смысле, является вовсе не свободный человек культуры, но ученый человек науки, и притом такой человек науки, которого можно использовать возможно раньше и который отстраняется от жизни, чтобы возможно точнее познать ее; результатом такого воспитания с общеэмпирической точки зрения является историческо-эстетический филистер образования, умный не по летам и самонадеянный болтун о государстве, церкви и искусстве, общее чувствилище для тысячи разнообразных ощущений, ненасытный желудок, который тем не менее не знает, что такое настоящие голод и жажда. Что воспитание, поставившее себе подобные цели и приводящее к таким результатам, противоестественно, это чувствует только тот, кто еще окончательно не сложился под влиянием его, это чувствует только инстинкт юности, ибо только она сохраняет еще инстинкт естественного, который это воспитание может заглушить лишь при помощи искусственных и насильственных мер. Но кто, в свою очередь, пожелал бы бороться с таким воспитанием, тот должен помочь юношеству сказать свое слово, тот должен путем уяснения понятий осветить путь для бессознательного протеста юношества и сделать последний вполне сознательным и смело заявляющим свои права. Каким же способом он может достигнуть этой не совсем обычной цели?

Прежде всего путем разрушения известного предрассудка - а именно, веры в необходимость вышеуказанной воспитательной операции. Существует же мнение, что невозможна никакая иная действительность, кроме нашей современной, крайне убогой, действительности. Если бы кто-нибудь вздумал проверить этот факт на литературе, посвященной высшему школьному образованию и воспитанию за последние десятилетия, то он был бы неприятно удивлен, заметив, насколько, при всей неустойчивости предположений и при всей остроте противоречий, однообразны господствующие представления о конечной цели образования, насколько единодушно и решительно продукт предшествующего развития - "образованный человек", как его теперь понимают, - принимается за необходимое и разумное основание всякого дальнейшего воспитания. И это единодушие нашло бы себе выражение, вероятно, в следующей формуле: "Юноша должен начать с науки об образовании, но не с науки о жизни и уж ни в коем случае не с самой жизни или жизненного опыта". Эта наука об образовании внедряется к тому же в головы юношей как историческое знание; другими словами, головы их начиняются невероятным количеством понятий, выведенных на основании весьма отдаленного знакомства с эпохами и народами прошлого, но отнюдь не на основании прямого наблюдения над жизнью. Страстная потребность юноши узнать что-нибудь собственными силами, страстная потребность чувствовать, как внутри его зреет стройная и живая система собственных переживаний, - эти потребности всячески стараются в нем заглушить и как бы опьянить, пробуждая в нем соблазнительную, но ложную уверенность, что можно в течение немногих лет переработать в себе важнейшие и замечательнейшие результаты опыта прошлых эпох, и притом величайших из эпох. Это тот же претенциозный метод, в силу которого наши молодые художники изучают искусство в музеях и галереях вместо того, чтобы изучать его в мастерских великих художников, и прежде всего в единственной в своем роде мастерской единственной великой мастерицы - природы. Как будто поверхностной прогулки по владениям истории достаточно для того, чтобы перенять у прошлых времен их приемы и уловки и усвоить себе их жизненные итоги! Или как будто сама жизнь не есть известное ремесло, которое мы должны основательно и неустанно изучать и, не щадя усилий, упражняться в нем, если мы не хотим, чтобы им завладели дилетанты и болтуны!

Платон думал, что первое поколение его нового общества (в совершенном государстве) должно быть воспитано при помощи могучей вынужденной лжи; дети должны быть воспитаны в уверенности, что они уже раньше жили под землей, как бы в состоянии сна, где их лепил и формовал по своему усмотрению фабричный мастер природы. Немыслимо поэтому восставать против прошлого! Немыслимо противодействовать делу богов! Следующее правило должно считаться ненарушимым законом природы: кто родился философом, тот сделан из золота, кто родился стражем, тот сделан из серебра, а ремесленник - из железа и сплавов. Как невозможно, говорит Платон, сплавить вместе эти металлы, так невозможно будет когда-либо уничтожить кастовое

устройство и перемешать касты друг с другом; вера в aeterna veritas этого устройства и есть фундамент нового воспитания и вместе с тем нового государства. Совершенно так же верит и современный немец в aeterna veritas своего воспитания и своего вида культуры; и все-таки эта вера погибнет, как погибло бы платоновское государство, если бы необходимой лжи была противопоставлена необходимая истина: у немца нет своей культуры, ибо он не может обладать ею благодаря своему воспитанию. Он хочет цветка без корня и стебля, и хочет поэтому его напрасно. Такова простая истина, неприятная и неизящная, настоящая необходимая истина. Но в этой необходимой истине должно быть воспитано наше первое поколение; ему, разумеется, придется в особенности сильно страдать от нее, ибо оно должно при помощи ее само себя воспитывать, и притом воспитывать в себе в борьбе с самим собой новые привычки и новую природу взамен старой и первоначальной природы и привычек, так что оно могло бы сказать самому себе на староиспанском наречии: "Defienda me Dios de ty" - да защитит меня Господь от меня самого, т. е. от уже привитой мне воспитанием природы. Оно должно усваивать себе эту истину каплю за каплей, как горькое и противное лекарство, и каждый отдельный член этого поколения должен решиться произнести над самим собой тот приговор, с которым ему легче было бы примириться, если бы он относился вообще ко всей эпохе: у нас нет образования, мы непригодны для жизни, мы не способны правильно и просто смотреть и слушать, нам недоступно счастье обладания ближайшим и естественным, и до настоящего времени мы не заложили даже фундамента культуры, ибо сами не убеждены в том, что мы живем настоящей жизнью. Мы распались на мелкие куски, мы в нашем целом разделены полумеханически на внутреннее и внешнее, мы засыпаны понятиями, как драконовыми зубами, из которых вырастают понятия-драконы; мы страдаем болезнью слов, не доверяя никакому собственному ощущению, если оно еще не запечатлено в форме слов; в качестве такой мертвой и в то же время жутко шевелящейся фабрики понятий и слов я, может быть, еще имею право сказать о себе самом: cogito, ergo sum, но не vivo, ergo cogito. За мной обеспечено право на пустое "бытие", а не на полную и цветущую "жизнь"; мое первоначальное ощущение служит мне лишь порукой в том, что я являюсь мыслящим, но не в том, что я являюсь живым существом, порукою в том, что я - не animal, а разве только в крайнем случае - cogital. Подарите мне сначала жизнь, а я уж создам вам из нее культуру! Так восклицает каждый отдельный член этого первого поколения, и все эти отдельные личности имеют возможность узнать друг друга по такому вот восклицанию. Но кто подарит им эту жизнь?

Не Бог и не человек, а только их собственная юность: снимите с нее оковы, и вы вместе с нею освободите и жизнь. Ибо она только до поры до времени скрывалась в темнице, она еще не засохла и не завяла - об этом вы можете спросить самих себя.

Но она больна, эта освобожденная от оков жизнь, и ее нужно лечить. У нее множество недугов, ее заставляют страдать не только воспоминания о прежних оковах, но и новая болезнь, которая нас здесь главным образом интересует, - историческая болезнь. Избыток истории подорвал пластическую силу жизни, она не способна больше пользоваться прошлым как здоровой пищей. Болезнь ужасна, и тем не менее если бы природа не наделила юность даром ясновидения, то никто бы не знал, что это болезнь и что рай здоровья нами утрачен. Та же самая юность при помощи все того же спасительного инстинкта природы угадывает, каким образом мы могли бы завоевать обратно этот рай; ей известны бальзамы и лекарства против исторической болезни, против избытка исторического: как же называются эти лекарства?

Пусть не удивляются, это названия ядов: средства против исторического называются неисторическим и надисторическим. Эти термины возвращают нас к исходным пунктам нашего исследования и к их спокойствию.

Словом "неисторическое" я обозначаю искусство и способность забывать и замыкаться внутри известного ограниченного горизонта; "надисторическим" я называю силы, которые отвлекают наше внимание от процесса становления, сосредоточивая его на том, что сообщает бытию характер вечного и неизменного, именно на искусстве и религии. Наука - ведь о ядах говорила бы, конечно, она - видит в этой способности, в этих силах враждебные силы и способности: ибо она считает только такое исследование вещей истинным и правильным и, следовательно, научным, которое видит всюду совершившееся, историческое и нигде не видит существующего, вечного; она живет во внутреннем противоречии с вечными силами искусства и религии точно так же, как она ненавидит забвение, эту смерть знания, как она стремится уничтожить все ограничения горизонтами и погружает человека в бесконечно-безграничное световое море познания становления.

Как может он жить в нем! Подобно тому как при землетрясениях разрушаются и пустеют города и человек лишь боязливо и на скорую руку строит свой дом на вулканической почве, так жизнь колеблется в своих устоях и лишается силы и мужества, когда под воздействием науки сотрясается почва понятий, отнимая у человека фундамент, на котором покоится его уверенность и спокойствие, а также веру в устойчивое и вечное. Должна ли господствовать жизнь над познанием, над наукой или познание над жизнью? Какая из двух сил есть высшая и решающая? Никто не усомнится: жизнь есть высшая, господствующая сила, ибо познание, которое уничтожило бы жизнь, уничтожило бы вместе с нею и само себя. Познание предполагает жизнь и поэтому настолько же заинтересовано в сохранении жизни, насколько каждое существо заинтересовано в продолжении своего собственного существования. Поэтому наука нуждается в высшем надзоре и контроле; рядом с наукой возникает учение о гигиене жизни, а одно из положений этого учения гласило бы так: неисторическое и надисторическое должны считаться естественными противоядиями против заглужения жизни историческим, против исторической

болезни. По всей вероятности, мы, больные историей, будем страдать также и от противоядий. Но то обстоятельство, что противоядия также причиняют нам страдания, не может считаться аргументом против правильности избранного метода лечения.

И вот в этом-то я и усматриваю миссию того юношества, того первого поколения борцов и истребителей змей, которое идет в авангарде более счастливого и более прекрасного образования и человечности, не получая от этого грядущего счастья и будущей красоты ничего, кроме многообещающего предчувствия. Это юное поколение будет одновременно страдать и от болезни, и от противоядий, и все-таки оно имеет больше прав говорить о своем более крепком здоровье и более естественной природе, чем предыдущие поколения поколения образованных "мужей" и "старцев" современности. Миссия же его заключается в том, чтобы подорвать веру в понятия, которые господствуют теперь относительно "здоровья" и "образования", и возбудить ненависть и презрение к этим чудовищным понятиям-ублюдкам; и наивернейшим показателем более прочного здоровья этой молодежи должно служить именно то, что она для обозначения истинной своей сущности не находит подходящего понятия или партийного термина в обращающейся в современной публике монете слов или понятий, а только в каждую удачную минуту своей жизни сознает в себе действие живущей в ней боевой отборочной и рассасывающей силы и всегда повышенного чувства жизни. Можно оспаривать, что эта молодежь уже обладает образованием - но какой молодежи это могло бы быть поставлено в упрек? Можно обвинять ее в грубости и неумеренности - но она еще недостаточно стара и умудрена опытом, чтобы сдерживать свои порывы; да, прежде всего ей нет никакой надобности лицемерно претендовать на законченное образование и защищать его, ибо она имеет право на все утешения и преимущества юности, в особенности на преимущество смелой и не знающей колебаний честности и на утешения воодушевляющей надежды.

Я знаю, что для всех живущих такой надеждой эти обобщения понятны и близки и их собственный опыт даст им возможность претворить их в личную доктрину; остальные же, быть может, не увидят в этом пока ничего, кроме покрытых блюд, смогших бы, пожалуй, оказаться и пустыми, покуда они однажды не изумятся и не увидят собственными глазами, что блюда полны и что в этих обобщениях заключались уложенные и сжатые нападки, требования, жизненные инстинкты и страсти, которые, однако, не могли долго лежать под спудом. Отсылая подобных скептиков к выводящему все на свет Божий времени, я в заключение обращаюсь к этому кругу уповающих, чтобы показать им символически ход и течение их исцеления, их избавления от исторической болезни и вместе с тем их собственную историю вплоть до момента, когда они настолько оправятся от болезни, что смогут снова заняться историей и под верховным руководством жизни использовать прошлое в тройном смысле: монументальном, антикварном или критическом. В этот момент они будут невежественнее наших "образованных" современников, ибо они многое забудут и даже потеряют всякую охоту вообще интересоваться тем, что эти образованные хотели знать прежде всего; отличительными их признаками, с точки зрения образованных, будут служить именно их "необразованность", их равнодушие и замкнутость по отношению ко многому окруженному громкой славой и даже к некоторым хорошим вещам. Но зато они станут в этом конечном пункте своего лечения снова людьми и перестанут быть человекоподобными агрегатами, - а это есть нечто! В этом заключены надежды! Не радуется ли при такой перспективе сердце в вашей груди, вы, уповающие?

Но как мы достигнем этой цели? - спросите вы. Дельфийский бог напутствует вас в самом начале вашего шествия к этой цели изречением: "Познай самого себя". Это трудная заповедь: ибо названный бог "не скрывает ничего и не возвещает ничего, он только показывает", как сказал Гераклит. На что же он указывает вам?

В продолжение столетий грекам грозила та же опасность, которой подвергаемся мы, именно, опасность погибнуть от затопления чужим и прошлым "историей". Они никогда не жили в гордой изолированности; их "образование", напротив, в течение долгого времени представляло собой хаотическое нагромождение чужеземных, семитических, вавилонских, лидийских, египетских форм и понятий, а религия их изображала настоящую битву богов всего Востока; совершенно так же, например, как теперь "немецкое образование" и религия являют собой хаос борющихся сил всех чужих стран и всего прошлого. И все-таки эллинская культура не превратилась в простой агрегат благодаря упомянутой аполлоновской заповеди. Греки постепенно научились организовывать хаос; этого они достигали тем, что в согласии с дельфийским учением снова вернулись к самим себе, т. е. к своим истинным потребностям, заглушив в себе мнимые потребности. Этим путем они снова вернули себе обладание собой; они не оставались долго переобремененными наследниками и эпигонами всего Востока; они сумели даже после тяжелой борьбы с самими собою стать путем применения на практике этого изречения счастливейшими обогатителями и множителями унаследованных сокровищ, первенцами и прообразами всех грядущих культурных народов.

Вот символ для каждого из нас: он должен организовать в себе хаос путем обдуманного возвращения к своим истинным потребностям. Его честность, все здоровое и правдивое в его натуре должно же когда-нибудь возмутиться тем, что его заставляют постоянно говорить с чужого голоса, учиться по чужим образцам и повторять за другими; он начинает тогда понимать, что культура может стать чем-то большим, чем простой декорацией жизни, т. е., в сущности, лишь известным способом маскирования и прикрытия, ибо всякое украшение скрывает украшаемое. Таким образом, для него раскрывается истинный характер греческих представлений о культуре - в противоположность романским, - о культуре как о новой и улучшенной *Physis*, без разделения на внешнее и внутреннее, без притворства и условности, о культуре как полной согласованности

жизни, мышления, видимости и воли. Так научается он на основании собственного опыта понимать, что грекам удалось одержать победу над всеми другими культурами благодаря более высокой силе их нравственной природы и что всякое умножение правдивости должно служить также и подготовке и развитию истинного образования, хотя бы эта правдивость и могла при случае причинить серьезный ущерб столь высоко ныне ценимой образованности, хотя бы она и повлекла за собой падение целой декоративной культуры.

Несвоевременные размышления - 'Давид Штраус, исповедник и писатель'

Ницше Фридрих Вильгельм

Несвоевременные размышления - 'Давид Штраус, исповедник и писатель'

Фридрих Ницше

Несвоевременные размышления: "Давид Штраус, исповедник и писатель"

(критика книги "Старая и новая вера")

Friedrich Nietzsche

Это сочинение является первым по счету в замысленной Ницше сразу по выходе в свет "Рождения трагедии" серии культуркритических эссе, объединенных общим названием "Несвоевременные размышления". Первоначальный замысел Ницше охватывает двадцать тем или, точнее, двадцать вариаций на единую культуркритическую тему. Со временем этот план то сокращался (до тринадцати), то увеличивался (до двадцати четырех).

Из замысленного ряда удалось осуществить лишь четыре очерка: "Давид Штраус, исповедник и писатель" (1873), "О пользе и вреде истории для жизни" (1874), "Шопенгауэр как воспитатель" (1874), "Рихард Вагнер в Байрейте" (1875-1876).

1

Общественное мнение в Германии как будто бы запрещает говорить о дурных и опасных последствиях войны, а в особенности счастливо оконченной войны; зато, тем охотнее слушают тех писателей, которые не знают другого мнения, кроме того общественного, и соревнуются в восхвалении воина, торжествуя следя за могущественным проявлением ее влияния на нравственность, культуру и искусство. Однако, следует сказать: чем больше победа, тем больше и опасность. Человеческая натура переносит ее труднее, нежели поражение, кажется, даже легче одержать победу, чем вынести ее так, чтобы от этого не произошло еще более сильного поражения. Из всех дурных последствий франко-прусской войны, самое дурное, это распространенное повсюду, даже общее заблуждение, - именно заблуждение общественного мнения относительно того, что в этой борьбе одержала победу также и немецкая культура, а потому она достойна быть увенчана венками соответственно таким необыкновенным происшествиям и успехам. Это заблуждение страшно губительно не потому, что оно заблуждение, так как существуют очень благодатные и целебные заблуждения, а потому, что оно может превратить нашу победу в полное поражение, в поражение и даже искоренение немецкого духа, на пользу "немецкого государства".

Следует принять за основание, что если две культуры борются между собою, все-таки мерила оценки победителей остаются очень относительными и, при известных обстоятельствах, вовсе не дают права на победное веселье и самовосхваление. Сначала надо знать, что стоит эта побежденная культура: может быть очень мало. В таком случае победа, даже самая блистательная, не дает победившей культуре ни малейшего повода к триумфу.

В данном же случае не может быть и речи о победе немецкой культуры, по самым простым причинам: потому, что французская культура продолжает существовать как и прежде, и мы также зависим от нее как и раньше. Она даже не содействовала военным успехам. Нашей победе содействовали элементы, не имеющие ничего общего с культурой и недостающие нашему противнику: строгая дисциплина, прирожденная храбрость и выдержка, обдуманность предводителей, единодушие и послушание подчиненных. Одному только остается удивляться: именно тому, что то, что в Германии теперь называется "культурой", не стало препятствовать этим великим военным успехам, может быть, потому, что это "нечто", именующее себя культурой, считало более выгодным для себя показаться на этот раз услужливым. Если этому "нечто" позволить вырасти и размножиться, избаловать его лестью, что будто бы оно победило, то оно будет в состоянии, как я сказал, искоренить немецкий дух и, кто знает, будет ли оставшееся немецкое тело еще на что-либо пригодно!

Если возможно возбудить ту спокойную и упорную храбрость, какую немцы противопоставили патетическому и мгновенному воодушевлению французов, против внутреннего врага, против той в высшей степени двойственной и, во всяком случае, ненациональной "образованности" ("Gebildesheit"), которую теперь, с опасным непониманием, называют культурой, то не вся еще утрачена надежда на настоящее немецкое образование, противоположное "образованности", указанной выше, так как у немцев никогда не было недостатка в умных и

храбрых предводителях и полководцах, но последним часто недоставало немцев. Возможно ли немецкой храбрости дать это новое направление, становится мне все более сомнительным, а после войны мне по временам кажется даже невероятным, потому что я вижу, как всякий убежден, что вовсе нет надобности в такой борьбе и храбрости, что, наоборот, все так прекрасно устроено и, во всяком случае, все необходимое давно уже изобретено и сделано; одним словом, лучшая смена культуры везде уже отчасти посеяна, отчасти стоит в свежей зелени, а кое-где даже и в полном цвету. В этой области существует не только довольство, но и счастье и упоение. Я чувствую это упоение и счастье в несравненно уверенном поведении немецких журналистов, этих фабрикантов романов, трагедий, песен и историй, составляющих по-видимому дружное общество, которое как бы поклялось овладеть досугами и послеобеденными часами современного человека, т.е. его "культурными моментами", чтобы оглушить его посредством печатной бумаги. Теперь после войны в этом обществе сосредоточились все счастье, самосознание и достоинство; после таких "успехов немецкой культуры" оно чувствует себя не только утвержденным и санкционированным, но почти что священным и говорит поэтому торжественнее, любит воззвания к немецкому народу, издает также как и классики сборники сочинений и рекламирует в своих журналах новых немецких классиков и образцовых писателей, вышедших из их среды. Может быть, следовало бы ожидать, что опасности такого злоупотребления успехом будут признаны более благоразумной и ученой частью немецких образованных людей или что, по крайней мере, они почувствуют всю мучительность этой драмы; что же может быть мучительней, как видеть уродливого напыщенного петуха, стоящего перед зеркалом и восторженно любующегося своим отражением. Ученое сословие охотно допускает все, что случается: оно и без того слишком занято собою, чтобы еще взять на себя заботу о немецком духе. К тому же члены его вполне уверены, что их собственное образование самое лучшее и самое зрелое в наше время и даже во все времена, и не понимают забот об общем немецком образовании, так как они сами и равные им стоят выше такого рода забот. Впрочем, от более внимательного наблюдателя, в особенности если он иностранец, не может ускользнуть то, что разница между тем, что немецкий ученый считает своим образованием, и тем торжествующим образованием новых немецких классиков состоит лишь в количестве знания; всюду, где является вопрос о способности, а не о знании, об искусстве, а не о сведении, т.е. всюду, где жизнь должна свидетельствовать о свойстве образования, существует теперь только одно немецкое образование - и оно ли одержало победу над Францией?

Это утверждение кажется совсем непонятным: самими беспристрастными судьями, и даже самими французами, было отдано решительное предпочтение более обширным знаниям немецких офицеров, большей обученности немецких солдат и ученому ведению войны. В каком же смысле могла бы победить немецкая образованность, если бы отняли у нее немецкую обученность? Ни в каком; так как нравственные качества строгой дисциплины и спокойного послушания не имеют ничего общего с образованием, например, уже македонские войска далеко превзошли стоявших выше их по своему образованию греческих солдат. Только вследствие недоразумения можно говорить по победе немецкой образованности и культуры, - недоразумения, которое объясняется тем, что в Германии совершенно исчезло чистое понятие о культуре.

Культура, - прежде всего, единство художественного стиля во всех жизненных проявлениях народа. Но обладание большим запасом знаний или учения вовсе не есть необходимое средство культуры или призрак ее и, в крайнем случае, отлично уживается с варварством, т.е. отсутствием стиля или хаотическим смешением всех стилей.

В таком хаотическом смешении всевозможных стилей и живет современный немец; и остается серьезной проблемой то, каким образом он, при всей своей обученности, не замечает этого и способен от души радоваться своей "образованности". Каждый взгляд на свою одежду, свои комнаты, свой дом, каждый шаг по улицам своего города и каждое посещение магазинов модного искусства - все это должно обучить его; в общественных сношениях он скорее должен был бы понять происхождение своих манер и движений, а в наших художественных академиях, концертах, театрах и музеях сознаться в причудливом смешении всевозможных стилей. Формы, краски производства и курьезы всех времен и стран немец собирает вокруг себя и таким образом составляется эта модная ярмарочная пестрота; их ученые считают это опять-таки "своим новейшим", сам же он остается спокойным, несмотря на всю путаницу стилей. С такой "культурой", представляющею из себя лишь флегматичную бесчувственность ко всякой культуре, нельзя победить неприятеля, а в особенности французов, имеющих действительную продуктивную культуру, какой бы то ни было цены, и французов, которым мы во всем подражали и притом еще по большей части без всякого таланта.

Если бы мы действительно перестали подражать им, то этим мы еще не победили бы их, а лишь освободились бы от них, и только в том случае, если бы мы навязали им свою оригинальную немецкую культуру, мы могли бы вести речь о триумфе немецкой культуры. Между тем замечаем, что мы и до сих пор еще во всем, что касается форм, зависим от Парижа - и должны зависеть, так как еще до сих пор не существует оригинальной немецкой культуры.

Все это мы должны бы сами знать о себе; к тому же, один из немногих, имевших право говорить в тон упрека, заявил уже публично: "Мы - немцы прошлого", - сказал однажды Гете Эккерману, хотя мы сильно культивируемся вот уже целое столетие; все же может пройти еще несколько столетий, пока наши соотечественники проникнутся духом, и высшая культура станет у них общей, что о них можно будет сказать:

"Далеко то время, когда они были варварами".

2

Если наша общественная и частная жизнь, видимо, обозначена признаками продуктивной и стильной культуры и если к тому же наши великие художники признались и признаются в этом ужасном, глубоко постыдном для такого способного народа факте, да еще так твердо и честно, вполне соответственно их величию, как же после всего этого может господствовать между немецкими образованными людьми великое самодовольство, такое самодовольство, которое, по окончании последней войны, поминутно проявляет готовность превратиться в заносчивое ликование и торжество? Во всяком случае, они живут с твердой верой, что обладают настоящей культурой, так как громадный контраст между этой довольной, даже ликующей верой и очевидным дефектом замечается незначительным меньшинством и, вообще, редко. Так как все, что согласно с общественным мнением, закрыло себе глаза, заткнуло уши - в этом случае не должно существовать никакого контраста. Но как же это возможно? Какая сила в состоянии предписать это "не должно?" Какая порода людей господствует в Германии, что она в состоянии запретить такие сильные и простые чувства, или препятствовать их выражению? И эту силу, эту породу людей назову я по имени, это "образованные филистеры".

Слово филистер, как известно, заимствовано у студентов и в обширном, но совсем популярном смысле обозначает противоположность поэту, художнику и настоящему культурному человеку. Но изучать тип образованного филистера и выслушивать его исповедь становится для нас неприятной обязанностью; он выделяется в идее породы "филистеров" одним лишь суеверием; он мнит себя питомцем музыки и культурным человеком; это непостижимая мечта, и из нее следует, что он вовсе не знает, что такое филистер. При таком скудном самопознании, он себя чувствует вполне убежденным в том, что его "образование" именно и есть полное выражение настоящей немецкой культуры. А так как он встречается повсюду образованных в его же роде и все общественные заведения, школы и академии устроены соразмерно с его образованностью и потребностями, то он всюду выносит победоносное сознание, что он представитель современной немецкой культуры, и сообразно с этим ставит свои требования и претензии. Если истинная культура предполагает единство стилей и даже плохая и выродившаяся культура немыслима без гармонии единого стиля, то путаница иллюзий образованного филистера происходит от того, что он всюду видит собственное отражение и из этого однообразия всех "образованных" выводит заключение о единстве стиля немецкой образованности, т.е. о культуре. Повсюду вокруг себя он видит одни и те же потребности, одни и те же взгляды. Всюду, куда он вступает, его окружает молчаливое соглашение о многих вещах, а в особенности в вопросах религии и искусства, и эта импонирующая однородность, это непринужденное, но все же сразу выступающее *tutti unisono*, соблазняет его верить, что здесь царит культура. Но хотя систематическое, доведенное до господства филистерство и имеет систему, это далеко еще не культура, даже не плохая культура, а только лишь противоположность ей, именно варварство, которое создавалось очень долго. Так как все единство впечатления, которое так однообразно бросается нам в глаза в каждом современном немецком образованном человеке, становится единством лишь посредством сознательного или бессознательного исключения и отрицания всех художественно-продуктивных форм и требований истинного стиля. В голове образованного филистера произошло, должно быть, несчастное искажение; он считает культурой все то, что она на самом деле отрицает, а так как он действует последовательно, то и получается в конце концов тесная группа таких отрицаний, система антикультуры, которой можно еще приписать своего рода "единство стиля", если вообще есть смысл говорить о варварстве, имеющем свой стиль. Если ему предоставить свободный выбор между действием соразмерно стилю и его противоположностью, то он непременно предпочтет последнее, а поэтому все его действия принимают отрицательной однородный отпечаток. В нем-то он и признает характерные черты патентованной им "немецкой культуры" и в несогласии с этим отпечатком он видит враждебное и противное ему. В таком случае образованный филистер только отклоняется, отрицает, отдаляется, затыкает себе уши и не глядит; он существо, отрицающее даже в своей ненависти и вражде. Но он никого так не ненавидит, как того, кто обращается с ним как с филистером и высказывает ему кто он такой: помеха всех сильных созидателей, лабиринт для всех сомневающихся и заблуждающихся, болото всех утомленных, кандалы всех стремящихся к высшим целям, ядовитый туман всех свежих зачатков, иссушающая пустыня немецкого духа, ищущего и жаждущего новой жизни. Да, он ищет, этот немецкий дух! А вы его ненавидите потому, что он ищет и не желает верить вам, что вы уже нашли то, что он ищет. Как это вообще возможно, что образуется такой тип образованного филистера, и, в случае, если он образовался, каким образом мог он возрасти до такого могущества и стать верховным судьей всех немецких культурных проблем? Возможно ли это после того, как пред нами прошел целый ряд великих исторических личностей, которые во всех своих движениях, во всем выражении лица, в вопросе, которым звучал их голос, и в огненном взгляде, высказывали только одно: они были ищущие, и именно того, о чем образованный филистер думает, что он нашел, именно настоящей исконной немецкой культуры. Казалось бы, что они спрашивали, существует ли земля, такая чистая, нетронутая, такой девственной святости, что только на ней и больше нигде мог бы немецкий дух выстроить свое жилище? С таким вопросом шли они через глушь и заросли грубых времен и стесненных обстоятельств, и, во время своих поисков, скрылись они от наших взоров, так что один из них в глубокой старости, от имени всех, мог сказать: "Целых полвека мне трудно было жить, и я не давал себе ни малейшего покоя, но все стремления, исследовал и работал так старательно, как только мог".

Но как рассуждает там филистерская образованность об этих ищущих? Она их принимает просто за обретших и кажется забывает, что те сами признавали себя лишь ищущими. Ведь мы имеем свою культуру, говорят они, у нас есть свои "классики", и фундамент не только положен, но и здание уже давно возведено, - мы сами это здание и при этом филистер показывает на себя.

Чтобы обсуждать так фальшиво и почитать так позорно наших классиков, нужно совершенно не знать их; и это действительно так. Так как, иначе, знали бы, что существует лишь один способ чтить их, а именно неустанно продолжать поиски в их духе, не теряя при этом мужества. Наоборот, придавать им сомнительное слово "классики" и, время от времени, "назидаться" их сочинениями, значит, предаться вялым и эгоистическим побуждениям, обещающим всякому заплатившему наши концерты и театры; воздвигать памятники и называть их именами праздники и клубы, - все это лишь звонкая плата, которой расплачивается с ними образованный филистер, чтобы затем с ними больше уже не знаться, а в особенности, чтобы не следовать им и больше не искать; так как "более не должно искать", - это лозунг филистеров.

Когда-то лозунг этот имел известный смысл; это было в первом десятилетии нашего века, когда в Германии начинались и волновались без всякого порядка такие разнообразные и темные поиски, произведение опытов, разрушение, предчувствие и надежды, что духовному среднему сословию, поневоле приходилось жутко. Оно справедливо отказалось тогда от варева фантастических, искажающих язык, философий и мечтательно-целесообразных исторических наблюдений, карнавала всех богов и мифов, собранных романтиками и вымышленных в опьянении поэтической модой и безумствованием; справедливо, потому что филистер не имел даже права отступать. Но он воспользовался этим случаем и, с лукавством мелочных натур, возбудил подозрение насчет поисков и предложил найденное как нечто более удобное. Все счастье филистеров открылось его взорам; он спасается от всех произведений опытов в идиллию и противопоставляет беспокойной творческой склонности художника своего рода наслаждение своей собственной узостью, своим спокойствием и даже своей собственной ограниченностью. Его палец, без всякой совести, указывал на скрытые и затаенные уголки его жизни, на множество трогательных и наивных радостей, подобно скромным цветам, выросшим на скудной глубине некультивированного существования и на болотной почве филистерской жизни.

Встречались таланты, которые своей изящной кистью рисовали только счастье, уютность, обыденность, деревенское здоровье и удобство, распространенное в детских, кабинетах ученых и крестьянских избах. С такими раскрашенными книгами действительности в руках, любящие удобство старались навсегда отречься от вдумчивых классиков и от их призыва к дальнейшим поискам. Они выдумывали понятие о веке эпигонов лишь для того, чтобы иметь полный покой и во всех неудобных новшествах иметь наготове оправдательный приговор "эпигонического сочинения". Для того, чтобы оградить свой покой, они завладели самой историей, и все науки, которые могли нарушить их удобства, они старались превратить в исторические дисциплины заодно с философией и классической филологией. Благодаря историческому сознанию они спаслись от энтузиазма, потому что не в этом должна проявляться история, как это осмелился думать Гете, а скорее целью этих нефилософских почитателей *nil admirari* будет притупление, если они хотят понять исторически. Делая вид, что ненавидят фанатизм и всякого рода нетерпимость, они в сущности ненавидели власть гения и тиранию истинно культурных требований, а потому приложили все усилия, чтобы ослабить, притупить и уничтожить все, откуда можно было ожидать свежих и сильных движений. Философия, скрывшая в причудливых извилинах филистерскую исповедь, изобрела для этого формулу обоготворения обыденного; она проповедовала о разумности всего, о действительности и этим подслуживалась образованному филистеру, который тоже любит причудливые извороты и главным образом считает настоящим одного себя, и только свою действительность принимает за мерило разума во всем свете. Теперь он разрешил себе и каждому немного подумать, исследовать, заниматься эстетикой, в особенности же поэзией и музыкой, а также писать картины и философские произведения. Только, ради Бога, пусть все останется по-старому, пусть ни что в мире не будет поколеблено в "разумном" и "действительном", т.е. в самом филистерстве. Он даже любит время от времени предаваться приятному и отважному распутству в искусстве, и скептической историографии, и ценит прелесть таких объектов развлечений и беседы недешево, но строго отделяет серьезную сторону, "серьез жизни", т.е. призвание, занятие, вместе с женой и детьми от шуток; а к последнему причисляет почти все то, что касается культуры. А потому горе тому искусству, которое само начинает серьезно ставить требования и затрагивает его промысел, занятие и его привычки, т.е. собственный серьез филистера; от такого искусства он отворачивается, как от разврата, и с миной целомудренного стража предостерегает всякую требующую защиты добродетель от взгляда на это.

Он очень красноречив, когда отговаривает, и бывает очень благодарен художнику, если тот его слушает и принимает его советы; ему же он дает понять, что на него будут смотреть легче и снисходительнее и от него, признанного единомышленника, потребуют не превосходных художественных произведений, а только одного из двух: или подражания действительности до обезьянства в идиллиях и добродушных юмористических сатирах, или свободных копий самых признанных и знаменитейших произведений классиков, но со стыдливими индальгенциями современному вкусу. Если же он ценит только эпигоническое подражание или иконологическую верность современных портретов, то он знает, что последняя прославляет его самого и увеличивает удовольствие от "действительности", а первая ему не вредит и даже способствует славе его имени, как

классического судьи и, в общем, не составляет для него никаких затруднений, так как он уже раз и навсегда отказался от классиков. В конце концов он изобретает для своих привычек, образов созерцания, отклонений и покровительств одну общую форму "здоровья" и, под предлогом болезни и переутомления, отстраняет всякого неудобного нарушителя покоя. Давид Штраус - истинное выражение состояния нашего образования и типичный филистер - с оригинальным оборотом речи говорит об Артуре Шопенгауэре, об этом "хотя и очень остроумном, но все же нездоровом и бесполезном философе". Это в сущности роковое событие, что "ум" с особенной симпатией останавливается на "нездоровом и бесполезном", и даже сам филистер, если он честно и строго относится к себе, в философских рассуждениях, воспроизводящих его самого и ему подобных, проявляет много бездарной, но зато совершенно здоровой и полезной философии.

Если филистеры и сами по себе будут повсюду предаваться упоению и честно, словоохотливо и наивно вспоминать о великих военных подвигах, то всплывет наружу многое, что до сих пор боязливо скрывалось, и нередко один из них выбалтывает основные тайны своего братства. Такой случай произошел недавно с известным эстетиком Гегелевской школы разума. Положим, побуждений к тому было необыкновенно много: целый круг филистеров справлял поминки по истинному и настоящему антифилистеру, да еще к тому по такому, который в самом строгом смысле этого слова погиб благодаря филистерам; это было чествование памяти славного Гельдерлина, а по этому поводу знаменитый эстетик имел полное право говорить о трагических душах, погибающих под влиянием "действительности", которую следует понимать в смысле разума филистеров. "Действительность" стала теперь другой и следовало бы поставить вопрос, мог ли бы справиться Гельдерлин в настоящее великое время. "Я не знаю, говорит Фр. Фишер, - могла ли бы его душа выдержать столько суровости и испорченности в каждой войне, сколько, как мы видим, размножается после нее на всех поприщах. Он, может быть, опять предался бы безутешности; он был одною из тех невооруженных душ, он был Вертер Греции, безнадежно влюбленный, он был жизнь, исполненная нежности и тоски, он владел и смыслом и силою, величие, изобилие и жизнь были в его стиле, повсюду напоминающем Эсхила. Однако, дух его имеет слишком мало твердости; он не был достаточно вооружен юмором, и не мог примириться с мыслью, что будучи филистером, он вовсе не становится варваром. Нам важна здесь несоболезнующая речь этого оратора, а его последнее признание. Они допускают, что они филистеры, но чтобы они были варварами - никогда. Бедный Гельдерлин не мог, к сожалению, провести такое тонкое различие. Если под словом варварство понимать противоположность цивилизации и даже морских пиратов и людоедов, то такое различие справедливо; но, по-видимому, эстетик хочет нам сказать, что можно быть филистером и одновременно культурным человеком, и в этом заключается весь юмор, недостающий бедному Гельдерлину, от недостатка которого он должен погибнуть.

Тогда же вырвалось у него еще одно признание, что "не сила воли, а наоборот, слабость возносит нас над страстным желанием трагических душ"; это было высказано от имени всех собравшихся "нас, т.е. вознесенных", своей слабости. Будем довольствоваться и этими признаниями! Теперь мы уже знаем от одного посвященного два пункта: во-первых то, что это "мы" вознеслись над желаниями прекрасного, а во-вторых вознеслись посредством слабости. Эта именно слабость раньше, в менее откровенные минуты, носила еще лучшее название; это было всем известное "здоровье" образованного филистера. По этому последнему толкованию можно бы позволить себе говорить о них не как о "здоровых", а, скорее, как о слабеньких, или, выражаясь сильнее, слабых. О, если бы только эти слабые не обладали силой! Какое им дело, как их называют! Ведь они властвуют, а тот, кто не может снести насмешки, не властвует. Да, только достигнув власти, выучиваешься смеяться над самим собой. Что же за беда в том, что обнаружится что-нибудь; ведь порфира и триумфальное одеяние скрывают все! Сила образованного филистера обнаруживается лишь там, где он сознается в своей слабости, и, чем больше и циничней он сознается, тем яснее выдает он самого себя и показывает, до чего он себя чувствует важным и выше других. Это период цинического признания филистеров. Как Фридрих Фишер в своей речи, так и Давид Штраус в своей книге высказал свои признания; и те слова были циничны, и эта книга признания сплошной цинизм.

3

Давид Штраус двояким образом исповедует образование филистеров, а именно словами исповедника и творением писателя. Его книга озаглавлена "Старая и новая вера"; ее содержание и форма изложения - непрерывное исповедание веры; и уже в том, что он позволяет публично высказывать свою веру, лежит исповедание.

Каждый может иметь право писать свою биографию, прожив лет сорок, потому что и самый ничтожный человек может видеть и близко переживать нечто такое, что для мыслителя весьма ценно и достойно внимания, но исповедываться в своей вере должно несравненно взыскательный, так как предполагается, что исповедник ценит не только одно то, что он пережил и видел, а также то, во что он верил. В конце концов настоящий мыслитель пожелает узнать, что же именно служит предметом верований таких штраусовских натур и что они "сочинили в своих плумечтаниях" (стр. 10) о вещах, о которых имеет право говорить лишь тот, кто узнал их из первых рук. Если бы кто имел потребность справиться о вероисповедании Ранке или Моммзена, которые были совершенно иными учеными и историками, чем Штраус, и если бы они вздумали говорить нам о своей вере, а не о научных познаниях, то они, к сожалению, вышли бы из своих пределов, - так поступает и Штраус, говоря о своей вере. Никто не имеет желания узнать о ней хоть что-нибудь, разве только некоторые ограниченные противники штраусовских познаний, предчувствовавшие в них истинно сатанинские догматы и желающие, чтобы Штраус

оповещением таких сатанинских мыслей компрометировал бы свои предположения. Может быть, эти грубые молодцы и нашли для себя пользу в этой книге, но мы, остальные, не имеющие повода предполагать такие сатанинские мысли, не нашли ничего подобного, и вовсе не были бы слишком недовольными, если бы нашли здесь нечто сатанинское. Потому, что, подобно Штраусу, который говорит о своей новой вере, не может говорить злой дух, да и вообще никакой дух, а менее всего истинный гений. Так говорят только люди, выведенные Штраусом своими "мы", люди, рассказы которых об их вере томят нас более, нежели рассказы о чьих бы то ни было грезах, "ученых или художников, чиновников или военных, промышленников или помещиков, которых считают в стране тысячами и не самыми дурными". Если они не хотят остаться тихими в стране и городе, а желают оглушать своими признаниями, то и весь шум их единогласия не мог бы обмануть относительно нищеты и пошлости мелодии, которую они поют. Может ли что-либо быть для нас более благоприятным, чем услышать, что признание, разделяемое многими, такого свойства, что мы каждому из этих многих, желающему высказать его нам, не даем договорить и, зевая, прерываем его рассказ. Если ты разделяешь взгляд на такую веру и если наше назначение установить ее, то, ради Бога, берегись и не выдай себя. Может быть, были и раньше такие простаки, искавшие в Давиде Штраусе мыслителя, теперь же они нашли в нем верующего и разочаровались. Если бы он молчал, то остался бы по крайней мере для них философом, теперь же он не признается таковым никем; но его вовсе и не прельщает название мыслителя, - он хочет быть неопитом веры и гордится своей "новой верой". Высказывая ее письменно, он полагает, что написал катехизис "современных идей" и проложил "мировую дорогу будущности". Да, на самом деле, наши филистеры уже более не стыдливы, не робки, а самоуверены до цинизма. Было время, но оно уже далеко, когда его терпели, как нечто безмолвное, и о нем не говорили, но опять-таки было время, когда сглаживали его морщины, находили его смешным и говорили о нем. Мало-помалу он стал фатом и от души радовался своим морщинам и непоколебимо честным принципам; теперь он сам говорит в духе дилетантской музыки Рилье. "О, что я вижу? Сон это или действительность? Каким широким стал мой размах. Теперь он катится уже, как бегемот, по мировой дороге будущности", - и из его ворчания и ржания образовался гордый тон основателя религии. Может быть, вам, господин мастер, остается основать новую религию? "Мне кажется, что время еще не пришло (стр. 18). Я даже вовсе не думаю разорять какую-либо церковь". Но почему же, господин магистр? Дело ведь только в том, возможно ли это? Впрочем, говоря правду, вы ведь сами верите в то, что вы это можете; взгляните лишь на вашу последнюю страницу. Там, как вы знаете, ваш новый путь есть "единственная мировая дорога к будущности, которая, только местами, вероятно, совершенно готова и должна быть, главным образом, объезжена, для того, чтобы потом стать более удобной и приятной". Не отрицайте же теперь следующего: основатель религии признан; новый, удобный и приятный путь к штраусовскому раю проведен. Одним только экипажем, в котором должны нас везти, вы, скромный человек, несомненно довольны. В конце концов скажете: "Я не хочу утверждать, чтобы экипаж, которому доверились мои уважаемые читатели, соответствовал бы всем требованиям" (стр. 367), - напротив, чувствуешь себя совершенно разбитым. Ах, вы галантный основатель религии, вы хотите услышать что-нибудь приветливое! А мы вам лучше скажем нечто правдивое. Если вам, читатель, распределить эти 368 страниц вашего катехизиса так, чтобы каждый день читать одну страницу, т.е. в самых малых дозах, то мы думаем, что он в конце концов будет чувствовать себя скверно, а именно от злости, что не осталось никакого впечатления. Напротив того, глотайте смелее, как можно больше за раз, так говорит рецепт всех современных книг. В таком случае выпитое не может вредить и пьющий будет себя чувствовать не худо, а весело и приятно, будто бы ничего не произошло, и будто никакая религия не разрушена, не проведен никакой мировой путь, не сделано никакого признания - вот это я называл действием. Все забыто: и доктор, и лекарство, и болезнь! Затем веселый смех! Постоянное побуждение к смеху! Право, вам можно позавидовать милостивый государь, потому что вы основали самую приятную религию, именно ту, основатель которой почитается за то, что подвергается постоянным насмешкам.

4

Филистер, основатель новой религии будущности, это новая вера в самом выразительном изображении; филистер, превратившийся в мечтателя, это неслыханный феномен, являющийся отличительной чертой современных немцев. В отношении этой мечты оставим пока известную степень осторожности, никто иной, как сам Давид Штраус, посоветовал нам такую осторожность в следующих мудрых изречениях, в которых мы должны подразумевать не самого Штрауса, а основателя христианства (стр. 80): "Мы знаем, что существовали благородные и остроумные мечтатели, а мечтатель может возбуждать, возвышать и даже действовать исторически весьма продолжительно; но проводником мы его не пожелаем избрать. Он сведет нас с истинного пути, если мы не подвергнем его контролю нашего разума". Еще больше мы знаем: мы знаем, что могут существовать глупые мечтатели, не возбуждающие, не возвышающие, но имеющие надежду стать вождями в жизни, действовать исторически и продолжительно, и обладать будущностью; и поэтому мы имеем больше причин подвергать их мечтания контролю нашего разума. Лихтенберг даже предполагает, что "существуют бездарные мечтатели, очень опасные люди". Пока мы требуем от этого контроля разума лишь частичного ответа на три вопроса. Во-первых - как представляет себе последователь новой веры небо? Во-вторых - как велико мужество, которое внушается ему новой верой? И в-третьих - как пишет он свои книги? Штраус-исповедник отвечает на первый и второй вопрос, а Штраус-писатель - на третий.

Небо исповедующих новую религию должно находиться, конечно, на земле, так как христианские "надежды на

бессмертную, загробную жизнь, вместе со всеми другими утешениями, безвозвратно исчезли" для того, кто "хотя бы только одной ногой" стоит на точке зрения Штрауса (стр. 364). Это что-нибудь да значит, если какая-нибудь религия так или иначе воображает себе небо, и если правда, что христианская религия не знает другого занятия кроме музыки и пения, то это не может служить утешением для штраусовского филистера. В книге признаний есть одна райская страница - страница 294. Главным образом разверни этот пергамент, ослепленный филистер. В нем все небо опускается к тебе. "Мы хотим только намекнуть, как мы действуем, - говорит Штраус, - и как мы действовали долгие годы. Рядом с нашим призванием - ведь и мы принадлежим к разным видам призваний, - не одни только ученые и художники, но и чиновники и военные, промышленники и помещики, и, еще раз повторяю, нас не мало, а много тысяч, и мы не из худших в стране; итак, рядом с нашим признанием, говоря, мы стараемся иметь ум как можно более открытый для всех высших интересов человечества; в последние годы мы принимали живое участие в великой национальной войне и в восстановлении немецкого государства и чувствуем себя в этой, столь неожиданной и счастливой перемене судьбы нашей много пережившей нации, возвышенными духовно! Понимаю этого мы помогаем нашими историческими трудами, которые теперь сделались легки и для неученого человека, так как существует целый ряд исторических сочинений, написанных в национальном духе; кроме того, мы стараемся расширить наше естествознание, и в этой области у нас тоже нет недостатка в популярных пособиях, наконец, в сочинениях наших великих писателей и, при исполнении произведений наших знаменитых виртуозов, мы находим поощрение и для духа и для мужества, для фантазии и юмора, поощрение, не оставляющее желать ничего большего. Так мы живем, как благодетельно проводим жизнь".

"Вот наш человек!" - восклицает филистер, читая это, потому что мы действительно так живем и все время так. И как хорошо умеет он описать положение вещей. Что иное может он, напр., понимать под историческими произведениями, которыми мы помогаем пониманию политического положения, как не чтение газет? Что иное, как не ежедневное посещение пивной, подразумевает он под принятием живого участия в созидании немецкого государства? А прогулка по зоологическому саду? Не есть ли она простое "популярное пособие", которым мы распространяем наше естествознание. Наконец - театры, концерты, из которых мы приносим домой "поощрение фантазии и юмора", "поощрение, которое не оставляет желать ничего лучшего... как достойно и остроумно говорить обо всем возбуждающем сомнения. Вот это наш человек, наш, потому что его небо - наше небо!"

Так восклицает филистер, и если мы не настолько удовлетворены, как он, это ему все равно, что мы желали бы знать еще больше. Скампер говорил обыкновенно: "Что нам за дело, пил ли Монтэнь красное или белое вино". Но как должны бы мы ценить такое точное объяснение в данном серьезном случае. Как бы нам узнать, сколько трубок выкуривает в день филистер, следуя догматам новой веры, какая газета симпатичнее ему за утренним кофе? Это самое горячее проявление нашей любознательности. Только в одном случае мы узнаем больше и, по счастливой случайности, нападём на это учение о небе, именно в тех маленьких эстетических частных квартирах, которые посвящены великим писателям и виртуозам, в которых филистер "развивает" себя, в которых даже, согласно его собственному признанию, "выводятся и смываются все его пятна".

Итак, нам следует смотреть на эти частные квартирки, как на очистительные купели. "Но ведь это только минуты, ведь это случается и имеет силу только в царстве фантазии; коль скоро мы вернемся к суровой действительности и замкнутой жизни, то прежняя нужда обрушивается на нас со всех сторон", - так стонет наш магистр. Воспользуемся этими быстротекущими минутами, которые мы должны коротать в этих квартирах и время покажет нам именно идеальное изображение филистера, иначе говоря, того самого филистера, с которого смыты все пятна и который в настоящее время представляет совершенный, готовый и чистейший тип филистера, с какой бы стороны мы его не разбирали. Говоря серьезно, в данном случае поучительно то, что здесь предлагается: пусть всякий, кто целиком принесен в жертву древу познания, не роняет из рук, не прочитавши этих дополнений, подписанных "нашими великими музыкантами и знаменитыми виртуозами". Вот в этом-то и состоит радуга обетования нового завета и кто разделяет радости при виде этого завтра, "тому вообще не следует помогать и тот, - как говорит Штраус в другом случае, - не мог бы сказать и здесь еще не созрел для нашего основного положения". В этом случае мы достигли кульминационного пункта неба. Вдохновенное толкование предлагает нам водить самих себя за нос и оправдывается тогда, когда хочет сказать слишком много, начиная самым величайшим удовольствием и кончая всем самым лучшим. Он говорит нам: "Может быть я должен сделаться более словоохотливым, чем в данном случае следует, это читатель должен мне поставить в заслугу, - у кого сердце полно, у того не хватает слов". Он раньше должен быть уверен только в том, что то, что он будет впоследствии читать, не стоит из более старых истин, которые я здесь привел, но написано для данного случая и вполне уместно. Это признание на мгновение приводит нас в изумление.

Какое нам дело, что эти маленькие прекрасные главы написаны заново! Да, если бы дело шло только о писании!..

Правда, я хотел бы, чтобы они были написаны на четверть века раньше, тогда бы я знал, почему эти мысли ставят меня в тупик, и почему эти мысли ставят меня в тупик, и прочему эти мысли имеют специфический запах новейшей древности. Но что касается того, что написано в 1872 году и уже в том же 1872 году пахнет гнилью, то это для меня непонятно.

Предположим, например, что кто-нибудь при чтении этой главы уснет от ее запаха, что ему приснится? Один

мой друг признался мне, так как он это испытал, ему снился кабинет восковых фигур; там стояли классики, тщательно сделанные из воска, они двигали руками и ногами, и при этом внутри их шелкал какой-то винт. Так он увидел что-то наводящее ужас, завешенное листочками и пожелтевшей бумагой. У этой бесформенной фигуры из рта висел ярлык, на котором была надпись "Лессинг". Мой друг хотел подойти поближе и рассмотреть это страшилище; это оказалась гомеровская химера. Спереди это был Штраус, сзади Гервинус, посередине химера, а все вместе Лессинг. Это открытие заставило его страшно вскрикнуть, он проснулся и уже более не читал.

Ах, господин магистр, зачем написали вы подобную гнилую главу?

Правда, от этих писателей мы можем научиться кой-чему новому. Например, через Гервинуса мы знаем, как и почему Гете не был драматическим талантом; мы знаем, что он во 2-ой части Фауста вывел только аллегорически-призрачный элемент, что Валленштейн - это тот же Макбет, и что он похож на Гамлета, что читатель Штрауса выбирает новеллы из годов странствования, как невоспитанные дети выковыривают изюм и миндаль из хрупкого пирога, что без всего сильнодействующего и подавляющего не может быть достигнуто никакое полное творчество на сцене и что Шиллер вышел из Канта, как будто бы из холодной ванны. Конечно, все это ново и бросается в глаза, но нам совсем не все равно, бросается ли это в глаза тотчас же; и, конечно, оно настолько ново, что без сомнения никогда не состарится, потому что оно никогда не было юно, но явилось на свет уже состарившимся. Какие мысли приходят в голову людям благочестивым по новому стилю относительно их Небесного царства? И почему они не позабыли хотя бы чего-нибудь одного, когда оно так неэстетично, так суетно и скоропреходяще и носит такой ясный отпечаток нелепости, как, например, некоторые тезисы Гервинуса? Может даже казаться, что известное величие подобного Штрауса и неизвестное ничтожество Гервинуса едва-едва способны перенести друг друга; тогда благо всем благочестивым, благо и нам неверующим, если этот несмущающийся судья искусства будет снова продолжать развивать свой ученый энтузиазм и полет мысли, о которых с величайшей точностью говорил четный Грильпарцер, и скоро все небо зазвучит под ударами копыт этого несущегося вскачь воодушевления. Тогда, по меньшей мере, дело шло бы более пылко и более гласно, чем теперь, когда невежественное воодушевление нашего проводника по небу и, основанное только на звуках красноречия его уст, надолго доставляют нам чувство утомления и омерзения. Мне хотелось бы знать, как звучит аллилуя из уст Штрауса. Мне кажется, нужно хорошенько прислушаться, иначе можно услышать вежливое извинение или едва понятную вежливость. Я могу привести в данном случае поучительный и устрашающий пример. Штраус рассердился на одного из своих противников за то, что тот говорит о своих поклонниках перед Лессингом - несчастный видимо ослышался. Штраус, конечно, утверждает, что тот, кто не прочувствовал его простых слов относительно Лессинга, помещенных в No 90, насколько они исходят от горячего сердца, тот полный невежда. Я вовсе не сомневаюсь в горячности его чувств, напротив, это расположение Штрауса к Лессингу я считал чем-то подозрительным.

Это же горячее чувство к Лессингу я нахожу и у Гервинуса, и оно горячо от пота. Конечно, вообще, никто из великих немецких писателей непопулярен так у незначительных писателей, как Лессинг, но, однако, они за это не заслуживают никакой благодарности, потому что, в конце концов, они хвалят в Лессинге? Во-первых, всеобъемлющий талант: он и критик, и поэт, и археолог, и философ, и драматург. Затем "это единство писателя и человека, ума и сердца". Это последнее качество обрисовывает каждого великого писателя и даже незначительного. В результате всякое узкое мировоззрение изумительно совмещается с узким сердцем. Самое первое качество - всеобъемлющий талант сам по себе это вовсе невыдающееся качество, особенно же для Лессинга, - он был только гибельным.

Еще более удивительно у этих энтузиастов-последователей Лессинга то, что они не имеют никакого мировоззрения, никакого чувства на то, что к этой всеобъемлемости Лессинга влекла гнетущая нужда, что этот человек, блеснувший, как метеор, сторел слишком быстро; эти энтузиасты несколько не сердились за то, что общее стесненное положение и духовная бедность всех окружавших его и в особенности его ученых современников колола, терзала и мучила таким ужасным образом; так что эта хваленая всеобъемлемость должна была быть для него глубочайшим мучением. "Пожалейте же, - восклицает Гете, необыкновенного человека за то, что он живет в такое время, достойное сожаления, за то, что он все время должен был действовать полемически". А вы, мои милые филистеры, разве не смеете думать о Лессинге, не краснея, потому что именно он погиб в борьбе за вашу глупость, в борьбе с вашими смешными предрассудками, подавленный подлостью вашего театра, ваших ученых, ваших теологов и при этом он никогда не мог осмелиться следовать тому вечному влечению, для которого он был рожден? Что вы чувствуете при упоминании о Винкельмане, который для того, чтобы освободиться от ваших грациозных дурачеств, отправился к иезуитам, вымаливая у них помощь, и поздний переход которого в другую веру опозорил не его, а вас? Вы не смеете назвать имя Шиллера, не краснея, взгляните на его портрет!.. Блестящий взгляд, который с презрением обходит вас, эти щеки, покрытые смертельной бледностью, разве они вам ничего не говорят?

Для вас это только прелестная, божественная игрушка, которая сломана вами. Возьмите еще, как пример, дружбу Гете, эту полную заботу жизнь, подвергавшуюся травле до самой смерти; от вас ведь зависело потушить ее как можно скорей. Вы не помогли никому из ваших великих гениев и теперь хотите установить на основании этого догму, что никому не следует помогать. Но ведь для каждого гения вы были тем "препятствием глупого света", о котором упоминает Гете в своем эпилоге к "Колоколу", перечисляя всех по именам; для каждого вы

были невольными тупицами, или завистливыми эгоистами, или полными злобы себялюбцами. Против вас писали они свои сочинения, на вас обращали они свои нападки и неустанно трудились с утра до вечера, ведя неумолимую борьбу с вами, посылали вам благодарность. И вам теперь должно быть позволено хвалить подобных людей, и к тому же еще в выражениях, из которых ясно видно, о ком вы, в конце концов, думаете при этой похвале и которые потому "как горячо рвутся из сердца" что надо быть слишком наивным, чтобы ничего не заметить, к кому относятся, наконец, эти поклоны. "Действительно нам нужен Лессинг" - воскликнул уже Гете, и горе всем честолюбивым магистрам и всему эстетическому небесному царству, когда впервые выйдет на добычу молодой тигр, беспокойная сила которого видна всюду и в напряженных мускулах, и в блеске глаз.

5

Как умен был мой друг, что он не стал больше читать, проникнувшись химерическим чудовищем Штраусовского Лессинга и самого Штрауса. Но мы прочли дальше и добились у привратника-неофита впуска в музыкальную святыню. Магистр открывает, входит туда вместе с нами, объясняет, называет имена; наконец, мы недоверчиво останавливаемся и смотрим на него, думая, не угрожает ли нам то же самое, что пришлось во сне испытать нашему бедному другу. Virtuozы, о которых говорит Штраус во все время своей речи о них, производят на нас впечатление фальшиво понятых, и нам кажется, что здесь речь идет о чем-то ином, если не о достойных смеха призраках. Когда он, напр., произносил с тем же пылом, который был нам подозрителен в его похвале Лессингу, имя Гейдна и, ломаясь, выставляет себя жрецом и священнослужителем культа того же Гейдна и сравнивает его (Гейдна) с "праздничным супом", а Бетховена с "конфеткой" (хотя бы в его взгляде на квартетную музыку (стр. 326), то нам одно только ясно непоколебимо: именно то, что его сладенький Бетховен не наш Бетховен, его супный Гейдн не наш Гейдн. Кроме того, магистр находит, что наш оркестр слишком хорош для исполнения его Гейдна и настаивает на том, что только самые кроткие дилетанты могут понять эту музыку; это опять-таки признание в том, что они говорят о других художественных произведениях; может быть, о дилетантской музыке Рилья?

Но кто же этот Штраусовский сладенький Бетховен. Он, очевидно, написал 9 симфоний, из которых пасторали, при исполнении третьей симфонии, как мы узнаем, его влекло "забыться и искать приключений". Из этого мы должны бы вывести заключение о каком-то двойном существе, полу-лошади, полу-рыцаре. Разбирая известную "Егоіса", наш цензор совершенно серьезно прибавляет, что ему не удалось высказать, о чем идет дело, о битвах ли в открытом поле, или в глубине человеческой души. В пасторали есть одна "действительно свирепая буря", которая слишком непонятна, чтобы прервать танец крестьян.

И эта симфония, которая "по меньшей мере самая одухотворенная", вследствие "произвольной привязанности к низменным и тривиальным доводам", как звучит только что приведенный отзыв, такова, что магистру-классику кажется даже, что перед ним парили грубые слова; но он стремится, как он сам говорит, выразить их "с пристойною скромностью". Но нет, наш магистр вместе с теми неправ и еще в одном отношении, здесь он действительно слишком скромнен. Кто же должен научить нас относительно сладенького Бетховена, как не сам Штраус, единственный, как кажется, понимающий его? Относительно этого является теперь более сильный довод, обещанный с "пристойною нескромностью", и действительно, как раз относительно девятой симфонии; ведь она наиболее излюблена теми, кто считает "странное гениальным, бесформенное возвышенным" (стр. 359). Конечно, если бы она имела такого критика, какого видели в Гервинусе, именно как подтверждение Гервинусовской доктрины, то он, Штраус, был бы далек от того, чтобы в подобном "проблематическом произведении" искать заслугу "своего" Бетховена. "Ужасно то, - восклицает с глубоким стенанием наш магистр, - что у Бетховена все наслаждения и охотно оплачиваемое удивление должно пасть под влиянием подобного ограничения". Наш магистр действительно любитель граций; они-то ему и рассказали, что шли с Бетховеном лишь небольшое пространство, и что затем он опять потерял их из виду... "Это недостаток, - восклицает он, - но разве можно было думать и верить, что именно он явится еще и преимуществом?" "Тот, кто проведет музыкальную мысль без труда и не перевода духа, исполнит и более трудную, и осуществит более сложную (стр. 355, 356)". Вот так признание, и, правда, не только относительно Бетховена, но само по себе признание "классического прозаика"; его, известного автора, не спускают с рук грации; во все времена, начиная с игр и легких забав, штраусовских забав, и кончая самым серьезным, штраусовским серьезным, они, не смущаясь ничем, остаются при нем.

Он, классический художник, легко и играючи несет свое бремя, тогда как Бетховен выбивается из сил. Он, как кажется, забавляется своим бременем; разве же можно подумать, что это недостаток? Конечно, это может быть только у тех, кто считает странное - гениальным, бесформенное - возвышенным, не правда ли, веселый любимец Граций?

Мы не порицаем никого за те произведения, которые он творит в тиши своей каморки или в новом, исправленном раю, но из всех возможных, произведение Штрауса, самое удивительное, потому что он созидает себя на маленьком жертвенном очаге, на который он бросает самые выдающиеся произведения немецкой нации, чтобы их дымом кадить своим кумирам. Представим себе, что было бы, если бы случайно "Егоіса", Пасторали и Девятая симфония были бы поручены во владение нашему служителю граций, и если бы только от него зависело сохранить картину художника в чистоте, удалив подобные "проблематические произведения". Кто может сомневаться, что он бы не сжег и их?

Так поступают постоянно Штраусы нашего времени: они желают знать о любом художнике лишь постольку, поскольку он касается их домашнего обихода, а в противном случае признают только курение фимиама и сожжение ароматов. В этом им должна быть предоставлена свобода, но самое удивительное заключается в том, что общественное мнение об эстетике так бесцветно, шатко и в то же время так заманчиво, что оно без протеста позволяет, чтобы подобная выставка самого жадного филистерства нравилась; оно не чувствует всего комизма той сцены, когда маленький неэстетический магистр сидит в роли судьи Бетховена. Что же касается Моцарта, то, в данном случае, следует признать действительным то, что Аристотель говорит о Платоне: "Даже хвалить его не должно быть дозволено дурному". Однако, в этом отношении утрачен всякий стыд, как у публики, так и у магистра; ему позволяют не только открыто отрещиваться от величайших и чистейших проявлений германского гения, как будто бы он увидел что-то скверное и безбожное, но даже радуются его неуязвимым признаниям и исповедованию грехов, в особенности когда он кается не в тех грехах, которые он совершил, а в тех, которые должны были совершить великие умы. Ах, если на самом деле наш магистр прав?! - думают его почтенные читатели, находясь, между прочим, в припадке сомнения; а он сам в эту минуту присутствует там, посмеиваясь, глубоко уверенный в себе, произносит важные речи, проклинает и благословляет, сам снимает перед собой шляпу и каждую секунду готов сказать то, что сказала герцогиня де-Ла-Форт госпоже де-Сталь: "Я должна признаться, мой милый друг, что никто не бывает постоянно так прав, как я!"

6

Труп - это прекрасная идея для червяка, а червь - страшная идея для всего живого. Черви представляют себе рай в виде жирного тела, профессора философии в отыскивании внутреннего смысла идей Шопенгауэра и пока будут существовать грызуны, будет существовать рай и для них. Поэтому наш первый вопрос будет таков: как представляет себе последователь новой религии свой рай? Ответ на него следующий. Штраусовский филистер распоряжается в произведениях наших великих писателей и виртуозов так, как червь, который живет - разрушая, удивляется - пожирая, и молится - переваривая пищу.

Теперь следует наш второй вопрос.

Где обитает тот подъем духа, которым наполняет новая религия своих верующих? И на этот вопрос был бы готовый ответ, если бы подъем духа и нескромность были бы одно и то же, потому что тогда у Штрауса не было бы ни малейшего недостатка в действительном и настоящем мужестве мамелюка, и эта достойная скромность, о которой Штраус говорит в вышеприведенном отрывке о Бетховене, есть только стилистический, а не моральный оборот. Штраус попутно принимает участие в смелых подвигах, на которые отваживается всякий прославленный победами герой; все цветы распускаются лишь для него, для победителя, и он хвалит солнце за то, что оно вовремя освещает именно его окна. Даже старую почтенную вселенную он не оставляет без похвалы, как будто бы этою похвалой она была освещена впервые и с этих пор должна двигаться вокруг одного только центрального атома - Штрауса. Вселенная, учит он нас, это машина с железными шестернями, тяжелыми молотами и толчеями, но "в ней движутся не только бездушные колеса, но льется и смазывающее масло, как смягчение страданий (стр. 365)". Вселенная не сумеет выразить, рьяному на образы магистру, свою благодарность за то, что он не нашел лучшего сравнения для похвалы ей, раз уж она заслужила похвалы Штрауса. Как же называется то масло, которое, по каплям, истекает на молоты и толчеи машины? Как печально было бы для работника узнать, что это масло изливается и на него в то время, как машина задевает его. Предположим, что эта картина неудачна, тогда наше внимание привлекает другое явление, которое Штраус старается пустить в ход, чтобы удостовериться, как именно он относится к вселенной, явление, при котором у него на устах является фраза Гретхен: "Любит?", "Не любит?", "Любит?"... Если при этом Штраус не обрывает лепестков цветка или не отсчитывает пуговицы на своем скюртуке, то что он делает, по меньшей мере невинно, хотя может быть, и для этого нужна некоторая доля мужества. Штраус, желая узнать на опыте, омертвело и расслаблено ли его чувство к вселенной, к этому "все" или нет, сам себя колет, потому что он знает, что можно колоть иглой любой член без боли в том случае, если он омертвлен и стал расслабленным. Собственно говоря, он совсем и не колет себя, но выбирает другой более действительный способ, который он так описывает: "Мы разоблачаем Шопенгауэра, который при всяком удобном случае бьет нашу идею по лицу". Так как идея сама по себе, эта прекраснейшая Штраусовская идея о вселенной, не имеет лица, а имеет его тот, кто является выразителем идеи, то весь способ состоит из одного только следующего действия: Штраус "бьет" Шопенгауэра и даже разоблачает, за что, в данном случае, Шопенгауэр бьет Штрауса по лицу. Теперь в свою очередь реакция происходит со Штраусом, но, уже "невинная", именно, он снова обрушивается на Шопенгауэра, говорит о бессмыслицах, клевете, безбожии и объявляет даже приговор, что Шопенгауэр никому не послужил назиданием. В результате эта перебранка кончается тем, что "мы требуем для нашей вселенной того же благочестия, какого требует верующий старого стиля, для своего Бога", - одним словом "он любит". Да, наш любимец грации делает себе жизнь тяжелой, но он храбр, как мамелюк, и не боится не только черта, но и Шопенгауэра.

Сколько целебного бальзама употребляет он, если такие процедуры происходят часто. С другой стороны мы понимаем, как должен быть Штраус благодарен Шопенгауэру, который щекотливо льстит ему, колет его и бьет. Поэтому нас вовсе не поражают в нем выдающиеся проявления милости. В сочинениях Артура Шопенгауэра необходимо только перелистывать страницы, хотя, с другой стороны, приносит пользу не одно только перелистывание, но и серьезное изучение и т.д.". Кому, в конце концов, говорит эта глава филистеров, на

которого можно указать, что он никогда не изучал Шопенгауэра, о котором сам Шопенгауэр, в свою очередь, должен был сказать: "Это автор, который не заслуживает, чтобы его перелистывали, не говоря уже об изучении". По-видимому, Шопенгауэр попал ему не в бровь, а в глаз, он старается освободиться от него, сам же ему надоедая. Чтобы мера наивных похвал была полна, Штраус позволяет себе рекомендовать себе старого Канта. Он называет "Всеобщую историю и теорию неба", изданную в 1755 г., сочинением, "которое мне казалось не меняя ярким, чем его позднейшая критика чистого разума. Если в этом сочинении следует удивляться глубине взгляда, то в том сочинении обширности кругозора; если мы в одном сочинении имеем старика, который прежде всего должен бороться за безопасность обладания знаниями, то в другом является перед нами человек, который с полным мужеством идет навстречу духовному изыскателю и завоевателю". Этот приговор Штрауса относительно Канта казался мне не менее скромным, чем первый относительно Шопенгауэра: если здесь мы имеем главу, который должен бороться за право высказать даже такой мягкий приговор, то там мы встречаемся с известным прозаиком, который с полным мужеством и даже невежеством высказывает похвалы Канту. Как раз тот невероятный факт, что Штраус не умел ничем воспользоваться из "Критики чистого разума" Канта для своего Катахезиса новейших идей и то, что он повсюду говорит в угоду грубому реализму, принадлежит к выдающимся, характерным чертам этого нового Евангелия, которое, впрочем, обрисовывается только как результат продолжительных исторических и естественных исследований, приобретенных без труда. Вместе с тем, он сам отрекается от философского элемента. Для главы филистеров и для его "мы" не существует никакой философии Канта. Он не может понять, в чем состоят основы идеализации, что такое относительный смысл всех знаний и рассудка. С другой стороны, именно самый разум должен был ему подсказать, как мало можно заключить о данном факте, следуя одному разуму. Справедливо можно сказать, что в известном возрасте люди не могут понимать Канта, в особенности, если подобно Штраусу, они в своей ранней молодости поняли мудреца-гиганта Гегеля или, по крайней мере, хващают, что поняли. Тогда, конечно, следует взяться за Шлейермахера, который, как говорит Штраус, обладал даже слишком большим остроумием. Штраусу не понравится, если я скажу ему, что он находится в очень дурной зависимости от Гегеля и Шлейермахера, и что его учение о вселенной и способ оценки вещей и его искривление позвоночного столба перед немецким благоденствием, и прежде всего бесстыдный оптимизм филистера должны быть объяснены ранними дурными влияниями в юности, привычками и болезненными явлениями. Кто хоть раз заболел Гегелем и Шлейермахером, тот никогда больше не вылечится. В книге его признаний есть одно место, в котором его неизлечимый оптимизм раскрывается с истинно-праздничной приятностью. Если мир есть вещь, говорит Штраус, лучше которой не было ничего, то существует, конечно, и мысль философа, которая образует частицу этого мира, мысль, лучше которой нельзя себе ничего представить. Философ-оптимист не замечает, что он прежде всего объясняет мир, как дурно выраженную мысль, но если мысль о том, что мир выражен дурно, есть мысль дурная, то тогда мир вещь много лучшая. Оптимизм может облегчить свою задачу согласно известным правилам, тогда положения Шопенгауэра о том, что боль и оскорбление играют в мире большую роль, совершенно уместны. Но каждая истинная философия по необходимости оптимистична, потому что иначе она сама лишала бы себя права на существование. Если эти опровергающие доводу Шопенгауэра не то же самое, что в другом месте Штраус называет "опровержением, сопровождаемым ликованием в высоком зале", в таком случае я совсем не понимаю этого театрального оборота, которым он пользуется для своего опровержения. Оптимизм уже облегчил себе свою задачу, но с умыслом. Но в том-то и состояло искусство поступить так, будто ничего не стоило опровергнуть Шопенгауэра и так, играючи, выполнить эту задачу, чтобы три грации каждую минуту имели возможность насладиться видом играющего оптимиста. Именно то должно было быть показано на деле, что нет никакой надобности принимать всерьез подобного пессимиста: следовало доказать неопровержимыми софизмами, что такая нездоровая и безуспешная философия, как Шопенгауэровская, не имеет никакого основания, но должна только тратить слова и красивые выражения. В таких местах становится понятным объяснение Шопенгауэра, а именно, что его оптимизм там, где он представляет одни только бессмысленные фразы, такого рода, что не дает решительно ничего кроме слов и абсурдов, даже по мнению тупиц, но и кажется бездушным способом мышления, язвительной насмешкой над человеческими страстями, которым нельзя подобрать названия.

Когда филистер приводит все это в систем⁴, как Штраус, то он от этого приходит к безбожному образу мыслей, т.е. к бессмысленному учению об удобстве его "я" или его "мы" и возбуждает негодование.

Кто, например, решился бы прочесть без гнева это психологическое объяснение?

Ведь действительно видно, что оно могло возрасти только на корнях этой безбожной теории об удобствах.

"Бетховен никогда не решился бы написать текста подобного Фигаро или Дон-Жуану. Разве сама жизнь не насмеялась бы над ним за то, что он так свободно смотрел на вещи, так легко обходился бы с человеческими слабостями". Чтобы привести более сильный пример этой безбожной вульгарности образа мыслей, достаточно одного намека на то, что Штраус не может никаким образом иначе объяснить себе плодотворного стремления к унижению и направлению аскетической святости, как пресыщения половыми удовольствиями всех родов, вышедшим уже из пределов и вызванным ими омерзением.

"Персы называют это *bidamag buden*, а немцы *katzenjammer*", так, несколько не стыдясь, цитирует сам Штраус, мы же на минутку уклоняемся в сторону для того, чтобы преодолеть отвращение.

На деле наш глава филистеров храбр, а на словах и повсюду, где он думает вознести свое гордое "мы" подобною храбростью, даже безумно храбр. Это мы еще все снесем для того, чтобы изучить личное мужество, которым так даровит наш классический филистер Штраус. Выслушаем хотя бы его признание: "Конечно неприятная и неблагодарная обязанность говорить прямо миру то, что ему в меньшей мере хотелось бы выслушать. Мир всем распоряжается и щедрой рукой, как знатные господа, берет и раздает до тех пор, пока у него есть, что раздавать, но если кто-нибудь считает все статьи и подведет всему итог, то мир обходится с ним как с нарушителем покоя. Именно к этому же давно влекло меня мое душевное, нравственное чувство". Подобное духовное чувство можно все-таки назвать мужественным, все же остается сомнение, натурально ли и врожденно ли подобное мужество, или оно выученное и искусственное. Может быть, Штраус только с течением времени привык быть подобным нарушителем порядка по призванию, пока он воспитывал в себе всестороннее мужество. Тогда понятно природное малодушие, которое свойственно филистеру. Эта трусость, в особенности, выражается в отсутствии последовательности и тех скачках, чтобы выразить которых нужно известное мужество. Она гремит как гром, но атмосферы не очищает. Филистер не переносит ее на постепенное действие, но на постепенные фразы и выбирает их как можно оскорбительнее и пускает в дело в грубых и резких выражениях то, что накопилось у него энергии и силы. После того, как он скажет слово, он гораздо трусливее того, кто ничего не говорил, даже тени его поступков и этика показывают, что он герой слова и что он избегает всякого такого положения, в котором необходимо от слов перейти к суровой деятельности. Он заявляет, с достойной удивления смелостью, что он ведь не Христос, "что он не хочет никоим образом нарушать мира". Ему кажется несоответственным основать общество для того, чтобы разрушить общество, в чем нет ничего несоответствующего. С уверенным жестоким чувством удовольствия он зарывается в недоступную теорию нашего происхождения от обезьяны и ценит Дарвина, как одного из самых великих благодетелей рода человеческого, но мы со стыдом видим, что его этика построена так, что не вызывает вопроса, "каким образом постигаем мы свет". В данном случае ему хотелось показать свое природное мужество, потому что здесь он должен был стать спиной к своему "мы" и имел возможность храбро уйти от войны и от преимуществ силы нравственных обязательств жизни, которые должны иметь свое начало в непоколебимом внутреннем уме подобном уму Гоббса, или в совершенной иной, высокой любви к правде, а не в таких умах, которые в сильных выходах прорываются против духовенства. Это потому, что с подобной настоящей и проведенной в жизнь дарвиновской этикой можно восстановить против себя филистера, которого, при данных обстоятельствах, имеют на своей стороне. Всякое видимое явление, говорит Штраус, есть самоуверение в единстве согласно идее о роде. Следовательно, отчетливо и осязаемо передать это можно следующими словами: живи как человек, а не как обезьяна и тюлень. Это приказание, к сожалению, совершенно непригодно и бессильно, потому что под общее понятие человека подходит все самое различное, например, и патагонец и магистр Штраус, и еще потому, что никто никогда не осмелится сказать так же убедительно: живи как патагонец и как магистр Штраус. Так как никто не хотел бы предъявить притязания - живи как гений, т.е., как идеальное выражение понятия - человек, и не будь ни патагонцем, ни магистром Штраусом, то как бы нам не пришлось пострадать от назойливости ищущих гениальности глупцов, оригиналов, которые растут в Германии как грибы, на что уже жаловался Лихтенберг, и которые с диким криком требуют от нас, чтобы мы выслушали их исповедование новой веры. Штраус еще не знает, что люди никогда не могут представить понятие более видимым и реальным, и что насколько легко проповедовать нравственность, настолько трудно установить ее. Скорее, его задачей должно было бы доказать и развить на основании теории Дарвина проявление человеческой доброты, милосердия, любви и самоунижения, которые теперь видимы в фактах, для того, чтобы одним скачком перейти от доказательства к повелению и избежать вопросов. При этом скачке ему приходится перескочить через основное положение, высказанное Дарвиным, вследствие его легкомыслия: "Не забывай ни на минуту, - говорит Штраус, что ты человек, а вовсе не какое-то, лишенное сознания, существо; ни на одну минуту не забывай, что все подобные тебе люди во всех своих личностных особенностях то же самое, что и ты, и что они обладают такими же потребностями, недостатками и претензиями, - вот в чем заключается сущность нравственности". Но откуда звучит это приказание? Как может высказать его человек, когда он, согласно Дарвину, есть некоторое существо, которое развивается до высоты человеческой по совершенно иным законам, именно как раз потому, что, во-первых, он каждую минуту может забыть, что все ему подобные существа могут иметь на что-либо права, а, во-вторых, потому что он при этом может почувствовать себя чем-то более сильным и доводить до совершенного уничтожения другие типы, с более слабой организацией. Штраус должен бы принять за основание, что никогда два существа не бывают вполне похожи друг на друга и что все развитие человека от ступени животного до высоты культурного филистера зиждется на основании закона индивидуального различия. Однако, ему ничего не стоит объявить совершенно противное: "Поступай так, как будто нет никакого индивидуального различия!"

Где же тогда учение о нравственности, господин Штраус-Дарвин?! И куда именно девалось мужество? Затем мы получаем новое доказательство того, до чего доходит это мужество в противоречиях самому себе? Штраус продолжает: "Не забывай ни на одну минуту, что ты и то "все", что ты находишь в себе и вокруг себя правдивого, совсем не обломки, соединить которые нельзя, не дикий хаос атомов и случайностей, но все это идет из одного первоисточника жизни, разума и добра, следуя вечным законам, - в этом заключается сущность религии". Из этого "первоисточника" иногда истекает всякая гибель, всякое безрассудство, все дурное, и этот

первоисточник Штраус называет вселенной! Как может быть это достойно религиозного почитания, как можно говорить об этом, произнося рядом имя Бога, как сейчас это делает Штраус в пункте 365, если все это имеет такой противоречивый и заносчивый характер? Штраус говорит: "Наш Бог не принимает нас извне прямо на свое лоно (Здесь, конечно, как противоположность, мы ожидаем нечто весьма удивительное, именно взять на свое лоно - изнутри!), но открывает нам источник утешения в нашем внутреннем "я". Он показывает нам, что хотя совпадение и есть бессмысленный владыка мира, но необходимость, или, иначе говоря, сцепление причин в мире, это тот же разум" (это изворотливость, которую не замечают только эти "мы", потому что они увлечены гегелевским поклонением чистому разуму, иначе говоря, обоготворением успеха).

"Он учит нас познавать, что требовать исключения в уничтожении хотя бы единственного закона природы - это значит требовать полного уничтожения всего". Напротив, господин магистр, честный естествоиспытатель верит в безусловное соответствие законов природы, не высказывая ни малейшего слова об этическом и интеллектуальном достоинстве этих законов. При подобном взгляде он должен был бы признать величайший акт антропоморфического рождения сущностью, незаключенной в рамках дозволенного, однако в том самом месте, где честный естествоиспытатель слагает с себя всякую ответственность, Штраус невинно производит "обратное действие" для того, чтобы "религиозно" украсить нас своими собственными перьями на основании естественных наук и бесчестно с научной точки зрения; он принимает на веру, что все происходящее имеет величайшее интеллектуальное достоинство и, таким образом, устроено абсолютно разумно и целесообразно и так, что заключает в самом себе признаки вечного блага. Таким образом, он вполне пользуется учением о космогонии и вредит тому, кто занимается только изречением феодичией и кто должен представить все бытие людей как исправительную меру или как блаженное состояние. В этом пункте, в подобном затруднительном положении, Штраус допускает даже метафизическую гипотезу, самую ужасную, какая только является невольной пародией слов Лессинга. Другое известное выражение Лессинга (так гласит пункт 214): "Если Бог с правой стороны имеет всю правду, а с левой только живое влечение к тому, что представляется ему исходом из постоянного заблуждения, то Господь должен пасть на свою левую сторону и предложить себе все ее содержание". Это выражение Лессинга всегда причисляли к лучшим, которые он нам оставил. В этом выражении нашли гениальный отклик его неутомимой деятельности и стремления к удовольствию. Лично на меня это выражение производило совсем особое влияние, потому что я всегда различал среди его субъективных понятий еще и неясный объективный смысл. Потому что разве в этих словах мы не находим ответа на грубые слова Шопенгауэра о зломыслящем Боге, который не сумел сделать ничего лучшего, как низойти в этот жалкий мир? Кто же был творцом по мнению Лессинга, если он предпочел спокойному обладанию борьбу? Итак, действительно, тот Бог, который содержит в себе вместе со стремлением к правде постоянное заблуждение, и подобно Штраусу, робко уклоняется в левую сторону, чтобы сказать ему: "Возьми ты всю правду". Если бы Бог и человек были так злонамеренны, то это тот самый штраусовский Бог, который обладает способностью впадать в заблуждения и тот же штраусовский человек, который должен исправлять эту любовь к заблуждениям; в этом конечно, "услышано указание на бесконечную важность". Вот здесь то и истекает штраусовское универсальное масло, здесь можно догадаться о разумности всякого бытия и законов природы! Правда ли? Разве в этом случае, как однажды выразился Лихтенберг, наш мир произведение упорядоченного существа, которое недостаточно верно поняло положение вещей, не есть ли первая попытка, образец, по которому будут еще творить. Сам Штраус должен бы был тогда признаться, что наш мир не арена для разума, а заблуждение, и что вся закономерность не содержит в себе ничего утешительного, потому что все законы даны одним заблуждающимся Богом и еще заблуждающимся ради собственного удовольствия. Действительно, это было бы дивное зрелище, увидеть Штрауса как метафизического строителя, созидающего облака. Но для кого будет устроено это зрелище? Для этих гордых и веселых "мы" для того, чтобы не исчез их юмор. Может быть они обьяты страхом пред могучей и незнающей пощады работой колес мировой машины и дрожа просят своего вождя о помощи. Поэтому Штраус и изливает "масло", поэтому отводит в сторону на веревочке Бога, пришедшего в заблуждение из-за страстей, поэтому-то он и разыгрывает чуждую ему роль метафизического строителя. Все это он делает потому что последователи боятся его, да и он сам боится себя, и здесь-то лежит предел его мужества, отделяющий его от этих его "мы". Он даже не осмеливается честно сказать им: "Я освободил вас от Бога, приносящего помощь и сострадательного, вселенная это только могучая работа колес; смотрите, как бы ее колеса вас не раздавили". Он этого не смеет сделать, но должен вывести на сцену еще пугало, именно метафизику. Но для филистера метафизика Штрауса приятнее христианской, а представление о заблуждающемся Божестве симпатичнее идеи о Божестве творящем чудеса. И это происходит потому, что сам филистер заблуждается, но при этом не сотворил ни одного чуда.

На том же самом основании ненавистен филистеру гений, потому что именно он по праву и призван творить чудеса. Познакомиться с ним поучительно, главным образом, потому что в одном месте Штраус выставляет себя отважным защитником гения, в особенности аристократической натуры великого ума. Почему же? Из страха и даже из страха перед социал-демократами. Он ссылается на Бисмарка и Мольтке, "величие которых тем не менее может быть умалено, чем более выступает оно из пределов осознательных поступков. В этом случае самые упорные и самые рьяные из их помощников должны приспособиться и взглянуть вверх, хотя бы для того, чтобы их взгляд обнял великие фигуры только до колен". Может быть, вы, господин магистр, желаете дать социал-

демократам руководство, каким образом относиться даже к их следам? Доброе желание, давать подобные советы всюду имеет успех и, чтобы последователи этого направления могли увидеть выдающихся личностей "хотя бы до колен", им уже надо согнуться. "И в области наук и искусств", - продолжает Штраус, "никогда не будет недостатка в государях-созидателях, которые дадут работу возницам и даже целой массе их". Хорошо, а если создают извозчики? Бывают и такие случаи, господин метафизик, - тогда государям приходится смеяться. На самом деле это унижение, происходящее от заносчивости и слабости, смелые слова и трусливое стремление к личному удобству, это точное взвешивание того, согласно каким законам следует противопоставить себя филистеру, чем можно его приласкать; этот недостаток характера и силы, при кажущемся характере и силе; этот недостаток рассудка при всей чопорности, происходящей от недостатка рассудительности и зрелого опыта, все это и есть то, что я ненавижу в этой книге. Когда я думаю, что эта книга попадает в руки молодых людей, и что они могут придавать ей огромную важность, тогда я печально отказываюсь от надежды на их будущее. Это исповедь несчастного, лишенного надежды и ненавидящего правду филистерства, должна быть отпечатком тех многих тысяч "мы", о которых говорит Штраус, а эти "мы" могут быть отцами следующего поколения. У каждого могут быть самые темные предположения, у всякого, кто желал бы помочь следующему поколению в том, чего не имеет настоящий век действительной немецкой культуры. Такому человеку все кажется покрытым мерзостью запустения, все звезды кажутся темными, каждое увядшее дерево, каждое запущенное поле вызывает к нему: "Нет больше плодов, все погибло". Здесь нет больше весны, следует прийти в отчаянье, как пришел в отчаянье молодой Гете, когда в печальную, проникнутую атеизмом полночь, взглянул в "Systeme de la nature". Ему показалась эта книга настолько мрачной, химерической и смертоносной, что для него стоило страшных усилий выдержать ее направление, и она привела его в ужас как привидение.

8

Итак, мы достаточно уже изучили небо и мужество последователя новой веры и теперь можем поставить последний вопрос. Каким образом пишет он, Штраус, свои Религиозные акты?

Тот, кто строго и без предвзятого мнения может ответить на этот вопрос, для того является фактом, что штраусовская настольная книга немецкого филистера вышла шестым изданием. Для нас же является в достаточной мере загадочным это явление, если приходится слышать, что в ученых кругах и даже в немецких университетах книгу этого оракула приняли очень радушно. Студенты приветствовали ее как канон для великих умов. Профессора не опровергали ее, а кое-где находили ее даже евангелием ученого. Сам Штраус дает понять, что его книга признаний не должна быть принята к сведению только учеными и образованными людьми, но мы держимся того мнения, что она касается преимущественно ученых, чтобы как в зеркале показать им их жизнь, как они ее проводят. В том-то и весь фокус: магистр выставляет себя с такой стороны, будто бы рисует новое мировоззрение, и его собственная похвала из всех уст возвращается на него же потому, что каждый может думать, что он судит о мире и жизни именно так и что Штраус именно на нем прочувствовал то, что он требует от будущего. Этим и объясняется необыкновенный успех этой книги. "Так, - как гласит эта книга, - мы живем и проводим жизнь несчастливенные" восклицает ученый навстречу ей и радуется, что и другие радуются тому же. Хотя он относительно некоторых вопросов и думает иначе, чем Штраус, напр., о Дарвине или о смертной казни, он все же относится к этому почти равнодушно, потому что он в общем чувствует безопаснее для себя дышать своим собственным воздухом и слышать отголосок своего голоса, своих потребностей. Так мучительно должно затронуть это всеобщее заключение всякого истинного друга немецкой культуры, так неумолимо строго должен он объяснять подобный факт и не бояться открыто высказать свое объяснение.

Все мы знаем обыкновенный способ нашего века обходиться с наукою. Да, мы знаем его, потому что сами живем и поэтому-то никто не задает себе вопроса, какая польза может быть для культуры при подобном отношении к науке, предполагая, конечно, что всюду на первом плане находится самое лучшее стремление и самое горячее желание работать для культуры. Ведь в самом существе стремящегося к знанию человека лежит действительная странность (совершенно несоответствующая его личному виду). Он лишает себя счастья, как самый гордый праздношатающийся человек, как будто-бы само бытие не есть нечто самое блаженное, несомненное, но твердое, гарантированное надолго обладание. Ему кажется возможным обращать жизнь в вопрос, ответ на который в своем основании имеет силу лишь для того, кто застрахован на жизнь в лени. Вокруг него, наследника немногих часов, неподвижно поднимаются самые ужасные крутизны, каждый шаг должен напоминать ему "куда? зачем? для чего?" Но его душа расцветает, если представляется случай считать пылинки цветка и разбивать на дороге камни, и он всецело отдает этой работе весь запас своего организма: веселье, силу и желание. Эта странность, именно человек, стремящийся к науке, эта новость в Германии довела людей до страшной торопливости, как будто наука - это фабрика, где каждая просроченная минута влечет за собой штраф. Теперь человек так упорно работает, как четвертая степень рабства. Его труд уже более не занятие, а гнетущая необходимость. Он не сворачивает ни вправо, ни влево, но проходит мимо всего и даже мимо сомнений, которые носит в себе сама жизнь. Он проходит мимо всего с тем полувниманием или с той отвратительной потребностью к отдыху, которая так свойственна истощавшему свои силы работнику. Итак он приступает теперь к культуре. Он поступает так, как будто для него жизнь только покой, но недостойный покой. Даже во сне он не снимает с себя ярма, как раб, которому и на свободе грезятся необходимость, работа и побои. Наши ученые почти не отличаются (что конечно не говорит в их пользу) от землепашцев, которые желают увеличить свое небольшое

состояние, перешедшее им по наследству, и которые целый день, с утра до ночи, погружены в обработку своего поля, в хождении за плугом и понукании волов. Одно из главных положений Паскаля состоит в том, что люди так упорно посвящают жизнь занятиям и науке лишь для того, чтобы избежать гнетущих вопросов, которые им навязывает каждая минута уединения и всякий действительный досуг; именно вопросов: "зачем? куда? и почему?". Нашим ученым, удивительным образом, не приходит в голову вопрос, какую пользу приносит их работа, их торопливость и их болезненное упоение. Ведь они трудятся не для того, чтобы заработать себе на хлеб или добиться почетного места. Нет, конечно нет! Но почему же вы тогда трудитесь так, как нуждающиеся, как те, которым не хватает хлеба? Ведь вы с жадностью и без разбора просто рвете куски о стола науки, как будто бы вы голодны. Если же вы, люди науки, обходитесь с ней так, как работник с уроком, заданным ему его потребностями и жизненной необходимостью, какая же из этого выйдет культура, которая предназначена иметь форму вынужденных, бездушных, бросающихся туда и сюда и даже трепещущих знаний и ждать освобождения в минуту ее зарождения. Для культуры ни кто не имеет времени, какое же значение тогда может иметь наука и именно наука, если у нее нет времени для культуры. Так отвечают нам, но этот ответ менее всего отвечает на наш вопрос: куда, зачем и почему все знания, если они не должны вести к культуре. Мы видим, что в этом направлении, ученое сословие сделало уже шаг вперед, так как такие плоские книги, как Штраусовская, мнят, что они уже сделали достаточно не своим пути к развитию культуры. Ведь как раз в его сочинениях мы находим отвратительную потребность к возвышению и это полувнимательное, беглое и прислушивающееся вхождение в сделку с культурой, философией и, главным образом, с серьезностью бытия. Следует вспомнить об обществе ученых, которое даже в том случае, если молчит ученое мнение, дает свидетельство только об утомлении, стремлении к рассеянности, об растерзанности мысли и о бессвязном жизненном опыте. Когда мы слышим речь Штрауса относительно жизненных вопросов, будь они о браке, о войне или о смертной казни, он пугает нас полным недостатком настоящего образования и тем, что он недостаточно проникся основой человечества. Все же основы его положений подведены под размеры только книги и даже, в конце концов, газеты. Литературные воспоминания заступают место действительных положений и взглядов. Аффектированное равновесие и старческая мудрость в выражениях должны доказать нам недостатки смысла и зрелости мысли. Как верно все это противоречит духу окруженной суетой высокого положения немецкой науки в больших городах. Как симпатично должен говорить этот дух тому направлению ума, потому что именно на эти государства более всего истрачено культурой усилий, потому что именно относительно их стало невозможно насаждение новой; насколько здесь суетливо снаряжение действующих наук, настолько там подчинение тратам превосходит сильнейшие. С каким фонарем следует искать здесь человека, который был бы способен на внутреннее самопогружение и на чистую привязанность к гению, и который имел бы достаточно силы и мужества, чтобы заставить дрожать демонов, улетевших из нашего мира. Если смотреть с внешней стороны, то, конечно, в этих государствах можно найти все торжество культуры и сравнить их со внушающими уважение инструментами цейгхаузов, с их огромными орудиями и предметами военного дела. Мы видим сооружения и такое упорное старание, будто бы нам нужно было бы брать приступом небо или доставать правду из самых глубочайших колодцев, и в то же время на войне можно в высшей степени дурно употребить эти машины. Точно так же настоящая культура при своем победном шествии оставляет в стороне эти государства и лучшими своими чувствами понимает, что там ей нечего делать и слишком много есть такого, чего должно бояться, потому что единственная форма культуры, которой могут отдаться труженики ученого сословия с горящими глазами и притупленными органами мышления, это культура филистеров, евангелие которой проповедовал Штраус.

Если мы только одно мгновение займемся разбором главного основания той симпатии, связывающей тесными узами сословие ученых тружеников и культуру филистеров, то мы сейчас же выйдем на путь, который приведет нас к классически известному писателю Штраусу и затем к нашей главной теме.

Эта культура, во-первых, носит отпечаток мира и не желает изменять ничего существенного в противоположном течении немецкой образованности; прежде всего она серьезно убеждена в единстве всех немецких учебных заведений, гимназий и университетов, не предстает навязывать их и за границей, ни минуты не сомневается в том, что при помощи этой культуры можно стать самым образованным и самым способным к суждению народом мира. Культура филистеров верит в себя, а поэтому и во все методы и средства, которые находятся в ее распоряжении.

Во-вторых, она влагает самый величайший приговор относительно вопросов культуры и вкуса в руки ученого и сама толкует себя, как вечно произрастающее собрание мнений относительно искусства, литературы и философии. Ее задача принудить ученого высказать свое положение; затем она их смешивает, процеживает или систематизирует, чтобы потом преподнести немецкому народу, как целебное лекарство. То, что возрастет вне этого круга, то будет с тех пор выслушиваться с полусомнением или вовсе не будет выслушиваться, будет замечаться или не замечаться пока, наконец, не прозвучит из храма, в котором должна быть скрыта традиционная непогрешимость вкуса, благоприятный голос того, кто носит в себе характер родового понятия. Только с этого времени общественное мнение будет обладать одним лишним и как тысячеголосное эхо повторять голос одного. На самом же деле относительно эстетической непогрешимости, которая заключается в каком-то храме и принадлежит только одному, дело обстоит так, что до тех пор можно быть уверенным в отсутствии вкуса, бессмысленности и эстетической грубости ученого, пока он не доказал противного. И только

немногие могут доказать противное. Это происходит оттого, что очень немногие, после того, как они принимали участие в состязании и за наличные науки, - состязании, которое заставило их только запыхаться и вспотеть, - могут и заключать в себе мужественный и успокаивающий вид борцов культуры только тогда, когда они овладели этой способностью видеть, способностью, которая может охарактеризовать само состязание как варварство. Поэтому-то эти немногие должны жить в противоречии. Что они могут предпринять против обличенной в известную форму веры бесчисленных людей, которые сделали общественное мнение всецело своим покровителем и со своей стороны поддерживают себя этой верой? Какая может быть помощь, если один только человек осмелится открыто выступить против Штрауса, когда очень многие подают голос за него, и если совращенная ими с пути истины масса выучилась домогаться сонного филистерского напитка магистра так, что за одним идут шестеро.

Если мы, не принимая в соображение дальнейшего, предположим, что книга Штрауса, в глазах общественного мнения, одержала верх и что ее приветствовали как победителя, то пожалуй, ее автор обратит наше внимание на то, что различные суждения о его книге, появившиеся в современной прессе, носят совершенно неединодушный характер и в самой меньшей мере безусловно благосклонный характер, и что он сам должен был протестовать в своем послесловии против враждебного временами тона и против слишком смелой и вызывающей манеры этих газетных борцов.

Но как же может общественное мнение высказывать свой отзыв о моей книге, так говорят нам, когда, несмотря ни на что, всякий журналист может объявить меня опальным и бранить сколько ему угодно. Это противоречие легко опровергнуть, раз только в книге Штрауса различать две стороны: теологическую и писательскую. Только эта последняя часть книги затрагивает культуру. Со стороны своей теологической окраски он стоит вне нашей немецкой культуры и пробуждает симпатии различных теологических партий и даже каждого отдельного немца, если тот по натуре принадлежит к теологической секте, и открывает свое, может быть, странное, но личное верование только для того, чтобы иметь возможность не согласиться со всяким иным верованием. Но стоит только прислушаться к тому, что говорят о Штраусе все эти теологи-сектанты, раз только речь пойдет о писателе-Штраусе: тотчас же затихает теологический шумный диссонанс и в чистом звуке, который звучит как бы из уст одного существа, слышно: "Все-таки он классический писатель". Каждый человек, даже самый заядлый, говорит писателю в лицо все самое доброжелательное, будь это даже одно слово о его почти лессинговской логике или красоте, изяществе или о пригодности его эстетических взглядов. Как книга, это произведение Штрауса, мне кажется, отвечает почти идеалу книги. Противники ее теологи, хотя бы даже они говорили насколько возможно громко, представляют из себя лишь частицу всей публики; и Штраус, в противоположность им, будет прав, если утверждает: "Сравнительно со многими тысячами моих читателей - дюжина, другая моих открытых прорицателей, это незаметное меньшинство, и им будет трудно доказать, что они безусловно верно толкуют первых. Если в данном случае слово принадлежит совершенно несогласным, то согласные довольствуются как бы молчаливым согласием. Таково уже свойство обстоятельств, которое мы все знаем". Итак, несмотря на досаду, причиняемую теологическим исповеданием, которую Штраус мог возбудить кое-где, относительно писателя-Штрауса, даже при самых фанатичных противниках, для которых его голос звучит подобно голосу зверей из пропасти, господствует единодушие. Поэтому-то толкование, которое Штраус узнал при помощи литературных приспешников теологических партий, не доказывает ровно ничего против нашего заключения о том, что филистерская культура отпраздновала свой триумф.

Следует прибавить, что образованный филистер в среднем на один градус менее чистосердечен, чем Штраус, или, по крайней мере, при открытых демонстрациях держится более сзади. Тем более правдоподобна кажется ему откровенность во всяком другом: дома и среди подобных ему он даже громко рукоплещет и шумит и только письменно не хотелось бы ему сознаться, как именно близко его сердцу все, что говорит Штраус. Однако, есть все-таки что-то робкое, как мы это видим на деле, у нашего образованного филистера даже в самых его горячих симпатиях, и именно то, что Штраус именно на один градус менее робок, делает его вождем, в то время как с другой стороны, и он имеет известную границу своего мужества. Когда бы он преступал ее, как это делает Шопенгауэр почти в каждом своем положении, тогда бы он более не был главарем филистеров, и его избегали бы точно так же, как теперь бегают за ним. Если кто-нибудь, не зная наверное эту, во всяком случае, разумную умеренность, эту "mediocritas" смелости духа, хотелось бы назвать ее добродетелью Аристотеля, тот конечно, впал бы в ошибку, потому что это духовное мужество не может быть серединой между двумя пороками, но только между добродетелью и пороком, и в этой-то середине, между пороком и добродетелью, и лежат все свойства филистеров.

9

"Все-таки он классический писатель!"

Посмотрим.

Может быть, мне будет теперь позволено поговорить о Штраусе, как о художнике слова, стилисте, но сначала нам остается еще принять в соображение, в состоянии ли он представить собою писателя и действительно ли он поднимает что-нибудь в архитектуре книги. Уж из этого одного можно будет заключить, действительно ли он осмрительный и набивший руку писатель. Если нам придется сказать "Нет", то ему все-таки, как последнее "убежище" его славы, останется звание классического прозаика. Эта последняя способность, без первой,

конечно, не может возвысить его поставив в ряды классических писателей, а только по крайней мере классических импровизаторов и виртуозов, которые, правда, во всяком своем проявлении, и в целом, и в первоначальном только основании своего созидания, показывают лишь тяжелую руку и узкий взгляд писак. Итак, мы спрашиваем, имеет ли Штраус силы создать нечто целое? Обыкновенно по первым же наброскам писателя можно судить, все ли он обозрел и сообразно с этим, нашел ли он общий ход и правильное мерило. Если это главнейшая задача исполнена и здание сооружено в счастливых пропорциях, то все-таки остается еще много работы. Сколько маленьких ошибок нужно исправить, сколько пробелов заполнить. Там, где до сих пор можно было довольствоваться временными перегородками или фальшивым полом, всюду пыль и сор и всюду, куда ни взглянешь, следы необходимой работы. Дом, в целом виде, еще необитаем, стены голы и ветер со свистом врывается в открытые окна. Исполнен ли Штраусом весь еще необходимый, великий и утомительный труд, так далеко мы не заглядываем, когда ставим вопрос, всюду ли соблюдены пропорции здания, и все ли приведено в одно целое. Противоположностью этому, как известно, будет складывание книги из кусочков, как это практикуется иногда учеными. Они надеются на то, что эти кусочки имеют между собой связь и смешивают логическую связь с художественной. Само отношение четырех главных вопросов, которые обрисовывают главы штраусовской книги, не логично: "Христиане ли мы еще?"; "Есть ли у нас еще религия?"; "Как мы понимаем мир?"; "Как мы регулируем нашу жизнь?", не логично потому, что третий ко второму, четвертый к третьему, и все три к первому не имеют никакого отношения. Например, естествоиспытатель, который отбрасывает третий вопрос, показывает как раз тем свое незапятнанное чувство истины, что молча обходит второй, и что темы четвертой главы - брак, смертная казнь, республика, через примешивание дарвиновской теории из третьей главы книги только спутаны и затемнены; Штраус, как кажется, сам старается постичь, когда он фактически не делает более обзора этих теорий.

Вопрос же: "Христиане ли мы?" - портит свободу философского разбора и окрашивает его очень неприятно в теологический цвет. Он совсем забыл о том, что большая часть человечества еще и теперь буддисты, а не христиане. Отсюда очевидно, что Штраус никогда не переставал быть христианским теологом и потому совсем не научился быть философом, так как он не умеет различать и веру, и знание и далее называет одним, так сказать, дыханием "новую веру" и "новые науки". Или, может быть, эта новая вера есть только ироническое обобщение, манера говорить? Так-то оно почти и есть, когда мы видим, что он кое-где простодушно допускает новую веру и новые науки меняться местами (например, стр. 11, где он спрашивает, на чьей стороне, древней ли веры или новых наук, больше неизбежной туманности и недостатка в человечности). Кроме того, после схемы вступления, он хочет дать доводы, на которые опирается новое мировоззрение. Однако, все эти воззрения он заимствует у науки и выставляет себя человеком, исполненным науки, но не веры.

В основании своем новая религия совсем не есть новая вера, но совпадает с современными новейшими науками, а поэтому, как таковая, вовсе не религия. Если Штраус все еще уверяет, что он имеет религию, то ее основания лежат в стороне от новейших наук. Только самая незначительная часть штраусовской книги, т.е. именно немногие разрозненные страницы, указывают на то, что по праву должен бы Штраус назвать новой верой.

Это именно то чувство по отношению ко вселенной, для которой Штраус требует того же самого благочестия, которое питал к своему Богу верующий старого стиля. К тому, что находим мы на этих страницах, совсем не подходит название научного. Если бы только оно было немного сильнее, более натурально, более здраво, а в особенности более проникнуто верой! Именно более всего поражает то, благодаря чему наш автор впервые приходит для художественного образа действия к понятию о сознании того, что он имеет еще одну веру; и он приходит, подвергаясь уколам и ударам, как мы это видели выше. Несчастный и слабый, он извлекает эту вынужденную веру: нас пробирает дрожь, когда мы смотрим на нее.

Когда Штраус, в схеме своего введения, обещал дать нам обобщение, сослужила ли новая вера для верующего ту же службу, что и старая вера по-старому, он сам, наконец, чувствует, что он слишком много пообещал, потому что последний вопрос об одинаковой пригодности и о добре и зле стоит у него рядом и разобран с застенчивой поспешностью, даже иногда смущенно: "Кто в этом вопросе не может помочь самому себе, тому вовсе не следует помогать, тот не дорос до понимания нашего основного положения". "Напротив, с какой силой убеждения верил античный старик во вселенную и в разумность ее. В каком свете, если толковать так, является защита оригинальности своей веры, которую создает Штраус. Все равно как бы не сказать, что она нова или стара, оригинальна или заимствована, решительно все равно, если только она сильна, здорова и естественна. Сам Штраус оставляет свою очищенную, вынужденную веру, как только дело переходит в спор, чтобы обезоружить и нас и себя своими знаниями и представить свои вновь изученные, естественные познания своим "мы" с чистой совестью. Он так робок, когда говорит о вере, и выражается так красноречиво и полно, когда цитирует величайшего благодетеля новейшего человечества Дарвина; тогда он не только требует веры в новую Мессию, но и в себя, нового апостола; например, когда он проводит тонкую тему естественных знаний, то с чисто античной гордостью заявляет: "Мне, быть может, скажут, что я говорю о вещах, которых не понимаю, но явятся другие, которые их поймут; они поймут и меня". Отсюда очевидно, что эти славные "мы" будут обязаны не только верить во вселенную, но и в естествоиспытателя Штрауса. В этом случае мы можем только пожелать, чтобы они не имели необходимости в такой трудной и ужасной процедуре для познания последней веры, как для познания первой. Или, быть может, достаточно для того, чтобы мучить и колоть противоположную веру, а не самого

верующего, привести верующего к "религиозной реакции", которая представляет выдающуюся особенность новой веры? Какую услугу окажем мы религиозному чувству этих "мы"? Следует именно опасаться того, что новейшие люди не примутся на нашей почве без того, чтобы тяготиться религиозными верованиями апостола, каким образом они существовали до сих пор без понятия о разумности вселенной. Все новейшее естественное и историческое стремление не имеет никакого отношения к штраусовской вере во вселенную и так как современный филистер совершенно не нуждается в этой вере, то он дает изображение своей жизни, которое делает Штраус в своей главе "как мы регулируем нашу жизнь". Он вправе сомневаться "отвечает ли все требованиям почтенных читателей, на которые они рассчитывают этот экипаж?" Конечно, нет: современный человек двигается вперед скорее, если он не садится в этот штраусовский экипаж, или, вернее, он подвигался гораздо быстрее задолго до того как существует этот экипаж. Если бы была правда, что это ограниченное "меньшинство", о котором и во имя которого говорит Штраус, отличается большой последовательностью, то оно, конечно, должно быть так же мало довольно Штраусом, как и мы его логикой. Но все-таки постараемся сделать логичную оценку, может быть, вся книга объяснила художественно хорошо найденную форму и отвечает понятию о прекрасном, раз она не отвечает хорошо обработанной мыслительной схеме.

Здесь впервые у нас является вопрос, есть ли Штраус хороший писатель после того, как мы узнали, что он не высказал себя ни образованным естествоиспытателем, ни строгим и точным ученым-систематизатором? Может быть, он задался мыслью не столько избегать старой веры, сколько привлечь жизнь к новому понятию о мире, посредством вдохновенной и обильной красками картины? Именно, если бы он думал об образованном и ученом человеке как о читателе, то он именно и должен был по опыту знать, что хотя бы он и стрелял в него тяжелым зарядом естественных доказательств, все-таки он не мог бы принудить его к сдаче, так как именно они-то и окружают, в качестве защитников, легковооруженный соблазн искусства. Сам Штраус называет свою книгу "легковооруженной", хотя и с известной целью; как легко вооруженную, принимают ее его открытые почитатели, из которых один, например, и даже очень любимый, описывает этот прием следующим образом.

"Речь выступает с одухотворенной равномерностью и одновременно, как бы играя, захватывает искусство логических доказательств там, где она обращается с критикой к "старому", не менее чем и там, где она представляет "новое", приносимое ею победоносно, беспрекословно, с привычным вкусом. Расположение различных несхожих материй, где все предназначено к тому, чтобы тронуть и ничего не расширить, обдуманно замечательно тонко. Даже переходы, которые ведут от одной материи к другой, сплочены искусно, и следует еще более удивляться ловкости, которая замалчивает или отодвигает в сторону неудобные вещи".

Мысли подобного почитателя, как это здесь видно, недостаточно проникают в то, на что способен данный автор, но еще лучше в то, что он хочет сказать. Что же хочет сказать Штраус, обнаруживает нам его собственная самая яркая эмфатическая и не совсем безвредная рекомендация вольтеровских граций, находясь в услужении которых именно он мог научиться этому легковооруженному искусству, о котором говорит его почитатель - и действительно, подобная добродетель поучительна, если магистр может сделаться даже танцором. У кого не является побочных мыслей, когда он читает, например, следующие слова Штрауса о Вольтере: "Как философ, Вольтер вовсе не оригинален, он является только переделывателем английских исследований, при этом он высказывает себя свободным творцом материи, которую он извлекает отовсюду с несравненной ловкостью, умеет представить во всевозможном освещении, и не будучи строго методичным, умеет удовлетворить основным требованиям". Все отрицательные черты налицо: никто не будет верить, что Штраус, как философ, оригинален и строго методичен, но вопрос в том, можем ли мы считать его "свободным творцом материи" или приписать ему "необыкновенную ловкость". Его признание в том, что его сочинение умышленно "легковооружено", дает нам возможность заключить, что оно менее всего посягает на несравненную ловкость. Наш архитектор мечтал выстроить на храм, не жилой дом, но загородную виллу со всевозможными затеями. Ведь кажется, что более всего было рассчитано на таинственное чувство к вселенной, как на эстетический эффект, равным образом как вид на несуществующий элемент моря, открывающийся с прелестной нравственной террасы. Обзор его первых глав, как прохождение теологических катакомб с их темнотой, с их странной и смешной орнаментовкой, опять-таки был эстетическим средством поднять, как контраст, чистоту, свет и разумность главы под заглавием: "Как мы понимаем мир". Потому что, пройдя этот длинный темный коридор, в потемках глядя в несуществующую даль, мы вступаем в залу с верхним освещением. Трезво и светло принимает она нас со своими картами неба, математическими фигурами на стенах, наполненная физическими приборами, со скелетами, чучелами обезьян и анатомическими препаратами в шкафах. Отсюда мы направляемся сначала действительно очастливленные во внутренние покои наших обитателей загородной виллы.

Мы находим их в обществе жен и детей, за газетами и будничными политическими разговорами, мы слышим, как они долго говорят о браке, о всеобщем голосовании, о смертной казни, о стачках рабочих, и нам кажется невозможным не помолиться по четкам общественного мнения. Наконец, мы должны еще убедиться в классическом вкусе обитателя этого дома: короткая обстановка в библиотеке и музыкальной комнате дает нам возможность заключить, что на полках стоят лучшие книги, на пюпитрах самые известные музыкальные произведения. Нам даже кое-что сыграли и когда исполняли Гайдна, то он был вовсе не виноват, что его произведение звучало, как дилетантская музыка Рилля. Хозяин дома имел, между прочим, случай объявить нам, что он вполне согласен с Лессингом, с Гете, правда, до его 2-ой части Фауста. Наконец, владелец виллы хвалит

себя и высказывает мнение, что не должно помогать тому, кому не нравится у него, кто еще не созрел для основного положения. После этого он предлагает нам свой экипаж, но с единственным предостережением: ведь ему не хочется утверждать, что этот экипаж будет отвечать всем нашим требованиям и притом на пути свежо насыпан щебень, и нас может растряссти. После этого наш эпикуреец кланяется с неподражаемой ловкостью, которую он умел хвастаться пред Вольтером. Кто же может теперь сомневаться в этой неподражаемой ловкости?

Свободный творец материи признан. Легковооруженный творец сада обнаружился и все время мы слышим голос классика: "Как писатель, я не хочу быть филистером, я не хочу. Я хочу быть Вольтером или, по крайней мере, французским Лессингом. Мы разоблачим профессиональную тайну: наш магистр не знает, кем он хочет быть, Вольтером или Лессингом. Только ни за что филистером, а если можно, то сразу и Вольтером и Лессингом, чтобы исполнить то, что написано: "У него нет никакого характера, но если он пожелает его иметь, то он должен иметь его!"

10

Если мы верно поняли Штрауса, то он действительно настоящий филистер с узкой черствой душой и с учеными и трезвыми потребностями, и вместе с тем никогда нельзя так рассердить, назвавши филистером, как Давида Штрауса. Он думает, что ему воздают должное, если называют мужественным, дерзким, злым, отчаянным, но он более всего счастлив, если его сравнить с Лессингом и Вольтером, потому что они именно и не были филистерами. В поисках за этим счастьем, он чаще становится нерешительным, сомневаясь, должен ли он сравняться со смелой диалектической отвагой Лессинга или ему больше идет держать себя сатирическим и свободомыслящим старцем, как Вольтер. Обыкновенно, когда он садится писать, делает такое лицо, будто бы он хочет дать рисовать с себя портрет и именно то лессинговское, то вольтеровское лицо. Когда мы читаем его похвалу вольтеровскому изображению, то, кажется, что он убеждает современников (так как они этого не знают), какое отношение имеют они к новейшему Вольтеру. Он говорит: "У него есть преимущество и всюду оно сохраняет свой характер: это простота и натуральность, полная ясность, живость, подвижность и приятное воодушевление. Нет недостатка в теплом чувстве и энергии там, где они необходимы, а напыщенность и аффектация прямо противны внутреннему характеру Вольтера; с другой стороны, когда мы делаем общественным достоянием его иронию и чувства его страсти, то в этом отношении он грешит не как стилист, а как человек". Штраус, очевидно, отлично знает, какое отношение имеют его сочинения к простоте стиля; простота была всегда отличительной чертой гения и, только как таковая, имеет право на простоту, натуральность и наивность. Она не доказывает общего честолюбия, если автор выбирает простую манеру, потому что хотя всякий знает, что следует считать подобного автора, он все-таки предпочитает считать его гением. Гениальный автор высказывается не только в простоте и твердости убеждений, но его величайшие способности как бы играют с содержанием, как бы оно не было опасно и трудно. Никто не может идти твердыми шагами по неизвестной и загражденной тысячью препятствий дороге, а гений отважно, смелыми и красивыми прыжками продвигается по подобной тропинке и не считает нужным заботливо и осторожно измерять шаги. То обстоятельство, что проблемы, мимо которых таковые будут обсуждаться мудрецами всех столетий, знает и сам Штраус, и все-таки называет свою книгу "легковооруженной". Все эти ужасы, вся эта мрачная серьезность размышления, при которых невольно являются вопросы о цене жизни и об обязанностях человека, вовсе не страшны, когда гениальный магистр старается нас обморочить словами: "легковооруженные" и "с умыслом". Да, они легче вооружены, чем его Руссо, о котором он говорит, что он обнажен снизу и задрапирован сверху, в то время как Гете надо считать задрапированным снизу и обнаженным сверху. Но кажется, что совершенно наивные гении совсем не драпируются, и, может быть, выражение "легковооруженный" употреблено только как смягченное выражение для слова нагой. Относительно богини Истины очень многие, видевшие ее, уверяют, что она нагая, и может быть, в глазах тех, кто ее не видел, но верит этим немногим, нагота или легковооруженность служат доказательством, или, по крайней мере, ссылкой на правду.

Само подозрение зависит от выгод тщеславия автора: например, некто видит что-нибудь нагое, а ну как это правда, восклицает он и принимает торжественный вид, как будто бы это было для него делом обычным. Автор же тем приобрел много преимуществ, что он принуждает своих читателей смотреть на него веселее, чем на излюбленного тяжелооруженного автора. Это путь сделаться классиком, и Штраус сам говорит нам, что "ему оказывают совершенно неожиданную честь, если смотрят на него как на "классического прозаика", и что он таким образом достиг цели своего пути. Гений Штрауса бежит по улицам в легком платье богини; как классический гений и филистер Штраус должен объяснять оригинальное поведение гения "наступившим упадком" или невозможностью возвращения к прежнему состоянию.

Ах, филистер часто сворачивает с этого пути вопреки всем постановлениям об упадке и даже очень часто сворачивает с пути!

Ах, его лицо, принявшее мину Вольтера или Лессинга, иногда время от времени, принимает свои старые добрые присущие ему черты, лавровый венец гения часто падает с его головы и никогда магистр не имел более удрученного вида, никогда его движения не были более неловкими, чем тогда, когда он пытается подражать полету гения и глядеть пламенными очами гения. В том-то и заключается опасность, что он так легко одевается при нашем холодном солнце, и поэтому может простудиться гораздо легче и серьезнее, чем всякий другой.

Кроме того все это, конечно, очень неприятно, потому что это замечают и другие, но если он хочет исцелиться, то следует ставить откровенный диагноз. У нас был Штраус, смелый, строгий и справедливый ученый, который был нам также симпатичен, как всякий, кто серьезно и энергично служит правде и умеет оставаться в своих рамках. Тот же, кто известен общественному мнению, как Давид Штраус, стал совсем иным, и теологи должны поставить себе в вину, что он так изменился. Его настоящая игра с маской гения нам так же ненавистна и смешна, как раньше его серьезность возбуждала серьезное отношение и симпатию. Когда он нам теперь объявляет, что "было бы неблагодарностью по отношению к моему гению, если бы я не желал радоваться, что я потерял вместе с даром беспощадной и придирчивой критики так же и спокойное художественное чутье к прекрасным образам", то ему следовало изумиться, что он дает это показание о себе людям, которые смотрят на вещи иначе, людям, которые убеждены, что он, во-первых, никогда не имел чувства к прекрасному, а, во-вторых, его так называемое чутье только спокойно. Такое заключение делают читатели как только они всесторонне рассмотрят и поймут глубокую и мощную натуру критика и ученого, т.е. личный гений Штрауса. В припадке безграничной честности Штраус еще прибавляет, что он всегда носил в себе призвание, которое говорило ему: "Таких пустяков ты никогда не должен делать, этим могут заниматься другие!" Это был голос настоящего гения Штрауса: он сам говорит ему, насколько ценно его настоящее мирное легковоруженное признание современного филистера. Это могут сделать и другие! И Очень многие могут совершить гораздо лучше. И те, которые могли это сделать лучше всего, более богато одаренные, чем Штраус, могли бы сделать только безделицы.

Я думаю, что уже достаточно понятно, как я ценю писателя Штрауса, именно как актера, который играет наивного гения и классика. Когда Лихтенберг говорит в одном из своих сочинений: "У писателя должна быть ценима простота, потому что настоящий творец никогда не старается быть художественным и не мудрствует", - то простота не есть еще доказательство действительной способности творить. Я желал бы, чтобы писатель Штраус был честнее, тогда он будет лучше писать, но будет менее известен. С другой стороны, я пожелал бы ему, если он непременно хочет быть актером, чтобы он был хорошим актером и лучше подражал бы наивному гению и классика, как следует писать классически и гениально. Еще остается сказать, что Штраус дурной актер и ничего нестоящий стилист.

11

Проречение "дурной писатель" растлевает потому, что в Германии очень трудно быть порядочным и уравновешенным, и до невероятности удивительно трудно стать хорошим писателем. Здесь существует недостаток естественного основания художественной оценки, оборотов и выражений речи. Так как она во всех своих внешних проявлениях, парламентская речь, не приобрела еще национального стиля и даже потребности в стиле, и так как все, что говорят в Германии, не выходит из рамок наивных опытов языка, то у писателя нет никакой определенной нормы и он имеет полное право обращаться с языком по своему собственному усмотрению. Что же должно принести в будущем это растление, не имеющее границ, в немецком языке настоящего времени, растление, которое самым художественным образом обрисовано Шопенгауэром: "Если так будет продолжаться, - говорит он, - то в 1900 году немецкие классики не будут более правильно понимаемы, так как никто не будет знать иного языка, кроме "жаргона жуликов" славного настоящего времени", основной характер которого есть бессилие. Действительно, теперь немецкие ценители языка и грамматики дают понять в современных изданиях, что для настоящего времени наши классики не могут служить более образцами для нашего стиля, так как у них встречается масса слов, выражений и синтаксических оборотов, нами уже утраченных, почему и следует собирать фигурные обороты речи письменных и устных произведения различных знаменитых писателей и давать их как образцы для подражания, как это, например, сделано в позорном лексиконе Зандера, составленного слишком поверхностно. В этом отношении классиком является чудовище, по своему стилю, - Гутцков. Поэтому мы должны, очевидно, привыкнуть к совершенно новой и поразительной толпе классиков, в числе которых первым или, по крайней мере, одним из первых стоит Штраус, и которого мы не можем обрисовать иначе, чем мы это сделали, т.е. как ничего настоящего стилиста.

Особенно важно описать по отношению к этой псевдокультуре филистера, каким образом он понимает классиков и образцовых писателей, он, который показывает свою силу, защищая только строго художественный стиль и, упорствуя в этой защите, он приходит к соответствию выражений, которое имеет вид единства стиля. Возможно ли, что при этих неограниченных опытах, которые каждый производит над языком, все-таки некоторые авторы находят общий тон. Что же звучит здесь так обще? Прежде всего, отрицательное свойство: обилие непристойностей, непристойно же все то, что действительно продуктивно. Лишнее в том, что читает каждый немец, заключается без сомнения на страницах газет и даже тех повременных изданий, в которых немец слышит одни и те же обороты и слова, похожие, как две капли воды, друг на друга. Он проводит за этим чтением большую часть времени, причем его разум не расположен ничего опровергнуть, так что его слух совершенно свыкается с этим ежедневным немецким языком и только впоследствии с болью замечает свое уклонение.

Фабриканты же этих газет совершенно соответствуют своему занятию и вполне привыкли к грязи этого газетного языка, так как они потеряли всякий нравственный вкус, и их язык воспринимает все самое испорченное и порочное с особым удовольствием.

Отсюда ясно то единогласие, с которым поднимают голос, вопреки общему, расслабленному и болезненному

состоянию, при каждой вновь найденной грамматической ошибке: такими пороками, как бы мстят языку за невероятную скуку, которая в большинстве случаев вводит в издержки своих же наемников. Мне вспоминается, как я читал воззвание Бертольда Ауэрбаха к немецкому народу, воззвание, которое в каждом обороте написано и изложено не по-немецки и все целиком похоже на бездушную мозаику слов с международным синтаксисом; о позорном южно-германском языке, на котором торжественно справлял тризну о Мендельсоне Эдуард Деврен, конечно, следует умолчать. Следовательно, стилистическая ошибка, а это особенно замечательно, не считается нашим филистером за нечто отвратительное, но принимается, как прекрасное освежение, лишенной травы и деревьев пустыни немецкой повседневной жизни. Но отвратительно ему все, действительно, производительное. У новейшего образцового писателя совершенно особенный, приподнятый или измочаленный синтаксис, его смешными неологизмами не пренебрегают, но ставят в заслугу как нечто пикантное. Горе тому характерному стилисту, который так же серьезно и твердо уступает будничным явлениям жизни, как по словам Шопенгауэра, "высиженному в последнее время чудовищу современного бумагомарания". Если все плоское, использованное, бессильное, обыденное принимается как общее правило, все дурное и испорченное как исключение, полное прелести, то все, имеющее внутреннюю силу и красоту, все необыденное находится в пренебрежении, так что в будущем Германии повторится та художественная история о путешественнике, который приходит в землю горбатых и с которым повсюду обходятся ужасным образом из-за его стройной фигуры и недостатка в горбе, пока, наконец, один священник не принял в нем участия и не обратился к народу с такою речью: "Друзья, лучше пожалейте бедного чужеземца и принесите благодарственную жертву богине разума за то, что она вас украсила статной горой мяса".

Если бы кто-нибудь желал составить положительную грамматику современного всемирного стиля немецкого языка, и следовал бы правилам, которые, как ненаписанные и невысказанные, но требующие подражания, приказания изощряют свою власть на письменном страхе всякого, то он напал бы на удивительное представление о стиле и риторике, заимствованных еще из школьных воспоминаний или из давнишнего времени принуждения к латинским упражнениям в стиле или, может быть, из чтения французских писателей, над незрелостью которых всякий мало-мальски образованный француз имеет право смеяться. Относительно этих удивительных представлений, под главенством которых так скромно живет и пишет каждый немец, кажется, еще никто из основательных людей-немцев не думал.

Мы находим требование, чтобы в сочинении от времени до времени являлась картина или сравнение, но это сравнение должно быть ново. Слово же "ново" и "модно" для мозга убогого писателя равнозначны и поэтому он мучается над тем, чтобы извлечь свои сравнения из железных дорог, телеграфов, паровых машин и биржи, и гордится тем, что подобные картины новы, потому что модны. В книге признаний Штрауса мы находим также дань модным сравнениям. На протяжении полутора страниц он развертывает изображение модного исправления улиц, сравнивает, несколько страниц выше, мир с машиной и ее колесами, штампами, молотами и с ее "капающим маслом". "Обед, который начинается с шампанского". "Кант, - как заведение для холодных купаний". "Швейцарская союзная конституция относится к английской так, как водяная мельница к паровой машине, как вальс или песня к фуге или симфонии". "В каждой апелляции и должны содержаться два пункта остановок. Средний пункт между единичною личностью и человечеством - есть нация". "Если мы хотим узнать, жив ли организм, который нам кажется мертвым, то мы пробуем это крепким и причиняющим боль щипком или даже уколom". "Религиозная область человеческой души похожа на область американских краснокожих". "Проставить под ситом полными цифрами итог всему бывшему до сих пор". "Теория Дарвина похожа на едва намеченное полотно железной дороги, где весело развеваются по воздуху флажки". Подобным образом, даже и очень модно, отвечает Штраус филистерским требованиям, что от времени до времени должно вводить сравнение.

Очень широко поставлено и второе требование риторики, именно то, что все дидактическое должно развиваться в длинных предложениях и к тому же в отвлеченных, тогда как доказывающие противное короткие предложения и следующие за другим контрасты действительнее, если коротки. У Штрауса есть одно образцовое предложение, заимствованное из сочинений Шлейермахера и продвигающееся с быстротой черепахи. "Из того положения, что когда на древних ступенях религии вместо одной первопричины было много, вместо одного Бога множество богов, религия, после этого отклонения, приходит к тому, что всевозможные силы природы и жизненные проявления, возбуждающие в человеке дурное чувство зависимости, вначале имеют на него дурное влияние во всем своем разнообразии, и он не сознает какой-либо разницы между этими зависимостями, ни того, почему эта зависимость или бытие, раз она возвращается к прежнему существованию, должна быть одна".

Противоположный пример коротких фраз и деланной живости, пример, который так вдохновил некоторых читателей Штрауса, что они сравнивают его только с Лессингом, звучит так: "То, что я думаю вывести в будущем, в том я вполне уверен, именно что бесчисленное множество людей знает это хорошо, а некоторые даже лучше. Некоторые даже уже высказывали. Должен ли я умолчать об этом? Я думаю, что нет. Ведь мы все дополняем друг друга. Если один знает многое лучше меня, то я некоторое кое-что и понимаю иначе, и смотрю на вещи иначе, чем остальные. Итак, раз уже сказано, то покажи свою окраску, чтобы я мог судить, настоящая ли она". Между этими молодецки быстрым маршем и той походкой полного благоговения похоронной процессии держится обыкновенно стиль Штрауса. Но не всегда между двумя пороками живет добродетель, но даже очень, часто только слабость и жалкое бессилие.

На самом деле я разочаровался в поисках в книге Штрауса за тонкими и полными мысли чертами и оборотами и напрасно при готовил рубрику, чтобы то там, то здесь похвалить что-либо в Штраусе, как в писателе, раз уж я и нашел в нем, как в исповеднике, ничего достойного похвалы. Я искал, искал, а моя рубрика все-таки осталась пуста. Зато наполнилась другая, под заглавием: стилистические ошибки, вводящие в заблуждение образы, безвкусица и бессвязность, и наполнилась так, что я только потом могу решиться сделать известный выбор из моего огромного собрания образцов. Может быть, мне удастся в этой рубрике сопоставить как раз то, что у другого немца, думающего противоположно, пробуждает мысли о великом, полном прелести, стилисте - Штраусе.

Есть курьезы и в выражениях, которые, если и не неприятны на всем сухом и пыльном пустые книги, то все-таки они болезненно и страшно изумляют. Мы замечаем, пользуясь сравнением самого Штрауса, в таких местах, по меньшей мере, то, что мы еще не умерли и после подобного укола все еще реагируем. Все же лишнее есть недостаток всего странного, т.е. всего продуктивного, недостаток, который теперь приписывают писателю-прозаику как положительное качество. Наружная гниль и сухость, действительно дошедшая до голода, пробуждает теперь в образованной массе ненормальный прием, как будто она-то именно и служила признаком здоровья, так что здесь имеет силу именно то, что автор называет *dialogus de oratoribus*. Потому-то они ненавидят совершенно инстинктивно всякое "здоровье", что оно дает показание о совсем ином "здоровье", чем ихнее; потому-то и стараются навлечь подозрение на это "здоровье", на твердую достоверность, на огненную силу движений, на полноту и упругость мускульной системы. Они условились извращать природу и именно природу фактов, и заранее говорить о "здоровье" там, где мы видим слабость, а о болезни и переутомлении, где навстречу нам выступает "здоровье". Вот чего стоит Штраус, как писатель-классик. Если бы его состояние разложения было строго логическим разложением, нор именно эта "слабость" и породила отказ от простоты и строгости изложения и в их власти сам язык сделался нелогичным. Попробуйте только перевести этот штраусовский стиль на латинский язык, что вполне возможно сделать даже с Кантом и удобно и превосходно с Шопенгауэром! Причина того, что дело не идет на лад со штраусовским немецким языком, заключается, вероятно не в том, что этот немецкий язык более немецкий, чем у этих писателей, но в том, что он у него запутан и нелогичен, а у них полон простоты и величия.

Если кто знает, как трудились старые писатели, чтобы научиться писать и говорить, как не трудятся новые, тот сознает, что Шопенгауэр справедливо сказал о действительном облегчении, если немецкая книга так старательно отделана, что ее можно перевести на все другие языки, как древние так и новые. Он говорит: "Потому что у этих людей я имею язык, действительно точно изученный, при этом твердо установленную и тщательно проверенную грамматику и орфографию и весь отдаюсь мысли. В немецком же языке, каждый раз как мне что-либо не дает покоя, это только мудрствования писателя, который хочет настоять на своих грамматических и орфографических мечтах и уродливых причудах. При этом меня раздражает нагло напыщенная глупость. Просто горько видеть, как обходятся невежды и ослы с прекрасным, старым, обладающим классическими сочинениями языком".

Так взывает к вам Шопенгауэр в своем святом гневе и вы не должны говорить, что вас не предупредили. Кто же не желает слушать никаких предупреждений и в худшем случае желает задуматься над верованиями классического писателя Штрауса, тому остается еще один совет - подражать ему. Попробуйте себе на горе, вы будете еще каяться и вашим стилем, и, наконец, даже своей собственной головой, так как и на вас исполнятся слова индийской мудрости: "Грызть рога коровы бесполезно и сокращает жизнь. Зубы стираются, а соку все-таки не добьешься".

12

Предложим, наконец, нашему классическому прозаику обещанное собрание образцов стиля, которые, может быть, Шопенгауэр назвал бы совсем иначе, а именно: "Новые образцы жаргона современных жуликов". Правда, Давиду Штраусу может служить еще утешением, если это для него может еще служить утешением, что теперь весь мир так пишет и, даже еще хуже, что между слепыми и косой король. Правда, мы оказываем ему слишком много, если оставляем ему и один глаз, но это только потому, что Штраус не пишет так, как нечестивы губители немецкого языка - гегелианцы и их общее потомство.

Штраус, по меньшей мере, желает выбраться из этого болота, и отчасти, ему это удастся, но все-таки он далеко не на твердой почве. У него замечается еще одно, именно он в юности заикался, как Гегель; тогда он что-то вывихнул себе и вытянул какой-то мускул; тогда его ухо, как ухо мальчика, выросшего подле барабана, отупело настолько, что он уже больше не слышит художественно-тонких и, в то же время, сильных переходов звука, под владычеством которых живет писатель, воспитанный на хороших образцах и под строгим присмотром. При этом как стилист он потерял все, что имел лучшего, и на всю жизнь осужден оставаться в опасном наносном песке газетного стиля, если он не хочет снова вернуться в гегелевское болото. Несмотря на это, он, в настоящее время, сделался известным на несколько часов и, может быть, известны еще и позднейшие часы, когда он стал знаменитостью, а затем наступает ночь, а с ней и забвение. И уже в настоящий момент, когда мы вписываем его стилистические ошибки в черную книгу, начинается падение его славы. Потому что тот, кто осквернил немецкий язык, тот осквернил тайну немецкого духа. Однако, этот язык спасся через смешение и перемену национальности и древних обычаев и при помощи немецкого духа, как при помощи метафизического колдуна. Он один

гарантирует сохранение духа в будущем, если сам не погибнет от безбожных рук настоящего. Прочь толстокожее животное! Прочь! Это немецкий язык, на котором выражались люди, пели великие поэты и писали знаменитые мыслители.

Руки прочь! Возьмем, например, одно предложение из штраусовской книги: "Уже в расцвете своих сил римский католицизм признал, что вся его духовная и светская власть диктатора собирается в руках папы, объявленного непогрешимым". Под этой неряшливой оболочкой находятся различные положения, которые совсем не подходят одно к другому и несовместимы. Кто-нибудь может, каким-либо образом, дать понять, что он собирает свою силу или вручает ее какому-нибудь диктатору, но он не может диктаторски собрать ее в других руках? Если мы скажем о католицизме, что он диктаторски собирает свою власть, то сам он сравнивается с диктатором. Но очевидно, здесь сам непогрешимый папа сравнивается с диктатором и, только вследствие неправильности мысли и недостатка литературного чутья, дополнение попадает на неправильное место. Чтобы почувствовать бессмыслицу оборотов я позволю себе подсказать следующее упрощенное выражение: господин собирает вожжи в руке своего кучера. "Противоположность между прежним консисториальным правлением и стремлением к синодальному правлению зависит от иерархической последовательности с одной стороны и от демократической с другой, но в основе все-таки лежит догматически-религиозное различие"!

Более непонятно нельзя выразиться. Во-первых, мы имеем противоположность между правлением и несомненным стремлением, в основе же этой противоположности лежит религиозное различие и это-то различие зависит, с одной стороны, от иерархической, с другой, от демократической последовательности. Загадка: что лежит между двумя другими в основе третьего. "Дни, хотя это непонятно, вставлены рассказчиком, как в раму, между утром и вечером и т.д." Я предлагаю вам перевести это на латинский язык, чтобы узнать, каким бесстыдным образом вы обходитесь с языком. Дни, которые вставлены в раму! Рассказчиком?! Непостижимо! И Вставлены в раму между чем?!

"Относительно заблуждающихся и противоречивых суждений, ложных мнений и доказательств, не может в Библии быть и речи". Это сказано в высшей степени безобразно. Вы смешиваете "в Библии" и "у Библии". Первое выражение должно бы иметь место перед "может", второе после "может". Я думаю, вы желали сказать: "относительно заблуждающихся и противоречивых ложных мнений и доказательств, находящихся в Библии, не может быть и речи".

Не так ли? Если же Библия, это вы, то тогда... "у Библии не может быть речи". А для того, чтобы не ставить одно за другим "в Библии" и "у Библии", вы решили писать на жаргоне жуликов и смешивать предлоги. Подобную ошибку вы допускаете на стр. 20: "Компиляции собраны вместе в более старые произведения". Вы думаете, "обработаны в более старые произведения" или "компиляции, в которых обработаны более старые произведения". На той же странице вы выражаетесь студенческим оборотом: "Дидактическая поэма, которая помещена некстати, в конце концов, много теряет, а затем угрожает быть опровергнутой, даже с колкостями, посредством которых стараются смягчить ее грубость".

Я попал в неприятное положение, не имея возможности отдать себе отчета, что такое это нечто жестокое, что смягчается колкостями; Штраус даже говорит об остротах, смягчаемых колотушками.

Стр. 35: "В противоположность Вольтеру там, здесь был Самуил Герман Реймарус, безусловно типичный для обеих наций". Человек может быть типичным только для одной нации и не может быть типичным для двух, представляя из себя противоположность другому человеку.

Стр. 46 "Nunstand es aber nur wenige Jahre an nach Schleiermacher's Tode, das..." Для подобного пачкуна расположение слов не представляет никакого затруднения, так как здесь слова: "nach Schleiermacher's Tode" стоят неправильно, именно после "an", тогда как они должны стоять перед "an". Это также звучит для их грубых ушей, как если бы вместо "пока" сказать там, где это нужно, "что". Стр. 13: "Из всех оттенков, которыми отливает современное христианство, мы можем толковать лишь о внешнем, самом ярком, о том, можем ли мы исповедовать его". На вопрос, о чем толкуют, может быть, во-первых, один ответ - о том-то и о том-то, или во-вторых, можем ли мы и т.д. Употребление сразу обеих конструкций показывает только негодного подмастерья. Он хотел сказать больше, именно, "принимая в соображение одну внешнюю сторону, мы можем толковать о том, можем ли мы его исповедовать". Но очевидно предлоги в немецком языке ставятся только там, где их нельзя избежать. На стр. 358, например, наш классик смешивает обороты, чтобы убедить нас в этой необходимости. Эти обороты: "Книга толкует о чем-либо" и "Речь идет о..." и поэтому по поводу мы должны выслушать следующее предложение: "При этом нам неясно, идет ли речь о внутреннем или наружном геройстве, борьбе в открытом поле или в глубине души". Стр. 343: "В наш нервный век, когда становится очевидной эта болезнь музыкальных отрицаний...". Ужасное смешение понятий - "быть очевидным" и "высказать". Подобных исправителей языка, без всякого различия, следует сечь, как школьников.

Стр. 111: "Существенная принадлежность личного божества падает". Подумайте же вы, бумагомаратель, прежде чем пачкать бумагу. Я думаю, что чернила должны покраснеть, если ими намазать о молитве, что она должна быть "принадлежностью" и кроме того еще "принадлежностью падения". А что находится на стр. 134:

"Некоторые из волевых импульсов, которые древний человек прописывал своим божествам - я хочу привести, как пример, возможность самого быстрого измерения объема - он принял на себя, следуя рациональному владычеству над природой".

Кто затягивает на нас этот узел? Хорошо, древний человек приписывает богам волевые импульсы; над этими волевыми импульсами следует хорошенько подумать! Штраус думает приблизительно так: человек принял за основание, что боги действительно обладают всем тем, чем желал бы обладать и от. Итак, боги имеют свойства, которые недоступны людям, следовательно, почти волевые импульсы.

Затем человек принимает на себя согласно учению Штрауса некоторые из этих побуждений. Это уже совершенно темное происшествие, такое же темное, как изображенное на стр. 135: "Желание должно стремиться дать людям возможность с выгодой увернуться от этой зависимости самым кратчайшим путем". - "Зависимость", - "возможность увернуться", "кратчайший путь", "желание, которое стремится!". Горе тому, кто действительно пожелал бы увидеть такой акт! Это просто картинка из книги для слепых. Ее нужно ощупать... Новый пример (стр. 222): "Поднимающееся и, со своим подъемом, выступающее над отдельными случаями упадка направления этого движения"... Или еще более сильный (стр. 120): "Последнее направление Канта увидело, как нам кажется, что оно дошло до цели стремления, принужденное направиться одним вершком дальше за пределами поля будущей жизни".

Кто не осел, тот не найдет дороги в подобном тумане.

"Направление, выступающее над упадком!"; "Возможность выгодно увернуться на кратчайшем пути!"; "Возможность, которая должна направиться одним вершком за пределами поля!". Какого поля?! - "Поля будущей жизни!" Черт возьми всю топографию! Свету! Свету! Где же нить Ариадны в этом лабиринте? Нет, никто не должен позволять себе писать так, будь это самый знаменитый прозаик, а тем не менее человек, "с вполне зрелым религиозным и нравственным образом мыслей". (Стр. 50). Я думаю, что старику следовало бы знать, что язык это наследие, получаемое от предков и оставляемое потомками наследие, к которому нужно относиться со страхом и уважением, как к чему-то священному, неоценимому и недоступному для оскорбления. Перестали ли слышать ваши уши, так переспросите, загляните в словарь, употребляйте хорошую грамматику, но не смейте так грешить среди белого дня. Как должно затрагивать нас, когда подобное толстокожее животное употребляет новоизобретенные или бесформенные старые слова, когда говорит "о сравнивающем уме социал-демократии"; как будто бы это был Себастиан Франко, или когда он в одном обороте подражает Ивану Заксу: "Народы угодны Богу, т.е. они суть натуральной формы, в которых человечество передает себя бытию и от которых всякий разумный не должен отворачиваться, и которых ни один храбрый не должен отрицать"

Стр. 252: "Человеческий род различается по расам, сообразно с известными законами". "Препятствие к проезду!"

Штраус не замечает, зачем являются лохмотья в его покрытых плесенью произведениях. Всякий, правда, замечает, что подобные обороты и лохмотья украдены. Не наш портной, ставящий латки то там, то здесь, является в виде творца и сочиняет по-своему новые слова. На стр. 221 он говорит о "разворачивающейся и выжимающейся вперед жизни"; это выражение "выжимать" употребляется прачками или героем, который, окончив битву, умирает.

"Выжимать" в значении "разворачиваться", это немецкий язык Штрауса, так же как и: "Ступени и стадии развертывания и свертывания". Это детский немецкий лепет: "В заключительности - вместо в заключение". Стр. 137: "В ежедневных страданиях средневекового Христа, религиозный элемент более энергично и непрерывисто дошел до просьбы". "Непрерывистые" - это образцовая сравнительная степень, как и сам Штраус образцовый прозаик. Он даже употребляет невозможное "совершенное".

А это "до просьбы"! Откуда это, отчаянный вы художник языка? Я лично не могу понять, что здесь может помочь. Мне не представляется никакой аналогии. Если бы спросили самих братьев Гримм об этом, то и они бы молчали, как могила. Вы, конечно, думаете только вот что: "Религиозный элемент высказывается деятельнее", - т.е. вы опять путаете предлоги так, что волосы становятся дыбом от невежества; смешивать понятия: "высказывать" и "просить" - носит отпечаток простолюдина. Не конфузит ли вас то, что я открыто делаю вам выговор.

(Стр. 220): "Так как я за моим субъективным понятием слышал еще и объективное, которое доносилось из бесконечной дали".

С вашим слухом происходит что-то редкое и дурное. Вы слышите как "звучит понятие" и звучит даже "за" другим понятием, и такое "ощущаемое слухом понятие" должно звучать "из бесконечной дали". Это бессмыслица или простонародное "канонирское сравнение".

(Стр.183): "Эти внешние очертания теории даны уже здесь, также вставлены некоторые пружины, которые устанавливают внутреннее движение ее". Это или бессмыслица, или неподходящее сравнение позументщика! На что годился бы тюфяк, который состоит из очертаний и вставленных пружин, которые устанавливают его внутреннее движение. Мы сомневаемся в теории Штрауса, раскрываемой перед нами, и должны бы сказать о ней то, что уже однажды сказал сам Штраус. (Стр.175): "Для правильной жизненности недостает ей еще многих существенных средних членов". Итак, пожалуйста еще и члены!.. Очертания и пружины уже там, кожа и мускулы уже препарированы, но все еще недостает многого для правильной жизненности или, выражаясь по Штраусу, "не так предупредительно", - мы скажем: "Если непосредственно сталкиваются два таких разнообразных по своей оценке явления, причем не принимаются во внимание ни средние грации, ни средние расстояния". (Стр. 174): "Но можно и не иметь места, а все-таки не лежать на полу". Мы отлично понимаем вас, господин легко вооруженный

магистр. Действительно, тот, кто не стоит и не лежит, тот летает, может быть парит, или поражает. Если вы предполагали высказать нечто иное, чем порхание, как позволяет предположить общий смысл, то я на вашем месте, выбрал бы иное сравнение, а это выражает нечто иное. (Стр. 5): "Ветви старого дерева, которые сделались общеизвестно сухими". Какой общеизвестно сухой стиль! (Стр. 6):

"Нельзя отказать непогрешимому папе в уважении, требуемом необходимостью". Ни за какие деньги не следует смешивать падежа дательного и винительного; даже для мальчика это ошибка, а для образцового прозаика преступление. На стр. 8 мы находим: "Новое изображение новой организации в идеальных элементах жизни народа". А предположим, что такая бессмысленная тавтология вылилась из чернильницы на бумагу, но тогда ее не следует позволять печатать. Разве можно не заметить подобного в корректуре, и еще в корректуре 6-ти изданий. Далее (стр. 9), если цитируют слова Шиллера, то по возможности точно, а не приблизительно. Этого требует должное уважение. Итак, оно должно звучать: "Не страшась ничьей зависти" (Стр. 16): "Потому что тогда она сейчас же будет заперта на замок, окружена преграждающими стенами, против которых направлено со страстным неудовольствием все стремление прогрессирующего разума и всех таранов критики". "Здесь мы должны кое о чем подумать. Во-первых, об этом "замке", а, во-вторых, о "стенах", к которым стремятся тараны со страстным нежеланием, или даже "направляется стремление со страстным нежеланием". Да говорите же вы по-человечески, раз вы живете с людьми!... Тараны направляются кем-либо, а не сами собой, и только тот, кто их направляет, может иметь страстное нежелание, хотя едва ли кто-либо будет иметь такое нежелание против стены. (Стр. 226): "Почему подобный слог образовал арену для демократической тупости". Это неясно! Слог не может образовать арены, но только выезжать на подобной арене, Штраус, может быть, желал сказать: "Почему эти исторические моменты всех эпох сделались излюбленной ареной демократических речей и глупости". (Стр. 320): "Внутренний смысл щедро и богато одаренного струнами поэтического призвания, для которого возвращение к милому домашнему очагу честной любви было постоянной потребностью, при широкой деятельности, требованиях поэзии и стремлении к природе, при его общении с государственными интересами". Я затрудняюсь вообразить призвание, которое, подобно арфе, снабжено струнами и при этом имеет "широкую деятельность". Это какое-то несущееся во всю прыть призвание, которое мчится, как вороной сказочный конь, и потом возвращается к мирному очагу. Ведь я прав, если считаю это несущееся во всю прыть и возвращающееся к домашнему очагу призвание, призвание, занимающееся политикой, оригинальным и настолько же оригинальным и вышедшим из употребления, насколько невозможно "поэтическое призвание, снабженное струнами". По таким одухотворенным изображениям или абсурдам можно познать классического прозаика". (Стр. 74): "Если мы откроем глаза и пожелаем честно признаться в находке этого откровения". В этом превосходном обороте ничто так не бросается в глаза, как это сопоставление "находки" со словами "честно". Если кто-нибудь находит что-либо и не отдает, не признается в находке, то это нечестно. Штраус поступает наоборот и считает необходимым открыто хвалить это и признаваться. "Но кто же бранит его", как спросил один спартанец. Штраусу делается еще веселее. Вдруг мы видим "трех гениальных мастеров, из которых каждый следующий стоит на плечах предшественников". (Стр. 361): Это действительно образец высшей школы верховой езды, которые нам дают Гайдн, Моцарт и Бетховен. Мы видим Бетховена, как он, подобно лошади (стр. 356) перепрыгивает рогатку только что проведенной вымощенной улицы (beschlagen - подкованный). Можем ли мы представить это себе? Правда, мы до сих пор знали, что подкованной может быть лишь лошадь. Так же звучит: "Роскошный парник для грабежей и убийств" (стр. 287). Кроме этих чудес, является еще "чудо, осужденное декретом на изгнание" (стр. 176). Внезапно являются кометы (стр. 164), но Штраус успокаивает нас: "При слабых народцах кометы не может быть никакой речи о Бетховене". Действительно, это утешение, потому что, иначе, при слабом народце, принимая в соображение жителей, нельзя ни за что поручиться. Между прочим новое зрелище: Штраус сам "вьется" орколо национального чувства человечности (стр. 258), в то время как другой "все время скользит вниз к демократии" (стр. 267). Вниз! Да, не вверх! Молит наш артист языка, который на стр. 269 действительно ложно утверждает, что "к органическому строению принадлежит действительное благородство". В высшей сфере движутся, непостижимо высоко, над нами явления, заслуживающие внимания. Например: "Израсходование спиритуалистических предвзятостей человека, законов природы" (стр. 201) или: "Опровержение недоступности". На стр. 241 разыгрывается опасная драма, где "борьба за существование в царстве зверей будет оставлена вследствие достаточности". На стр. 359 удивительным образом "подскакивает человеческий голос при инструментальной музыке". А каким чудом открывается дверь, (стр. 177): Она "выбрасывается в невозвратное"... (стр. 123): "Взгляд во время смерти видит, как весь человек, как он есть, погибает". Никогда еще до Штрауса, этого укротителя языка, взгляд не видел, но мы дожили до его райка и готовы теперь это ценить. Только впервые мы узнали и о том, что "наше чувство реагирует для вселенной, когда оно повреждено и реагирует религиозно". По этому поводу мы вспоминаем о соответствующей процедуре...

Мы уже знаем, каково возбуждающее средство, дающее возможность увидеть "выдающиеся фигуры", хотя бы, по меньшей мере, по колено; и почитаем себя счастливыми за то, что мы отнеслись правдоподобно к классическому прозаику, хотя и с ограничениями его взглядов.

Говоря честно, все то, что мы видели, было только "глиняные ноги", и что-то, что казалось натуральным цветом тела, было только раскрашенной глиной. Конечно, культура филистеров в Германии будет рассержена, если будут говорить о размалеванных истуканах там, где они видят живого Бога. Кто же осмелится опровергнуть их

образы, тому следует серьезно опасаться говорить им в лицо из боязни их гнева, потому что они разучились различать жизнь от смерти, действительное от мнимого, оригинальное от поддельного, и Бога от идолов, и то, что их здоровый человеческий инстинкт к действительному и справедливому совершенно потерял. Сама культура склоняется к упадку и уже теперь падают черты ее владычества, уже теперь, падает ее пурпурная мантия, а когда падает пурпур, то за ним и герцог. На этом я оканчиваю свои разоблачения. Эти разоблачения принадлежат одному, а что может сделать один против целого света, даже если его голос слышен повсюду? Его приговор будет тоже состоять в том, чтобы украсить вас даже слишком пышно перьями страуса (Штрауса?), "согласно такому же количеству субъективной правды, как без нее объективная бывает неопровержимой". Не правда ли, мои друзья? Поэтому будьте все-таки полны бодрости духа; когда-нибудь вы будете иметь по меньшей мере результаты вашего "относительно такого же количества, как и без него". Когда-нибудь! Именно тогда, когда будет несовременным делать то, что считается всегда современным, а теперь более чем когда-либо необходимо говорить правду.